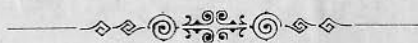


Д. Н. Овсяннико-Куликовскій.

ОТЛАВЛЕНІЕ

ЭТЮДЫ О ТВОРЧЕСТВѢ

И. С. Тургенева.



ХАРЬКОВЪ.
Типографія и Литографія Зильбербергъ.
(Рыбная улица, домъ № 30-й).

1896.



Фонд редкой книги
ТУРГЕНИАНА

ЭТЮДЫ

Печатано и выпущено въ свѣтъ по постановленію Историко-Филологическаго Общества при Императорскомъ Харьковскомъ Университетѣ. 24 Апрѣля 1896 г.

Предсѣдатель Общества:

Профессоръ М. Дриновъ.



ПРОВЕРЕНО 2009

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
ГЛАВА I. Базаровъ („Отцы и дѣти“)	1
ГЛАВА II. „Довольно“ и „Призраки“, какъ продукты субъективнаго творчества, и связь ихъ съ нѣкоторыми сторонами натуры Базарова.	27
ГЛАВА III. „Новъ“ и типъ Соломина	73
ГЛАВА IV. Обзоръ и классификація женскихъ типовъ. Натуры „раціональныя“	92
ГЛАВА V. Натуры ирраціональныя. Зинаида („Первая любовь“) .	107
ГЛАВА VI. Вѣра (Героиня „Фауста“)	123
ГЛАВА VII. Лиза (Героиня „Дворянскаго гнѣзда“)	167
ГЛАВА VIII. Разборъ „Дворянскаго гнѣзда“ вообще и образа Лизы въ частности со стороны художественныхъ приѣмовъ .	196

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемая книга составилась изъ статей, печатавшихся въ 1894—1895 гг. въ журналъ „Сѣверный Вѣстникъ“. Въ этихъ этюдахъ я не имѣлъ въ виду обозрѣть всю художественную дѣятельность Тургенева. Задача моя состояла въ томъ, чтобы отпѣять тѣ стороны творческаго дарованія Тургенева, которыя я считаю основными, и разобрать тѣ образы, имъ созданные, въ которыхъ его творческій гений выразился съ наибольшей силой и яркостью. Сюда я отношу фигуры Базарова и Соломина и всю галерею женскихъ типовъ. Изъ числа этихъ послѣднихъ я выдѣлилъ три образа, заслуживающіе, по моему мнѣнію, наиболѣе тщательнаго изученія. Это именно Зинаида („Первая любовь“), Вѣра („Фаустъ“) и Лиза („Дворянское гнѣздо“). Имъ посвящены отдѣльныя главы.

Живой интересъ, представляемый важнѣйшими созданіями Тургенева, еще очень не скоро изсякнетъ. Нѣкоторыя изъ нихъ—такъ можно думать—навсегда останутся во всемірной литературѣ. Во всякомъ случаѣ домо еще они будутъ служить предметомъ размышленія и изученія. Широта художественныхъ обобщеній Тургенева, общечеловѣческое значеніе его типовъ, глубина идей, возбуждаемыхъ его образами, составляютъ богатое умственное достояніе, которое хватитъ на много поколѣній. Литература, посвященная критикѣ, изученію и истолкованію произведеній Тургенева, будетъ расти и у насъ, и въ Европѣ.

Предлагаемая книга есть посильный вкладъ въ эту литературу.

Глава I.

Художественное творчество, по своему внутреннему „механизму“ или характеру, может быть двоякое: *объективное* и *субъективное*. *Объективнымъ* я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д., болѣе или менѣе чуждыхъ или даже противоположныхъ личности художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется *не отъ себя*. *Субъективнымъ* я называю такое творчество, которое преимущественно (въ своихъ лучшихъ созданіяхъ) направлено на воспроизведеніе типовъ, натуръ, характеровъ, умовъ и т. д. болѣе или менѣе близкихъ, родственныхъ или даже тождественныхъ личности самого художника. Создавая такіе образы, художникъ отправляется *отъ себя*.

Геніальнымъ представителемъ такого *субъективнаго* творчества служить *Левъ Толстой*. Однимъ же изъ величайшихъ представителей творчества *объективнаго* является *Тургеневъ*.

I.

Пользуясь біографическими данными, воспоминаніями лицъ, близко знавшихъ Тургенева, основываясь также на нѣкоторыхъ его произведеніяхъ, заведомо субъективнаго происхожденія, наконецъ матеріаломъ, представляемымъ его письмами,—мы можемъ составить себѣ довольно вѣрное понятіе о натурѣ, характерѣ, складѣ ума покойнаго романиста.

Это понятіе въ общихъ чертахъ сводится къ слѣдующему.

Тургеневъ прежде всего былъ человекъ *необыкновеннаго ума*—очень широкаго и глубокаго, очень вдумчиваго и созерца-

тельнаго. По складу ума, по типу мышленія, Тургеневъ принадлежалъ къ числу тѣхъ избранниковъ, которые съ серьезностью и глубиною, съ широтою умственного захвата соединяють необыкновенную тонкость, чуткость и изящество мысли. Это — тотъ типъ умовъ, къ которому относятся напр. Ренанъ, Тэнъ, Герценъ. Изучая такихъ писателей, мы сосредоточиваемъ свое заинтересованное вниманіе не столько на положительныхъ результатахъ ихъ мысли, сколько на самомъ ея процессѣ, дѣйствующемъ на насъ обаятельно. Мы можемъ не соглашаться съ ихъ выводами, не раздѣлять тѣхъ или другихъ идей, проводимыхъ ими, но мы невольно подчиняемся обаянію ихъ глубокаго анализа, ихъ тонкой критики, ихъ изящнаго синтеза. Конечно, умы человѣческіе, въ особенности большіе, крайне разнообразны и часто представляютъ самую причудливую смѣсь противоположныхъ качествъ, разнообразныхъ даровъ, сильныхъ и слабыхъ сторонъ, такъ что едвали возможно подвести ихъ подъ опредѣленные, строго разграниченныя рубрики. Но все-таки мы, кажется, не ошибаемся, если скажемъ, что умы, о которыхъ идетъ рѣчь, суть умы по преимуществу созерцательные, съ сильно-выраженнымъ даромъ анализа, въ большей или меньшей мѣрѣ скептическіе, не безъ грустной ироніи и — въ общемъ — уравновѣшенные, очень гармоническіе. Въ нихъ также нѣтъ или мало того, что можно назвать „дѣловымъ“ направленіемъ мысли. Не думаю, чтобы такой умъ былъ свойственъ напр. изобрѣтателямъ, — да и въ самой теоретической наукѣ рѣдко дѣятели этого типа совершаютъ крупныя и — если можно такъ выразиться — осязательныя открытія. Было бы крайне затруднительно отвѣтить категорически на въ упоръ поставленный вопросъ: что собственно *открылъ* Ренанъ или Тэнъ? Да и ставить его не слѣдуетъ. И вопросъ и вполнѣ категорическій отвѣтъ на него возможны по отношенію къ умамъ другого рода, для которыхъ не умѣю подобрать лучшаго термина — какъ „дѣловые“, съ большимъ или меньшимъ даромъ „геніальной отгадки“. Таковы напр. Ньютонъ, Лейбницъ, Кантъ, Дарвинъ, Гельмгольцъ, Лобачевскій, Боппъ, Потенія и много другихъ, съ именами которыхъ связаны положительныя открытія,

формулировка новыхъ законовъ, установленіе новыхъ точекъ зрѣнія, созданіе новыхъ методовъ. Это умы — въ сферѣ научной или философской — прогрессивные, завоевательные, революціонные, смѣлые. Умы перваго типа скорѣе консервативны (въ смыслѣ научномъ и философскомъ). Само собой разумѣется, дары тонкаго анализа, изящества мысли и т. д. могутъ быть не чужды и умамъ „дѣловымъ“ и прогрессивнымъ (въ большинствѣ случаевъ такъ и бываетъ), но — не въ этомъ пунктѣ сосредоточена ихъ главная сила.

Что Тургеневъ, какъ умъ, принадлежалъ къ первому — „ревановскому“ — типу, съ этимъ, полагаю, согласится всякій, кто хорошо знакомъ съ его творчествомъ, кто доступенъ обаянію его генія. Ниже намъ придется не разъ останавливаться на тѣхъ мѣстахъ въ произведеніяхъ Тургенева, которыя характеризуютъ его умъ съ указанной стороны.

Какъ человѣкъ, Тургеневъ — это извѣстно — отличался большой добротою сердца, мягкостью души, доброжелательностью къ людямъ. Это былъ очень добрый, очень гуманный, хорошій человѣкъ.

Какъ характеръ, это былъ человѣкъ довольно слабый, съ малымъ развитіемъ дѣйствующей воли, лишенный всякихъ качествъ и стремленій авторитарности и инициативы, неспособный къ дѣятельности напр. публициста, человѣка партіи, организатора. Это была натура пассивная, недѣятельная.

Отмѣтимъ еще одну очень важную для пониманія Тургенева и его творчества черту, къ которой намъ придется неоднократно возвращаться въ этихъ этюдахъ. Это именно стремленіе и, что особенно важно, *способность къ внутренней свободѣ*. Въ чемъ она состоитъ, это не трудно уразумѣть изъ слѣдующаго.

Въ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“ Тургеневъ, обращаясь къ молодымъ беллетристамъ, напоминаетъ имъ извѣстные стихи Гете:

Greift nur hinein in's volle Menschenleben!
Ein jeder lebt's, — nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ihr's packt — da ist's interessant!

И затѣмъ даетъ такіе совѣты и поясненія: „Силу этого *схватыванія*, этого *уловленія* жизни даетъ только талантъ, а талантъ

дать себѣ нельзя; — но и одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общеніе съ средою, которую берешься воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неумолимая въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; *нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій* — и, наконецъ, нужна образованность, нужно знаніе... *Ничто такъ не освобождаетъ человѣка, какъ знаніе, — и нигдѣ такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи...* Можеть-ли человѣкъ „схватывать“, „удовлять“ то, что его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ; не даромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ... онъ сказалъ:

. дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ...

Отсутствіемъ подобной свободы объясняется, между прочимъ, и то, почему ни одинъ изъ славянофиловъ, не смотря на ихъ несомнѣнныя дарованія, не создалъ никогда ничего живого, ни одинъ изъ нихъ не сумѣлъ снѣтъ съ себя — хоть на мгновеніе — своихъ окрашенныхъ очковъ... Нѣтъ! безъ образованія, безъ свободы въ обширнѣйшемъ смыслѣ — въ отношеніи къ самому себѣ, къ своимъ предвзятымъ идеямъ и системамъ, даже къ своему народу, къ своей исторіи, — немыслимъ истинный художникъ; безъ этого воздуха дышать нельзя“. (Сочиненія, т. X, изданіе 3-е, стр. 110—111).

Признаки такой внутренней свободы въ себѣ самомъ Тургеневъ отмѣчаетъ въ письмѣ къ Милутиной (1875 г.): „..... скажу вкратцѣ, что я преимущественно реалистъ и болѣе всего интересуюсь живою правдою людской физіономіи; ко всему сверхъ-естественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не вѣрю, люблю больше всего свободу и, сколько могу судить, — доступенъ поэзіи. Все человѣческое мнѣ дорого, славянофильство чуждо, такъ же какъ и всякая ортодоксія...“ (Письма, стр. 252, № 199).

Чтобы понять Тургенева, какъ поэта-художника, чтобы проникнуть въ психологію его творчества, необходимо постоянно имѣть въ виду, только-что указанное, основное свойство его натуры.

Постараемся прежде всего показать, въ какихъ отношеніяхъ находится эта „внутренняя свобода“ къ преобладающему у Тургенева *объективному* направленію творчества.

II.

Сперва прочтемъ слѣдующія строки изъ письма Тургенева къ г. Кигну (1876 г.):

„... Если васъ изученіе человѣческой фizioноміи, чужой жизни, интересуе^{тъ} *больше*, чѣмъ изложеніе собственныхъ чувствъ и мыслей; если напр. вамъ *пріятнѣе* вѣрно и точно передать наружный видъ не только человѣка, но простой вещи, чѣмъ красиво и горячо высказать то, что вы ощущаете при видѣ этой вещи или этого человѣка, значитъ вы объективный писатель и можете взяться за повѣсть или романъ...“ (Письма, стр. 295, № 234).

Едва-ли нужно доказывать, что можно писать превосходныя повѣсти и романы и не будучи писателемъ въ строгомъ смыслѣ объективнымъ. Романъ можетъ быть продуктомъ творчества субъективнаго не меньше любого лирическаго стихотворенія, воспроизводящаго личныя чувства и мысли автора. За вычетомъ этого пункта, мы не находимъ препятствій принять опредѣленіе объективнаго творчества, данное Тургеневымъ въ приведенномъ отрывкѣ. Да, объективно то творчество, при которомъ писатель, насколько возможно, забываетъ себя и прежде всего обращаетъ взоры на вещи, лица, характеры не только посторонніе, внѣшніе, но, что еще важнѣе, въ большей или меньшей степени противорѣчащіе тому, что онъ находитъ въ самомъ себѣ. Объективенъ тотъ, кто способенъ заинтересоваться, понять, оцѣнить, полюбить натуру, совершенно противоположную себѣ самому.

Въ этомъ *объективизмъ* я усматриваю дѣйствіе особаго психическаго *ритма*.

Присматриваясь къ проявленіямъ—весьма нерѣдкимъ—такой объективности въ самой жизни, въ отношеніяхъ между людьми, нетрудно уловить въ нихъ дѣйствіе той душевной пружины, которую можно назвать стремленіемъ къ *ритму контрастовъ*. Усмат-

ривая въ другомъ извѣстныхъ черты, противоположныя своимъ, человѣкъ невольно тяготѣеть къ этому другому, ища восполненія того, чего ему самому недостаетъ, но — такого восполненія, которое въ результатѣ давало бы гармоническое цѣлое. Оттуда нерѣдко, напр., тяготѣніе людей съ слабымъ характеромъ къ людямъ съ сильнымъ характеромъ и наоборотъ. Но, развивая эту мысль, слѣдуетъ быть осторожнымъ; было бы рискованно проводить ее такъ далеко, какъ это дѣлалъ Шопенгауеръ, указывавшій, напр., на любовь брюнетовъ къ блондинкамъ и т. д. Тутъ легко дойти до абсурда и утверждать напр., что дураки должны любить умныхъ, и умные тяготѣть къ дуракамъ. Вся суть дѣла сводится къ стремленію достигъ гармоніи, но вѣдь далеко не всѣ контрасты ритмуютъ между собою, и умъ не нуждается въ глупости для своего ритмическаго восполненія. Гармоническій эффектъ осуществляется въ процессѣ общенія умовъ различнаго типа, натуръ съ противоположными темпераментами, характеровъ съ различно выраженнымъ волевымъ началомъ.

Принимая съ этими оговорками теорію контрастовъ и сводя ее къ стремленію осуществить гармонію духа, я въ этомъ именно явленіи и ищу источника того, что выше я назвалъ *объективизмомъ* въ отношеніяхъ между людьми. Стремясь дополнить себя, человѣкъ пріучается интересоваться другими, сперва тѣми, которые могутъ его дополнить, а потомъ и иными; онъ съ любопытствомъ всматривается въ чужія лица, и (говоря словами Тургенева) „изученіе человѣческой фізіономіи, чужой жизни“ привлекаетъ его въ большей степени, чѣмъ „изложеніе собственныхъ чувствъ и мыслей“. Это — человѣкъ *объективнаго* склада или направленія. Но есть люди иного рода, которые интересуются другими по столько, по сколько они могутъ изложить передъ послѣдними „свои собственные чувства и мысли“, т. е. обнаружить *свое* душевное содержаніе, и вы, встрѣтя такого человѣка, сейчасъ-же замѣчаете, что онъ не ищетъ „дополненія“ себѣ и живъ собственнымъ своимъ нутромъ. Это человѣкъ *субъективнаго* склада или направленія. Различны могутъ быть причины, обуславливающія такой субъективизмъ, но въ числѣ ихъ бросается въ глаза

одна: это именно отсутствіе того, что Тургеневъ называетъ „внутреннюю свободу“. Человѣкъ, находящійся подъ властью какой-нибудь *idée fixe*, фанатикъ, доктринеръ, сектантъ, утопистъ—все они слишкомъ исключительно заняты своими мыслями, чувствами, стремленіями, слишкомъ переполнены собою, чтобы интересоваться „живою правдою человѣческой физіономіи“, и общеніе съ людьми иныхъ мыслей, чувствъ, стремленій производитъ въ ихъ душѣ эффектъ не гармоніи, а диссонанса. Наоборотъ люди внутренне свободные, не поработанные излюбленной идеей или мечтою, ищутъ дополненія, рады встрѣтить контрасты, — ихъ душа открыта для объективнаго отношенія къ вещамъ и людямъ.

Таковъ именно и былъ Тургеневъ, какъ въ жизни, такъ и въ творествѣ.

Художникъ (если онъ въ самомъ дѣлѣ художникъ, а не сочинитель) остается въ сферѣ творчества самимъ собою; творя, онъ продолжаетъ жить, вступаетъ въ такое-же живое общеніе съ создаваемыми имъ образами, какое ему свойственно въ отношеніи къ живымъ людямъ. Онъ будетъ объективенъ или субъективенъ въ творествѣ, смотря по тому и въ той-же мѣрѣ, какимъ онъ является въ своей личной жизни.

Вотъ и обратимся теперь къ изученію тургеневскаго творчества съ указанной точки зрѣнія. Постараемся прослѣдить, какъ „живетъ“ Тургеневъ въ своихъ повѣстяхъ и романахъ, въ какихъ типахъ ищетъ онъ дополненія себѣ, и гдѣ тотъ спеціальнѣйшій душевный ритмъ, котораго осуществленія онъ искалъ въ своемъ творествѣ.

III.

Въ числѣ мужскихъ фигуръ у Тургенева есть нѣсколько такихъ, къ которымъ авторъ относится съ явной симпатіей, доходящей порою до своего рода влюбленности. *Вотъ именно эти-то образы и оказываются въ большей или меньшей степени противоположными самому Тургеневу.* Изъ нихъ на первомъ планѣ нужно поставить Базарова („Отцы и Дѣти“) и Соломина („Новь“).

Извѣстно, что къ Базарову Тургеневъ чувствовалъ „влеченіе, родъ недуга“. Вспомнимъ, напримѣръ, слѣдующія мѣста изъ писемъ: „Вы (пишетъ Тургеневъ г-жѣ Ф—вой, 1874 г.) повторяете этотъ... извините безцеремонность выраженія — бессмысленный упрекъ! Базаровъ, это мое любимое дѣтище, изъ-за котораго я разсорился съ Катковымъ, на котораго я потратилъ всѣ находящіеся въ моемъ распоряженіи краски, Базаровъ — этотъ умница — этотъ герой — карриатура?!?...“ (№ 190).

„Не удивляюсь (пишетъ Тургеневъ Салтыкову, 1876 г.), что Базаровъ остался для многихъ загадкой; я самъ не могу хорошо себя представить, какъ я его написалъ. Тутъ былъ — не смѣйтесь, пожалуйста, — какой то фатумъ, что-то сильнѣе самого автора, что-то независимое отъ него. Знаю одно: никакой предвзятой мысли, никакой тенденціи во мнѣ тогда не было; я писалъ наивно, словно самъ дивясь тому, что у меня выходило..... Скажите по совѣсти, развѣ кому-нибудь можетъ быть обидно сравненіе его съ Базаровымъ? Не сами-ли вы замѣчаете, что это самая симпатичная изъ всѣхъ моихъ фигуръ?....“ (№ 217).

Симпатія или скорѣе любовь Тургенева къ Базарову сказывается во многихъ мѣстахъ романа. Его наружность, манера, обхожденіе, душевныя состоянія и т. д. изображаются такъ, что читатель чувствуетъ, какъ этотъ человѣкъ нравится Тургеневу. При первомъ же появленіи Базарова, читателю невольно навязывается мысль, что это любимецъ автора и человѣкъ необыкновенный. Его наружность тщательно описана: „длинное и худое лицо съ широкимъ лбомъ.... и т. д. — оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоувѣренность и умъ“. Въ отношеніяхъ Базарова къ Павлу Петровичу и Аркадію (не говоря уже о Кукиной и Ситниковѣ) Тургеневъ какъ-бы нарочито желаетъ показать превосходство своего героя, значительность и своеобразность его душевнаго содержанія, выставляя на видъ его спокойствіе, уваженіе къ самому себѣ, и самъ невольно любуясь имъ. Вспомнимъ хотя бы сцену объясненія съ Павломъ Петровичемъ (вызовъ на дуэль, гл. XXIV), сцену дуэли, бесѣды съ Аркадіемъ, смерть Базарова и мн. др., — вездѣ Базаровъ является то „умни-

цею“, то „героемъ“, и нигдѣ не показанъ съ той повседневно-пошлой стороны, которая есть у всякаго, даже самаго необыкновеннаго человѣка.

Отмѣтимъ еще двѣ-три черты, какъ бы вскользь брошенныя. „Однажды онъ, гуляя съ ней (Одинцовой) по саду, внезапно промолвилъ угрюмымъ голосомъ, что намѣренъ скоро уѣхать въ деревню къ отцу... Она поблѣднѣла... Базаровъ объявилъ ей о своемъ отъѣздѣ не съ мыслью испытать ее, посмотреть, что изъ этого выйдетъ: онъ никогда не „сочинялъ“...“ (гл. XVII). И въ самомъ дѣлѣ: Базаровъ—какимъ мы его знаемъ на всемъ протяженіи романа—это натура глубокоправдивая: всѣ его поступки, всѣ его слова, серьезныя или шутивыя,—одинаково являются подлиннымъ выраженіемъ его личности. Онъ никогда не симулируетъ, не прикидывается, даже прямо не въ силахъ надѣть маску и изобразить то, чего не чувствуетъ (какъ, напр., въ отношеніяхъ къ отцу и матери, которымъ онъ и хотѣлъ бы показать больше нѣжности, чтобы утѣшить стариковъ—да не можетъ: нѣтъ ея у него). Описывая сцену у Одинцовой (въ городѣ), когда Базаровъ и Аркадій въ первый разъ пришли къ ней съ визитомъ, и Базаровъ, желая скрыть свое смущеніе, сталъ „ломаться“ и говорить съ преувеличенной развязностью, Тургеневъ заставляетъ Одинцову отлично понять, что подъ этой обманчивой манерою скрывается натура, которой именно-то и чуждо всякое „ломаніе“, что Базаровъ—человѣкъ, неумѣющій „напускать“ на себя. Заставляя Одинцову понимать это, Тургеневъ хочетъ, чтобы и читатель такъ понималъ и не перетолковалъ бы поведенія Базарова въ какомъ-нибудь пошломъ смыслѣ. „Одно пошрое ее (Одинцову) отталкивало, а въ пошлости никто бы не упрекнулъ Базарова“.

Этотъ человѣкъ, столь симпатичный Тургеневу, изображенный съ такой любовью, почти пристрастной, представляетъ собою натуру, прямо противоположную натурѣ самого Тургенева. Базаровъ, какъ извѣстно, человѣкъ необычайно сильной воли, желѣзнаго характера. Съ этой стороны онъ служитъ настоящимъ контрастомъ Тургеневу, и, повидимому, здѣсь-то и нужно искать

объясненія того невольнаго влеченія, которое сразу почувствовалъ нашъ художникъ къ лицу, послужившему „оригиналомъ“ Базарова, и потомъ—къ его художественному воспроизведенію, герю „Отцовъ и дѣтей“. Напомню читателю извѣстное мѣсто въ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“, гдѣ Тургеневъ говоритъ: „...въ основаніе главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинціальнаго врача... Въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ воплотилось — на мои глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потомъ получило названіе нигилизма. Впечатлѣніе, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и въ то же время не совсѣмъ ясно...“ (X, 101). Въ эту же о Базаровѣ (напечат. въ „Харьк. Губ. Вѣд.“) я, цитируя это мѣсто, высказалъ между прочимъ соображеніе, что едва ли „молодой провинціальный врачъ“ могъ поразить воображеніе Тургенева однимъ лишь содержаніемъ и рѣзкостью своихъ отрицательныхъ идей: онъ долженъ былъ импонировать чѣмъ-нибудь другимъ. Очевидно, это былъ человѣкъ базаровскаго закала, — сильный, властный, содержательный, умный, злой. Тургеневъ не принадлежалъ, конечно, къ числу людей, которыхъ можно удивить и плѣнить „новыми словами“, рѣзкостью сужденій, смѣлостью взглядовъ. Его всегда интересовала прежде всего личность, натура человѣка, его внутреннее содержаніе, и самые удивительные „взгляды“, самыя новыя и смѣлыя слова, высказанныя человѣкомъ пустымъ, ничтожнымъ, бездарнымъ, не производили на Тургенева ровно викакого впечатлѣнія (кроме, развѣ, совершенно отрицательнаго, см., напр., письмо къ г-жѣ Ф — ой, „Письма“, № 190).

Въ „молодомъ провинціальномъ врачѣ“ Тургеневъ прозрѣвалъ присутствіе какой-то необыкновенной силы, быть можетъ, — недоброй, но дѣйствующей обаятельно на такія натуры, какъ тургеньевская. Въ основѣ этой силы лежала необычайная крѣпость воли, какъ задерживающей, такъ и дѣятельной. Вспомнимъ здѣсь тѣ мѣста въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“, гдѣ съ особой яркостью выставлена на видъ эта сторона у Базарова. Вотъ, напр., страница, изображающая отношеніе Базарова къ своему собственному

чувству, внушенному Одинцовою. Это чувство его „мучило и бѣсило“ и отъ него „онъ тотчасъ отказался бы съ презрительнымъ хохотомъ и циническою бранью, если-бы кто-нибудь, хотя отдаленно, намекнулъ ему на возможность того, что въ немъ происходило.... Онъ съ негодованіемъ сознавалъ романтика въ самомъ себѣ. Тогда онъ отправлялся въ лѣсъ и ходилъ по немъ большими шагами, ломая попадавшіяся вѣтки и браня въ пол-голоса и ее, и себя.... Онъ ловилъ самого себя на всякаго рода „постыдныхъ“ мысляхъ, точно бѣсъ его дразнилъ. Ему казалось иногда, что и въ Одинцовой происходитъ перемѣна, что въ выраженіи ея лица проявлялось что-то особенное, что можетъ-быть... Но тутъ онъ обыкновенно топалъ ногою или скрежеталъ зубами и грозилъ себѣ кулакомъ“ (XVII).

Прочитавъ эти выдержки отдѣльно, читатель, незнакомый съ личностью Базарова, могъ-бы пожалуй подумать, что дѣло идетъ объ аскетѣ, смущаемомъ бѣсовскими наводженіями, для борьбы съ которыми онъ пускаетъ въ ходъ всю силу своей задерживательной воли.

Но аскету, фанатику „личной святости“, сравнительно нетрудно бороться со своими страстями и разными соблазнами: въ его распоряженіи излюбленная идея, которой подчинена вся его личность; вся духовная жизнь стянута у него къ одному пункту, гдѣ движущею силою являются обаяніе религіознаго экстаза, чувство самоуслажденія своими собственными подвигами, вѣра въ загробное воздаяніе, чары молитвеннаго умиленія. Все это — *страстные* состоянія души, которыя сами по себѣ дѣйствуютъ подавляющимъ и даже уничтожающимъ образомъ на другія страсти или чувства, напр. на любовь, какъ чувственную, такъ и идеальную, на увлеченіе земными благами, славой, честолюбіемъ и т. д. Такому человѣку, знающему „одной лишь думы власть“, какъ и всякому человѣку, одержимому идеею, сравнительно не такъ ужъ трудно орудовать аппаратомъ задерживающей воли. Другое дѣло — Базаровъ. У него нѣтъ тѣхъ высшихъ страстей, религіозныхъ или иныхъ, которыя однимъ фактомъ своей наличности, укрѣпляютъ волю, устраняя или парализируя дѣйствіе низ-

шихъ страстей. Что касается спеціально любви къ женщинѣ, то, какъ мы знаемъ, Базаровъ въ этомъ отношеніи — циникъ и не признаетъ въ любви ничего чистаго, идеальнаго. „Нравится тебѣ женщина — говаривалъ онъ — старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись, земля не клиномъ сошлась“ (XVII). Къ самой Одинцовой онъ подходилъ съ мыслями нечистыми. „Но онъ скоро понималъ, что съ ней „не добьешься толку“, „а отвернуться отъ нея онъ, къ *изумленію своему*, не имѣлъ силъ“ (XVII). Это *изумленіе* и также то *негодованіе*, съ которымъ онъ „сознавалъ романтика въ самомъ себѣ“, и потомъ страшная внутренняя борьба и ломка, описанныя въ вышеприведенной выдержкѣ и въ сущности длящаяся до конца романа, свидѣлствуютъ намъ, что въ душѣ этого человѣка есть нѣчто положительное, во имя чего оно борется съ возникшею страстью, но что въ то-же время это *ничто*, каково бы оно ни было, не даетъ для воли той опоры, какую даютъ ей излюбленные страсти аскѣта, фанатика, вообще человѣка, одержимаго идеей. Рядомъ цитатъ можно показать (я это сдѣлалъ въ этюдѣ о Базаровѣ), что „нигилистъ“, радикаль — отрицатель, демократъ Базаровъ не принадлежитъ однако къ числу фанатиковъ идеи, — въ немъ нѣтъ и тѣни фанатическаго, не критическаго отношенія къ своимъ воззрѣніямъ, направленію, дѣлу. Если-бы таковое у него было, и его идеи захватывали бы его цѣликомъ, внутренняя борьба не обошлась бы ему такъ дорого. Противъ новой страсти выступила бы старая; онъ не былъ бы такъ безоруженъ въ борьбѣ со страстью къ Одинцовой и съ тѣмъ вмѣстѣ не придавалъ бы, конечно, такой важности, такого трагическаго значенія тому обыкновенному и неизбѣжному, какъ корь, душевному заболѣванію, которое называется влюбленностью. Вотъ тутъ-то и возникаютъ вопросы: откуда это негодованіе, это возмущеніе, эта борьба? Во имя чего ведется она? Что именно, какое сокровище, оберегаетъ въ себѣ Базаровъ, борясь со своимъ чувствомъ къ Одинцовой? Почему, наконецъ, эта любовь и борьба такъ трагичны?

IV.

За отвѣтами ходить недалеко. Не только въ исторіи этой любви, но и во всемъ, что мы знаемъ о Базаровѣ, на всемъ протяжении романа, отчетливо сказывается одна капитальная черта, придающая особую значительность и высокій интересъ фигурѣ героя и въ то же время чрезвычайно важная для правильнаго пониманія той любви, которую питалъ Тургеневъ къ этому своему „дѣтищу“. Эта черта и есть та „внутренняя свобода“, о которой мы говорили выше, цитируя совѣты Тургенева молодымъ беллетристамъ. Базаровъ — человѣкъ внутренне свободный не хуже самого Тургенева. Во всемъ противоположенъ онъ своему автору — и характеромъ, и складомъ ума, сухого, дѣловаго, положительнаго, и своимъ отношеніемъ къ искусству и поэзии, которыхъ онъ органически не понимаетъ, и укладомъ воли, — въ одномъ только пунктѣ Тургеневъ и Базаровъ сходятся — въ способности къ внутренней свободѣ. Последняя и есть то сокровище, которое такъ ревниво оберегаетъ Базаровъ и ради котораго онъ такъ возмущается противъ чувства къ Одинцовой.

Во избѣжаніе недоразумѣній, здѣсь слѣдуетъ пояснить, что собственно понимаю я подъ внутренней свободой.

Она не есть ничто отрицательное, она — не отсутствіе идей, не безпринципность; она также — не отсутствіе высшихъ чувствъ (напр., чувства долга); она не есть даже отсутствіе страстей. Можно быть адептомъ идеи, чуждымъ оппортунизма, можно руководиться чувствомъ долга, быть доступнымъ увлеченіямъ и страстямъ — и въ то же время оставаться внутренне свободнымъ. Для этого необходимо, кромѣ идей, принциповъ, чувства долга, страстей, обладать еще нѣкоторымъ положительнымъ душевнымъ даромъ. О природѣ этого дара можно составить себѣ понятіе по слѣдующимъ примѣрамъ:

Пироговъ былъ человѣкъ глубоко-религіозный, вѣрующій, христіанинъ, но онъ былъ чуждъ всякаго фанатизма и въ дѣлѣ религіи, какъ и во всемъ, руководился духомъ широкой гуманности, терпимости, человѣколюбія: онъ былъ въ религіи, какъ и

во всемъ, внутренно свободенъ. А вотъ, напр., протопопъ Аввакумъ—такъ тотъ внутренней свободою не обладалъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ Пироговъ былъ послѣдователенъ и принципиаленъ не меньше протопопа Аввакума,—только на другой ладъ. Первый былъ *человѣкъ идеи*, второй былъ *ея рабъ и мученикъ*. Кантъ, всю жизнь работавшій въ тиши кабинета съ самоотверженіемъ отшельника и, какъ извѣстно, отличавшійся необыкновеннымъ богатствомъ идей философскихъ, научныхъ и нравственныхъ, былъ челоѣкъ внутренно свободный: онъ въ своихъ изысканіяхъ, построеніяхъ, жизни руководился не буквою, не догмою системы, а критикой, духомъ изслѣдованія и—въ связи съ этимъ—былъ широкъ и гуманенъ. За то же онъ и создалъ критическую философію, ознаменовавшую наступленіе новой эры въ исторіи мысли, и его имя стоитъ на рубежѣ двухъ эпохъ, — о чемъ, впрочемъ, онъ совсѣмъ не заботился. Другое дѣло, напр., Шопенгауеръ: этотъ гениальный мыслитель создалъ еще въ молодости догматическую систему и такъ и остался на всю жизнь, до глубокой старости, очарованнымъ этимъ своимъ произведеніемъ и воображалъ, что исторія мысли дѣлится отъ Платона до Шопенгауера и отъ Шопенгауера впредь, да кромѣ того всегда былъ подъ властью своего дурного характера и страстей: онъ не былъ внутренно свободенъ. Къ числу мыслителей гениальныхъ, но не свободныхъ относится и Огюстъ Контъ, который и въ позитивизмѣ, и въ особенности въ контизмѣ былъ догматикомъ, да еще проникнутымъ духомъ католической авторитарности, и, кромѣ того, находился подъ давленіемъ *idée fixe* своего призванія. Въ сферѣ политики, общественной дѣятельности и борьбы образцомъ дѣятеля внутренно свободного, но стойкаго и непреклоннаго, является Гладстонъ. Таковымъ же представляется мнѣ и Бебель: принадлежность къ опредѣленной партіи не мѣшаетъ ему быть челоѣкомъ широкихъ общечеловѣческихъ идей и дѣятелемъ, чуждымъ узкой шаблонности доктрины. Необычайный даръ свободы духа былъ присущъ Гѣте и Пушкину, и только по недоразумѣнію или въ силу запальчивости можно было смѣшивать этотъ чудный даръ съ индифферентизмомъ или безпринципностью. Таковъ же былъ и Тургеневъ.

Изъ этихъ и подобныхъ примѣровъ можно видѣть, что внутренняя свобода есть такая „идейность“, которой чужды фанатизмъ, догматизмъ, шаблонъ, доктринерство, исключительность и т. п., и которая просвѣтлена духомъ критики, изслѣдованія, терпимости, гуманности. Если человѣкъ идеи не теряетъ способности выслушивать другихъ, понимать и оцѣнивать инныя точки зрѣнія, инныя убѣжденія; если его излюбленная идея, система, программа, страсть, вѣра не являются въ видѣ завѣсы, заслоняющей отъ его глазъ дѣйствительность, подлиннаго человѣка и человечество; если онъ сознаетъ и чувствуетъ, что, положимъ, его „я“ и его идеи—это нѣчто превосходное, ну а всетаки эта дѣйствительность, этотъ громадный міръ, это человечество сами по себѣ подлежатъ объективному изученію, пониманію и любви (да кромѣ того отлично могутъ обойтись безъ него и его идей);—то такой человѣкъ имѣетъ шансы возвыситься до той высоты душевнаго подъема, которая и есть внутренняя свобода духа.

Само собою разумѣется, внутренняя свобода, какъ и все на свѣтѣ вообще и въ психиіи человѣка въ особенности, можетъ быть только относительной. Немыслимъ такой гений, который обладалъ бы безусловной свободой духа. И Пироговъ, и Кантъ, и Гладстонъ, и самъ Гете представляются внутренне свободными только относительно,—ихъ духъ, ихъ воля, ихъ умъ далеко не такъ связаны, какъ у натуръ другого рода (Шопенгауеръ, Контъ, Толстой). Они свободны во многомъ, въ чемъ другіе связаны; они вообще свободнѣе другихъ. Но у каждаго изъ нихъ найдутся свои слабыя стороны, такія черты характера, темперамента, ума, которыхъ дѣйствіе ограничиваетъ ихъ внутреннюю свободу въ тѣхъ или другихъ отношеніяхъ.

Обращаясь къ Базарову, мы скажемъ такъ:

Это человѣкъ, который имѣетъ много шансовъ стать внутренне-свободнымъ, но по молодости лѣтъ, по недостатку жизненнаго опыта, онъ далеко еще не осуществилъ этой свободы и не оправдалъ своихъ правъ на нее. Видно только, что, не умри Базаровъ такъ рано, онъ сумѣлъ бы ихъ оправдать. Задатки внутренней свободы въ немъ основаны на свойствахъ его боль-

шого ума и на необычайной силѣ воли. Объ этой послѣдней мы говорили выше. Что же касается ума, то всякій, прочитавшій и понявшій „Отцы и Дѣти“, отлично знаетъ, какъ уменъ Базаровъ. Было бы излишне распространяться на эту тему и доказывать цитатами, что у Базарова сильный аналитическій и критическій умъ, нѣсколько сухой и холодный, нечуждый ироніи и скептицизма, „научно-дѣловой“. Такія свойства ума много содѣйствуютъ освобожденію духа. Если не во всѣхъ сферахъ, то по крайней мѣрѣ въ области идей, идеаловъ, общественныхъ стремленій такой умъ всегда предохранитъ человѣка отъ узкости, односторонности, фанатизма, не позволитъ ему стать рабомъ идеи, мономаномъ. И въ самомъ дѣлѣ, Базаровъ обращается со своими идеями совершенно свободно, и самый „нигилизмъ“, отрицаніе „принциповъ“ и авторитетовъ, въ существѣ дѣла, являются у него только своеобразнымъ, юношески-незрѣлымъ, непродуманнымъ выраженіемъ этой внутренней свободы. Несомнѣнно, съ годами и опытомъ такой способъ выраженія свободы замѣнился бы у него другимъ — болѣе зрѣлымъ, болѣе совершеннымъ ея проявленіемъ. Вполнѣ созрѣвшій, обогащенный опытомъ жизни, расширившій кругъ своихъ идей, Базаровъ уже не станетъ утверждать, что напр. „порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта“, что „Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ“, что „принциповъ нѣтъ, а есть только ощущенія“, и т. д. Чтобы правильно понять Базарова, къ этому нигилизму его нужно относиться такъ, какъ отнесся къ нему самъ Тургеневъ, — благодушно, безъ той горячности, какую проявляетъ Павелъ Петровичъ Кирсановъ. Тургеневъ ясно показалъ намъ неумѣстность этой горячности и далъ понять, что — не будь ея — самъ Базаровъ выражался бы не такъ рѣзко. Лично Тургеневу было крайне несимпатично отрицаніе искусства, авторитетовъ, глумленіе надъ Рафаэлемъ и Пушкинымъ и т. д., но онъ умѣлъ глубоко проникать взоромъ художника и мыслителя въ душевное нутро людей, умѣлъ взвѣшивать и оцѣнивать ихъ внутреннее содержаніе, чего не умѣетъ Павелъ Петровичъ. Послѣдній органически неспособенъ понять Базарова — какъ натуру, умъ, характеръ, и, въ своей оцѣнкѣ человѣка, дер-

жится на поверхности, не идетъ дальше „взглядовъ“, словъ, случайныхъ проявленій личности. Не нравятся ему эти слова и проявленія, — и онъ отворачивается отъ человѣка, выноситъ ему безапелляціонный приговоръ. Ему и въ голову не приходитъ простая мысль, что есть вѣдь въ человѣкѣ нѣчто болѣе существенное, чѣмъ слова и „взгляды“, нѣчто глубже лежащее, есть характеръ, воля, складъ ума, внутренніе запросы, есть сложная личность въ процессѣ развитія, ищущая выраженія и самоопредѣленія.

Для Павла Петровича Кирсанова, Базаровъ никоимъ образомъ не можетъ служить „дополнительной личностью“. Онъ и Базаровъ — это два контраста, но такіе, которые другъ друга не дополняютъ, не способны къ гармоническому сочетанію.

Но Тургеневъ — не Павелъ Петровичъ Кирсановъ, и отношенія его къ Базарову поэтому совсѣмъ иныя. Другое дѣло — Николай Петровичъ Кирсановъ: въ немъ воплощены нѣкоторыя типичныя черты передового дворянства эпохи 40—60-хъ годовъ, между прочимъ тѣ, которыя Тургеневъ находилъ въ самомъ себѣ. „Николай Петровичъ (говоритъ Тургеневъ въ письмѣ къ Случевскому, 1862 г., № 81) это — я, Огаревъ и тысячи другихъ“. Мягкость характера, слабость воли, прекраснодушіе, литературные вкусы, сочувствіе къ молодежи, культъ Пушкина и природы, недостатокъ практическаго смысла, неспособность къ дѣйствию и т. д. — таковы характерныя признаки этого типа, совершенно противоположнаго базаровскому. Эта противоположность однако вовсе не предполагаетъ той враждебности, той невозможности соглашенія, которыя образуютъ основу отношеній между Павломъ Петровичемъ и Базаровымъ. Николай Петровичъ едва ли вполне понимаетъ и едва ли могъ бы полюбить Базарова, но въ то же время въ немъ нѣтъ той затаенной, предвзятой, инстинктивной вражды къ нему и того почти физическаго отвращенія, какія проявляетъ его братъ. Между отцомъ Аркадія и Базаровымъ, при другихъ обстоятельствахъ, могли бы установиться очень хорошія отношенія. И самъ Базаровъ, какъ извѣстно, по своему цѣнитъ и понимаетъ Николая Петровича; въ немъ нѣтъ никакой

антипатіи къ послѣднему. — „Базаровъ уменъ и знающъ“, говоритъ Николай Петровичъ. — „Твой отецъ добрый малый“, говоритъ Базаровъ Аркадію, — „но онъ человѣкъ отставной, его пѣсенка спѣта“.

При всемъ томъ, предполагая даже наилучшія отношенія между Николаемъ Петровичемъ и Базаровымъ, все-таки они никогда не могли бы служить другъ для друга „дополнительными личностями“. Гармоническое соотношеніе между ихъ умами и натурами немислимо. Базаровъ для Кирсанова-отца — слишкомъ большая сила; Николай Петровичъ для Базарова — слишкомъ слабъ и зауряденъ. Въ немъ нѣтъ ничего такого, что могло-бы уравновѣсить базаровскую силу духа. То же самое приходится сказать и объ Аркадіѣ. Юный другъ Базарова, какъ умъ, характеръ, темпераментъ, — весь въ отца. Уравновѣсить другъ друга Базаровъ и Аркадій не могутъ. Ихъ отношенія таковы: взаимная симпатія и дружба, восторженное поклоненіе со стороны Аркадія, снисходительное расположеніе со стороны Базарова, но отсутствіе и невозможность настоящей гармоніи. Аркадій, какъ и его отецъ, слабъ и зауряденъ, Базаровъ слишкомъ силенъ и содержателенъ. Они не могутъ быть другъ для друга настоящей душевной потребностью. Отсюда въ концѣ концовъ взаимное охлажденіе и разрывъ.

У.

Теперь возьмемъ эту самую натуру, этотъ дворянскій типъ, воплощенные въ образахъ Николая Петровича и Аркадія, и, не нарушая основныхъ чертъ, начнемъ понемногу усиливать качества ума и таланта. Николай Петровичъ далеко не глупъ, Аркадій вовсе не ограниченный человѣкъ. Но легко можно представить себѣ человѣка того-же дворянскаго типа и той-же натуры, только одареннаго выдающимся умомъ — мыслителя, художника, съ несравненно большимъ діапазономъ духа, съ тою душевною чуткостью, которая рѣдко выпадаетъ на долю натурамъ зауряднымъ, наконецъ — съ даромъ творчества, все равно какого — художе-

ственного, публицистическаго, философскаго, научнаго. Въ результатѣ получится тотъ-же „дворянинъ“, но только именуемый, напр., Пушкинымъ, Герценомъ, Тургеневымъ и т. д. Мы получимъ большую душевную силу, которая уже не спасуетъ передъ Базаровымъ и можетъ его уравновѣсить. Между этими двумя силами становится возможнымъ гармоническое соотношеніе; онѣ способны дополнить одна другую. — Вотъ и посмотримъ, какъ Базаровъ дополняетъ Тургенева.

Нѣкоторыя данныя для рѣшенія этого вопроса были приведены выше. Мы видѣли, какъ Тургеневъ любитъ Базарова; мы указали на тѣ черты базаровской натуры, которыхъ недоставало Тургеневу и которыя потому и служили для него „дополненіемъ“. Наконецъ мы отмѣтили общую у нихъ черту—внутреннюю свободу, присутствіе которой дѣлаетъ личность Базарова особенно симпатичной и дорогой Тургеневу. Но всего этого еще недостаточно, — попытаемся заглянуть глубже въ эти сложные душевныя отношенія художника къ его созданію.

Сперва прочтемъ слѣдующія строки изъ письма къ Случевскому (1862 г., № 18): „... если читатель не полюбитъ Базарова со всею его грубостью, безсердечностью, безжалостной сухостью и рѣзкостью,—если онъ его не полюбитъ, повторяю я,—я виновать, и не достигъ своей цѣли... Мнѣ мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая изъ почвы, сильная, злобная, честная и все-таки обреченная на погибель, потому что она все-таки стоитъ еще въ преддверіи будущаго,—мнѣ мечтался какой-то странный pendant съ Пугачевымъ...“ — „Базаровъ подавляетъ всѣ остальные лица романа... Приданныя ему качества не случайны. Я хотѣлъ сдѣлать изъ него лицо трагическое — тутъ было не до нѣжностей. Онъ честенъ, правдивъ и демократъ до конца ногтей... Базаровъ, по моему, постоянно разбиваетъ Павла Петровича, а не наоборотъ, и если онъ называется нигилистомъ, то надо читать: революціонеромъ“. — „Вся моя повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передового класса...“ — „Базаровъ въ одномъ мѣстѣ у меня говорилъ (я это выкинулъ для цензуры) Аркадію: твой отецъ честный малый, но будь онъ расперевзяточ-

никъ—ты все-таки дальше благороднаго смиренія или кипѣнія не дошелъ-бы, потому что ты дворянинъ“.

Эти признанія Тургенева для насъ драгоценны, тѣмъ болѣе, что они были сдѣланы, такъ сказать, по горячимъ слѣдамъ, очень скоро послѣ появленія „Отцовъ и Дѣтей“. Ихъ искренность не можетъ быть заподозрѣна. Но они требуютъ поясненій. Не нужно забывать, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ частнымъ письмомъ, не предназначавшимся для печати, да еще обращеннымъ къ молодому (тогда) человѣку, гейдельбергскому студенту. Оно было написано специально для разъясненія возникшихъ недоразумѣній по поводу „Отцовъ и Дѣтей“, и на всѣ эти недоразумѣнія Тургеневъ отвѣчаетъ по пунктамъ. Оттуда, кромѣ сжатости и краткости, и еще и та особенность, что весь вопросъ сводится къ авторскимъ *назиреніямъ* и къ разъясненію внутренняго смысла выведенныхъ образовъ. Наша же задача—иная; мы ставимъ себѣ цѣлью прослѣдить внутренній процессъ творчества, въ которомъ всегда, кромѣ преднамѣренности, есть много вдохновенія и наивности. Вспомнимъ здѣсь то мѣсто изъ письма къ Салтыкову, гдѣ Тургеневъ говоритъ, что писалъ Базарова „*наивно*, словно самъ дивясь тому, что у него выходило, что тутъ былъ какой-то *фатумъ*, что-то *сильнѣе* самого автора, что-то независимое отъ него, и никакой тенденціи, никакой предвзятой мысли у него тогда не было“.. (Цитировано выше, № 217). Между этими признаніями и тѣмъ, что писалъ Тургеневъ Случевскому, въ существѣ нѣтъ противорѣчій. Въ процессѣ творчества элементы сознательнаго и бессознательнаго, наивности и осмысленности, непосредственности и преднамѣренности такъ причудливо перепутываются, такъ чередуются и совмѣщаются, что самъ художникъ часто не въ состояніи разобраться, гдѣ кончается одно, гдѣ начинается другое, когда дѣйствовало вдохновеніе, когда являлась сознательная работа мысли. По счастью, именно въ созданіи Базарова мы имѣемъ возможность, благодаря письмамъ и другимъ даннымъ, съ большимъ вѣроятіемъ опредѣлить относительную долю участія того и другого фактора. „Преднамѣренность“, сознательность, очевидно, играли большую роль въ самомъ началѣ, въ первомъ замыслѣ База-

рова. Сильное впечатлѣніе, произведенное на Тургенева „молодымъ провинціальнымъ врачомъ“, прототипомъ Базарова, вызвало сознательную работу мысли, направленную на апперцепцію натуръ и умовъ этого рода и на уясненіе духа отрицательныхъ идей, смысла революціонныхъ стремленій. Затѣмъ, вынырнулъ образъ Пугачева. Могли припоминаться и другіе. Въ этюдѣ о Базаровѣ („Харьк. Губ. Вѣд.“) я старался показать, что фигура отца рассказчика въ „Первой любви“ (написанной, какъ извѣстно, непосредственно передъ „Отцами и Дѣтьми“ и послѣ знакомства Тургенева съ съ „молодымъ провинціальнымъ врачомъ“) была какъ-бы подготовкой Базарова: это та-же натура, сильная, властная, покоряющая, холодная, умная, недобрая. Это былъ какъ-бы этюдъ, набросанный въ виду замысла большой картины. Тургеневу могъ также припоминаться, напр., Инсаровъ, и — предполагаю — напращивалась мысль создать образъ „русского Инсарова“. Во всемъ этомъ было много сознательной работы мысли. Но затѣмъ должны были выступить на авансцену процессы бессознательные, та „наивность“ и тотъ „фатумъ“, о которыхъ говоритъ Тургеневъ въ въ письмѣ къ Салтыкову. Эту „наивность“ и „фатумъ“, это бессознательное въ творествѣ, я свожу къ ритмическому движенію души, къ стремленію создать дополнительную личность и достичь гармоніи. Эти волны душевнаго ритма, поднявшіеся изъ глубины встревоженной творческимъ вдохновеніемъ души, разметали и унесли и Пугачева, и Инсарова, и героя „Первой любви“, — и на поверхность вынырнулъ иной образъ, иная мечта. Это были еще неясныя очертанія фигуры „сумрачной, наполовину выросшей изъ почвы“, умной, злой, правдивой, честной. И вотъ тутъ-то произошло то, что всегда возникаетъ въ творествѣ истинныхъ большихъ художниковъ. Назрѣвающій образъ, всплывающая мечта получила очертанія общей идеи или лучше обобщеннаго образа, въ которомъ ищетъ воплотиться не что-нибудь случайное, исключительное, индивидуальное, а нѣчто общее, человѣческое, характерное для человѣчества, важное для познанія и пониманія той или другой стороны духа, каковъ онъ есть или какимъ онъ можетъ быть въ statu quo или въ развитіи.

И вотъ въ отвѣтъ и въ унисонъ съ этимъ расширеніемъ образа расширяется душа самого художника, — онъ самъ становится *типомъ*, „образомъ обобщающимъ“, и въ этомъ видѣ онъ ищетъ себѣ дополненія въ томъ, что создается. Базарова написавъ не индивидуальный, такъ сказать, Ив. Серг. Тургеневъ, а Тургеневъ — типъ и представитель лучшихъ людей дворянства 40—60-хъ гг., западникъ, идеалистъ. Когда онъ создавалъ Базарова, онъ чувствовалъ въ себѣ русскаго дворянина добраго стараго времени, онъ сознавалъ свою — дворянскую — общественную и политическую несостоятельность и жаждалъ образа, въ которомъ даны были бы задатки иного призванія; онъ лелѣялъ и облюбовывалъ черты силы, практическаго, дѣловаго ума, черты натуры мощной, „наполовину выросшей изъ почвы“, „можетъ быть — недоброй“. Онъ какъ бы собралъ въ себѣ въ эту минуту всю сумму дворянской мягкости, доброты, эстетики, прекрасноты, оторванности отъ почвы и т. д., и ощущалъ душевную потребность — увидѣть и полюбить воплощеніе противоположныхъ чертъ — базаровскихъ. Поскольку эти движенія души проникали въ сознаніе, постольку они могли быть переведены терминами письма къ Случевскому; поскольку они оставались безсознательными, — они должны были подсказать то, что писалъ Тургеневъ Салтыкову.

Психическій ритмъ, осуществлявшійся въ процессѣ созданія Базарова, былъ очень сложенъ. Тургеневъ, обобщающій въ себѣ множество дворянскихъ натуръ и создающій такимъ путемъ образы Николая Петровича и Аркадія, — это одна волна, и это творчество по преимуществу субъективное — отъ себя. Еще волна — противоположеніе себя этому обобщенію: Кирсановы, отецъ и сынъ, это — одно я, Тургеневъ — типъ, но есть еще другое его я — Тургеневъ — художникъ и мыслитель. Это какъ бы раздвоеніе личности. Воплотивъ одну половину себя въ Николаѣ Петровичѣ, Тургеневъ другою, своимъ „я“ мыслителя и художника, незримо, но ощутительно присутствуетъ въ романѣ для уравниванія базаровской силы, для гармоническаго созвучія съ нею. И эта гармонія дѣйствительно осуществляется. На Базарова Тургеневъ

въ самомъ дѣлѣ потратилъ свои лучшія краски. Онъ любитъ своимъ „дѣтищемъ“. Онъ въ восторгѣ, что „нашелъ“ Базарова. „Отцы и дѣти“ — это, можно сказать, романъ Тургенева и Базарова, это повѣсть о томъ, какъ великій объективный художникъ сталъ выше своего типа, класса, эпохи и съ этой высоты мысли устремилъ очарованный взоръ въ величественный фантомъ, вдругъ выросшій передъ нимъ.

Базаровъ — это въ нѣкоторомъ родѣ фантомъ, видѣніе художника. Это не типъ въ тѣсномъ смыслѣ слова. И въ самомъ дѣлѣ.

Смотрѣть на Базарова, какъ на типъ нашихъ „нигилистовъ“ или „мыслящихъ реалистовъ“ 60-хъ гг. — нѣтъ никакой возможности. Къ этому „движенію“, въ сущности безобидному, Базаровъ примыкаетъ чисто внѣшнимъ образомъ. Отрицаніе искусства, глумленіе надъ Пушкинымъ, культъ естественныхъ наукъ, матеріалистическое міровоззрѣніе — все это только „механически“ связываетъ Базарова съ извѣстными кругами молодежи того времени. Но вѣдь Базаровъ интересенъ и такъ значителенъ вовсе не этими „взглядами“, не „направленіемъ“, а внутренней содержательностью и сложностью натуры, въ самомъ дѣлѣ „сумрачной“, „наполовину выросшей изъ почвы“, огромной силою духа, наконецъ — при демократизмѣ „до конца ногтей“ — такой независимостью мысли и такой полнотой внутренней свободы, какихъ дай Богъ настоящему философу. Это-ли тѣ черты, которыя могутъ быть названы типичными для молодежи 60-хъ годовъ, Писаревского направленія? Въ письмѣ къ Случевскому, Тургеневъ говорить, что вмѣсто „нигилиста“ нужно читать „революціонеръ“. Пріймемъ такое „чтеніе“ и постараемся понять Базарова — какъ типъ уже не „нигилиста“ 60-хъ гг., а „революціонера“. Если даже будемъ имѣть въ виду не только русскихъ революціонеровъ 60-хъ и послѣдующихъ годовъ, но и западноевропейскихъ, то и въ такомъ случаѣ типичность Базарова будетъ очень сомнительною. Его натура, правда, въ основѣ своей, представляется „революціонной“, но съ тѣмъ вмѣстѣ въ немъ слишкомъ много внутренней свободы и скептицизма, чтобы онъ могъ быть признанъ

истиннымъ, типичнымъ представителемъ революціоннаго духа и умонастроенія. Настоящіе революціонеры большею частью фанатики, т. е. люди внутренне-несвободные. Революціонеру не подобаетъ также быть скептикомъ. Въ извѣстномъ смыслѣ, онъ — вѣрующій и исповѣдующій. Гдѣ же у Базарова признаки фанатизма, вѣры, слѣпой преданности идеѣ? Если онъ и говоритъ Аркадію: „вы, напримѣръ, не деретесь — и ужъ воображаете себя молодцами, — а мы драться хотимъ... намъ другихъ ломать надо и т. д.“ (гл. XXVI), то это свидѣтельствуетъ только о томъ, что натура Базарова, какъ сказано выше, *въ основѣ своей*, революціонная, буйная, склонная къ насилію, къ активному протесту. Но это только *задатки*, и отъ нихъ еще далеко до настоящаго революціоннаго уклада мысли и чувства. Не всякій желающій драться и „ломать“ другихъ, eo ipso есть революціонеръ, — къ этимъ задаткамъ нужно еще присоединить *опору* въ людей, въ свое дѣло, слѣпую преданность идеѣ. Эта „прибавка“ такъ важна, что исторія являетъ намъ нерѣдкіе примѣры революціонныхъ дѣятелей, которые были таковыми только въ силу этой *опоры* и *преданности*, а вовсе не по натурѣ, часто мягкой и пассивной. — Далѣе, у Базарова нѣтъ и того духа пропаганды и прозелитизма, который такъ свойственъ заправскимъ революціонерамъ. Развивая свои взгляды Одинцовой, онъ „говорилъ все это съ такимъ видомъ, какъ будто въ то же время думалъ про себя: вѣрь мнѣ или не вѣрь, это мнѣ все едино (XVI)“. Въ бесѣдахъ съ Аркадіемъ онъ скорѣе напоминаетъ философа — матеріалиста, бесѣдующаго съ ученикомъ своимъ, чѣмъ пропагандиста, вербующаго себѣ адепта.

Но что особенно характерно для Базарова и въ то-же время является признакомъ рѣзкаго отличія его внутренняго міра отъ натуръ и умовъ заправски-революціонныхъ, это та вѣчная неудовлетворенность и невозможность найти удовлетвореніе, то отсутствіе равновѣсія духа, которыя съ особливою наглядностью сказались въ слѣдующей тирадѣ: „я думаю, — говоритъ онъ Аркадію, — хорошо моимъ родителямъ жить на свѣтѣ! Отецъ въ 60 лѣтъ хлопочетъ, толкуетъ о „палліативныхъ“ средствахъ, лѣчитъ людей,

великодушничаетъ съ крестьянами,—кутитъ, однимъ словомъ; и матери моей хорошо: день ея до того напичканъ всякими заботами, охами да ахами, что ей и опомниться нѣкогда; а я... А я думаю: я вотъ лежу здѣсь подъ стогомъ... Узенькое мѣстечко, которое я занимаю, до того крохотно въ сравненіи съ остальнымъ пространствомъ, гдѣ меня нѣтъ и гдѣ дѣла до меня нѣтъ; и часть времени, которую мнѣ удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью, гдѣ меня не было и не будетъ... А въ этомъ атомѣ, въ этой математической точкѣ, кровь обращается, мозгъ работаетъ, чего-то хочетъ тоже... Что за безобразіе! Что за пустяки!.. Я хотѣлъ сказать, что они вотъ, мои родители то-есть, заняты и не беспокоятся о собственномъ ничтожествѣ, оно имъ не смердитъ... а я... я чувствую только скуку да злость“ (XXI).

Вотъ именно то, что Базаровъ говоритъ здѣсь о своихъ родителяхъ, можетъ быть, *mutatis mutandis*, съ бѣльшимъ правомъ сказано о революціонерахъ: они *заняты* и не беспокоятся о собственномъ „ничтожествѣ“. И въ самомъ дѣлѣ. Простые и смиренные люди, въ родѣ родителей Базарова,—тѣ скорѣе, въ минуту напр., горя, могутъ почувствовать свое ничтожество. Революціонеръ преисполненъ сознаніемъ своей миссіи, иллюзіей великаго, историческаго дѣла, которому онъ призванъ служить, и скорѣе склоненъ преувеличивать свою значительность, свою цѣнность — общественную, національную, международную,—чѣмъ чувствовать свое ничтожество. Въ смыслѣ психологическомъ, нѣтъ людей болѣе *занятыхъ*, какъ именно революціонеры; и нѣтъ людей болѣе уравновѣшенныхъ, болѣе ясныхъ, всѣ вопросы разрѣшившихъ, чуждыхъ скептицизма, колебанія, сомнѣній. Тѣ мысли о безконечности, вѣчности, о ничтожествѣ челоуѣка, которымъ такъ доступенъ Базаровъ, имъ и въ голову не приходятъ. Это люди жизни, текущаго историческаго момента, интересами и иллюзіями котораго переполнена ихъ душа,—имъ некогда философствовать о суетѣ суетъ, и челоуѣческое ничтожество „имъ не смердитъ“.

Однаго этого ужъ достаточно для заключенія, что Базаровъ не есть представитель революціоннаго типа. Что-жъ онъ такое?

Что онъ такое самъ по себѣ и что онъ для Тургенева? На этотъ вопросъ я постараюсь отвѣтить въ слѣдующей главѣ, гдѣ, подведя итогъ всему вышесказанному, я вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлаю попытку освѣтить этотъ итогъ нѣкоторыми соображеніями, извлеченными изъ анализа такихъ — очень субъективныхъ — вещей Тургенева, какъ „Призраки“ и „Довольно“.

Глава II.

I.

Едва-ли найдется такой *объективный* художникъ, въ творчествѣ котораго не было бы никакой примѣси *субъективнаго* элемента. Этотъ послѣдній не чуждъ и Тургеневу и въ нѣкоторой долѣ можетъ быть усмотрѣнъ даже въ такихъ, по преимуществу объективныхъ, созданіяхъ его, какъ фигура Базарова.

Анализируя этотъ образъ, мы пришли къ заключенію, что Базаровъ не есть ни представитель „нигилизма“ 60-хъ годовъ, ни воспроизведеніе революціоннаго типа, что это — личность *sui generis*, сотканная изъ весьма разнообразныхъ элементовъ, нѣчто въ родѣ „видѣнія“ художника, и ея созданіемъ Тургеневъ стремился удовлетворить какой-то настоящей и очень интимной потребности своего ума и своей души.

Вотъ тутъ то и скрывается субъективная сторона въ созданіи этой столь объективной фигуры. Чтобы уловить и правильно оцѣнить эту сторону, нужно обратиться къ тѣмъ даннымъ, которыя мы найдемъ въ такихъ произведеніяхъ Тургенева, какъ „Призраки“ и „Довольно“.

Начнемъ съ послѣдняго.

„Довольно“ (1864) можетъ быть причислено къ разряду „стихотвореній въ прозѣ“. Это очень изящная лирическая вещь, блестящая всѣми красотами поэтической рѣчи Тургенева. Въ то же время это — очень искреннее, прямо вылившееся изъ души, яркое выраженіе нѣкоторыхъ мучительныхъ чувствъ и думъ, во власти которыхъ былъ Тургеневъ въ разные періоды своей жизни и между прочимъ — во время созданія „Отцовъ и Дѣтей“. Въ „Довольно“ Тургеневъ какъ бы договорилъ — и уже прямо отъ

себя—то, что въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ затронуто въ формѣ объективнаго воспроизведенія.

Здѣсь нужно припомнить тѣ черты базаровской натуры, на которыя я уже указывалъ раньше, — именно его „самоломанность“ и то, что „ему смердить“, какъ онъ выражается, „его собственное ничтожество“, — мысли о вѣчности, передъ которой такъ ничтоженъ человѣкъ, грозный призракъ смерти, возмущающій гордость Базарова, наконецъ, вообще пессимистическій взглядъ на вещи, на людей, казалось бы не идущій къ столь сильному, полному жизни и стремленій человѣку.

Все это—*mutatis mutandis* выражено въ „Довольно“ такъ, какъ будто герой, отъ лица котораго ведется рѣчь, есть самъ Тургеневъ.

И прежде всего мы встрѣчаемся здѣсь съ мыслью или точкой зрѣнія на вещи, которая неизмѣнно повторяется у всѣхъ пессимистовъ или вообще у людей, когда они пессимистически настроены. Одно изъ древнѣйшихъ выраженій этого взгляда, сдѣлавшееся классическимъ и вошедшее въ поговорку, мы находимъ у Экклезіаста, этого Шопенгауэра древности: „ничто не ново подъ луною, — суета суетъ и всяческая суета“.

Вотъ повтореніе этого мотива у Тургенева въ „Довольно“: „...Что мнѣ въ томъ, что въ это самое мгновеніе заря все шире, все ярче разливается по небу, словно распаленная какою-то всепобѣдною страстью? Что въ томъ, что въ двухъ шагахъ отъ меня, среди тишины и нѣги и блеска вечера, въ росистой глубинѣ неподвижнаго куста, соловей вдругъ сказался такими волшебными звуками, точно до него на свѣтѣ не водилось соловьевъ, и онъ первый запѣлъ первую пѣсню о первой любви? Все это было, — было, повторялось, повторяется тысячу разъ — и какъ вспомнишь, что все это будетъ продолжаться такъ цѣлую вѣчность — словно по указу, по закону — даже досадно станеть!...“ (гл. III). „...Если бы вновь родился Шекспиръ, ему не изъ чего было бы отказаться отъ своего Гамлета, отъ своего Лира. Его проницательный взоръ не открылъ бы ничего новаго въ человѣческомъ быту: все та-же пестрая и въ сущности несложная картина разверну-

лась бы передъ нимъ въ своемъ тревожномъ однообразіи...“ и т. д. (гл. XIV).

Всякому человѣку могутъ приходить въ голову подобнаго рода мысли, — въ особенности тому, кто имѣетъ основаніе сказать о себѣ словами Тургенева въ „Довольно“: „все извѣдано — все пережито много разъ... усталъ я...“, или еще яснѣе: „Эхъ состарился я! Прежде подобныя мысли и въ голову бы мнѣ не пришли — прежде, въ тѣ счастливые дни, когда я самъ разгорался, какъ заря, и пѣлъ, какъ соловей. Надо признаться: все потускнѣло вокругъ, вся жизнь поблекла. Свѣтъ, который даетъ ей краскамъ и значеніе, и силу, — тотъ свѣтъ, который исходитъ изъ сердца человѣка, — погасъ во мнѣ...“ (гл. IV).

Душевная усталость, изношенность, одряхленіе, притупленіе живыхъ силъ ума и сердца — вотъ обычные источники того безотраднaго міровоззрѣнія, которое такъ поэтически выражено въ „Довольно“. Разумѣется, совершенно невѣроятно, чтобы въ такомъ именно состояніи душевнаго упадка находился Тургеневъ въ 1864 г., когда онъ написалъ рассматриваемый очеркъ. Все, что могло случиться, это только нѣкоторая умственная усталость послѣ почти непрерывнаго творчества второй половины 50-хъ гг. и начала 60-хъ ¹⁾, да, пожалуй, еще упадокъ духа вслѣдствіе тѣхъ разочарованій, обидъ, нареканій, которыя выпали на долю Тургенева послѣ появленія „Отцовъ и Дѣтей“. Все это, конечно, не могло служить достаточнымъ основаніемъ тому, чтобы еще не старый, полный силъ и творческихъ замысловъ поэтъ сказалъ о себѣ то, что говорится въ только-что приведенной выдержкѣ изъ IV-ой главы „Довольно“. Но, быть можетъ, „Довольно“ — это не болѣе, какъ выраженіе мимолетнаго настроенія, капризъ художника? Едва-ли: это вещь слишкомъ продуманная, — какъ сказано выше, изъ души вылившаяся, да кромѣ того, по укладу мысли и настроенію, тѣсно примыкающая къ другимъ, предшествующимъ произведеніямъ, „Призракамъ“ и „Отцамъ и Дѣтямъ“. По всему

¹⁾ 1855 — „Рудинъ“, 1855 — „Фаустъ“, 1858 — „Дворянское гнѣздо“, 1859 — „Наканунъ“, 1860 — „Первая любовь“, 1861 — „Отцы и Дѣти“, — есть отчего немного утомиться.

видно, что это былъ порядокъ мыслей и чувствъ, занимавшихъ умъ и волновавшихъ воображеніе Тургенева въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, а вовсе не случайное умонастроеніе, не мимолетный капризъ. Если все это такъ, то, казалось бы, остается одно — признать, что „Довольно“, „Призраки“ и соотвѣтственные стороны въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ были продуктами не субъективнаго, а объективнаго творчества: самъ Тургеневъ (такъ можно подумать) подобнаго состоянія не испытывалъ, и такое безотрадное міровоззрѣніе не было ему присуще, но онъ наблюдалъ явленія этого рода, постигъ ихъ воображеніемъ великаго художника и воспроизвелъ, — какъ постигъ и воспроизвелъ онъ столь чуждую себѣ натуру Базарова, раньше — Инсарова и т. д. Но вникая въ дѣло глубже, мы принуждены будемъ отказаться отъ такого предположенія. Пессимизмъ „Довольно“, „Призраковъ“ и соотвѣтственныхъ мѣстъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ бесспорно *субъективнаго* происхожденія, — но только онъ вытекаетъ не изъ душевнаго одряхленія, на которое указывается въ „Довольно“, а изъ другого источника.

Онъ, такъ сказать, — „головного“ происхожденія и вытекаетъ изъ *свойствъ тургеневскаго ума*. Основные черты или типъ послѣдняго мы намѣтили въ началѣ этого этюда. Теперь необходимо вернуться къ этому вопросу и дополнить нашу характеристику еще нѣкоторыми существенными чертами. Кстати сказать, обыкновенно при анализѣ и оцѣнкѣ произведеній художественнаго творчества слишкомъ мало удѣляютъ мѣста изученію самого ума, создавашаго данное произведеніе, опредѣленію его свойствъ, его характерныхъ чертъ. А между тѣмъ (я старался показать это въ брошюрѣ „Языкъ и Искусство“, изд. „Русской Библіотеки“ № 8. С.-Петербургъ. 1895 г.) художественное творчество есть дѣятельность чисто-умственная (это одна изъ формъ *apperceptions*) — не меньше ученаго изслѣдованія или философскаго построенія. И въ дѣлѣ анализа и критики произведеній искусства на первомъ планѣ долженъ быть поставленъ вопросъ о томъ, *какъ апперцепируетъ* данный умъ, къ какому типу или укладу мысли относятся его умственные операціи.

II.

И прежде всего я попрошу читателя не упускать изъ вида, что умъ человѣческій (въ особенности — большой, созидающій) есть аппаратъ чрезвычайно сложный, въ которомъ совмѣщаются кажущіяся противорѣчія, и въ которомъ, кромѣ процесса созданія и развитія идей, кромѣ анализа и синтеза, дѣйствуютъ много рода чувствованія, пристрастія, расположенія, даже радости и печали, — дѣйствуютъ, какъ элементъ, сопутствующій работѣ чистой мысли, ее окрашивающій, но не случайный, а вытекающій изъ основныхъ свойствъ даннаго ума. Вотъ именно эти свойства и связанный съ ними порядокъ умственныхъ чувствъ легче всего наблюдать, когда они обнаруживаются подъ воздействием извѣстной идеи, могущей служить для ума своего рода реактивомъ. Наблюдайте, *какъ* такая идея дѣйствуетъ въ изслѣдуемомъ умѣ, — можетъ ли она глубоко пустить корни въ немъ, или держится на его поверхности, — есть ли внутреннее сродство (Wahlverwandschaft) между ними, или же его нѣтъ, и идея усвоится лишь внѣшнимъ образомъ, — наконецъ, какой порядокъ интеллектуальныхъ чувствъ вызывается ею. Для ума Тургенева, который — читатель помнитъ — мы отнесли къ разряду „недѣловыхъ“, созерцательныхъ, философски-консервативныхъ умовъ „ренановскаго“ типа, такой пробной, реагирующей идеей можетъ служить *идея развитія (эволюціи), мысль трансформизма*. Есть умы, внутренне къ ней предрасположенные, — имъ особенно удобно, привольно и радостно мыслить въ этомъ направленіи, двигаться по этой колеѣ; есть другіе умы, которымъ она прямо-таки претитъ; есть третьи, охотно ее принимающіе, но не задѣваемые ею за живое, равнодушно, разсудочно относящіеся къ ней. Вотъ именно къ этому то послѣднему разряду и принадлежитъ Тургеневъ вмѣстѣ съ Ренаномъ и другими мыслителями того же типа.

Мыслитель, умъ котораго внутренне предрасположенъ къ эволюціонизму и трансформизму, который глубоко чувствуетъ величіе и плодотворность этой идеи, провидитъ ея великое будущее, никогда не скажетъ, что ничто не ново подъ луною. На-

противъ, для него—все ново, ничто не повторяется. вмѣстѣ съ Потебнѣю, онъ не только скажетъ, но всѣми фибрами своего ума будетъ чувствовать, что „интересъ исторіи именно въ томъ, что она не есть лишь безконечная тавтологія“¹⁾.

Для умовъ практическихъ, житейскихъ (напр. для общественнаго или политическаго дѣятеля, для государственнаго чловѣка) идея эволюціи долго еще не будетъ имѣть большого значенія. Для нихъ она можетъ быть только предметомъ любознательности. Чловѣкъ жизненной борьбы имѣетъ дѣло съ существующими формами жизни, которыя кажутся ему, въ своихъ основныхъ чертахъ, неподвижными. Его дѣятельность ограничена этой кажущейся неподвижностью. Раздвигать горизонтъ и устремлять взоръ въ безконечную даль вѣковъ — ему, какъ практическому дѣятелю, нѣтъ никакой надобности, и, пожалуй, это могло бы даже повредить его дѣлу. Ему совсѣмъ и не нужно знать и чувствовать, что, помимо тѣхъ маленькихъ измѣненій въ предѣлахъ существующихъ формъ, которыя онъ производитъ или стремится произвести и которыя кажутся ему очень большими, совершаются незамѣтно, по каплямъ, колоссальныя измѣненія самихъ формъ жизни,—измѣненія, результаты которыхъ обнаружатся вѣками. И, въ сравненіи съ этой стихійной работой вѣковъ, его личныя усилія, его излюбленное дѣло представляются микроскопическими: лучше ему не смотрѣть въ даль и не сравнивать.

Другое дѣло умы созерцательныя,—тѣ, которые свойственны ученымъ-мыслителямъ и большимъ художникамъ. Ихъ не можетъ удовлетворить міръ конкретнаго, отъ факта они стремятся сейчасъ же перейти къ общей идеѣ, отъ индивидуума къ типу, отъ явленія къ закону. Фактическая дѣйствительность, которая вотъ сейчасъ существуетъ и подлежитъ пользованію, отрицанію, отстаиванію, реформированію, незамѣтно исчезаетъ изъ ихъ кругозора, уступая мѣсто иной „дѣйствительности“, —отвлеченной дѣйствительности общихъ идей и законовъ міра, которая не подлежитъ ни пользованію, ни воздѣйствію. Она подлежитъ только

¹⁾ А. Потебня. И. Изв. записокъ по русск. грамм., изд. 2-е, стр. 77.

созерцанію. Было бы ошибкою думать, что это созерцаніе непременно есть процессъ холодный, безрадостный, безпечальный. Напротивъ, съ нимъ сопряжены своеобразныя радости и скорби мыслителя, которыя только выигриваютъ отъ того, что онѣ—не личныя, не эгоистичны, что онѣ—міровыя. И безспорно: эти скорби и радости и ихъ взаимныя соотношенія будутъ весьма различны, смотря по тому, *какъ* созерцаетъ тотъ или другой умъ. Если онъ созерцаетъ природу и человѣчество, какъ нѣчто неподвижное, неизмѣнное въ своей основѣ, если вселенная и исторія для него—одна лишь безконечная тавтологія, то его міровая скорбь и міровая радость и ихъ взаимныя соотношенія будутъ не тѣ и не такія, какъ для ума, созерцающаго космосъ въ формѣ зрѣющаго вѣчнаго, непрерывнаго развитія, недопускающаго никакой тавтологіи. И мы, вѣроятно, не ошибемся, если скажемъ, что первый умъ будетъ склоненъ къ отвлеченному, интеллектуальному *пессимизму*, второй же будетъ скорѣе *оптимистиченъ*. Этимъ я вовсе не хочу сказать, что первый непременно долженъ смотрѣть на все сквозь темныя очки, а второй сквозь розовыя. Я говорю только о предрасположеніи, объ относительномъ сочетаніи радости и скорби мыслителя. Съ тѣмъ вмѣстѣ я предлагаю въ данномъ вопросѣ различать мыслителя и человѣка. Какъ человѣкъ, такой-то можетъ быть въ своей личной жизни или въ качествѣ гражданина даннаго государства или же современника извѣстной эпохи большимъ пессимистомъ и очень мрачно смотрѣть на вещи; но это нисколько не мѣшаетъ ему въ сферѣ отвлеченной мысли и въ большихъ созерцаніяхъ быть мыслителемъ скорѣе жизнерадостнымъ, чѣмъ скорбящимъ. Вотъ именно съ этими оговорками я и нахожу возможнымъ поддерживать свой тезисъ о предрасположенности къ философскому пессимизму тѣхъ умовъ, которымъ несродни или чужда идея развитія, и наоборотъ—о склонности къ философскому оптимизму тѣхъ, для которыхъ она служитъ привычной и удобной формой мышленія. И, если не ошибаюсь, этотъ тезисъ можно было бы подтвердить фактами изъ исторіи философіи и науки. Такъ напр. въ системѣ Шопенгауэра идеѣ развитія нѣтъ мѣста,—и это самая пессимистическая изъ всѣхъ

системъ. Напротивъ, гегельянизмъ, доктрина эволюціонная („три фазиса“), проникнуть духомъ бодрой жизнерадостности и оптимизма, и именно этой своей стороною онъ повліялъ такъ могущественно на развитіе историческихъ и экономическихъ ученій, одушевленныхъ животворной вѣрой въ идеалъ и возможность его осуществленія (напр. марксизмъ). Вспомнимъ далѣе жизнерадостный оптимизмъ эволюціониста и трансформиста Гете. Вспомнимъ тотъ „духъ живъ“, которымъ вѣетъ отъ всей современной науки; едва ли можно оспаривать связь этого „духа“ съ эволюціонной точкой зрѣнія, составляющей основу современнаго научнаго мышленія.

Обращаясь къ Тургеневу, мы скажемъ, что ему, какъ напр. и Ренану, идея развитія, конечно, не была недоступна или непонятна, но она не составляла необходимой пружины его мышленія. Въ этомъ отношеніи его большой умъ былъ такъ-же консервативенъ, какъ и блестящій и глубокій умъ Ренана—мыслителя, который, въ качествѣ историка, разумѣется, старался и умѣлъ держаться исторической точки зрѣнія, соблюдать перспективу, вникать въ условія мѣста и времени, а все-таки написалъ лишь прагматическую исторію первыхъ вѣковъ христіанства, и ни одного явленія эпохи (учрежденія, вѣрованія, этического начала и пр.) не изслѣдовалъ со стороны его развитія и относительнаго значенія въ эволюціонномъ порядкѣ. „Не такъ нужно писать эти вещи“, сказалъ однажды о „Vie de Jésus“ покойный А. А. Потебня, для котораго употребленіе грамматическихъ формъ въ старыхъ памятникахъ, отличное отъ ихъ роли въ современномъ языкѣ, было указаніемъ и мѣриломъ пройденнаго съ тѣхъ поръ пути въ развитіи способовъ и приемовъ мышленія. Съ точки зрѣнія настоящей науки, какую мы находимъ въ трудахъ напр. Потебни, историческій трудъ Ренана представляется блестящимъ романомъ, а не наукой.

Если-бы Тургеневъ былъ историкъ,—онъ написалъ бы великолѣпныя историческія сочиненія—въ родѣ ренановскихъ. Онъ былъ-бы историкъ-художникъ, не болѣе. Не случайно и другое совпаденіе—благополучно-незлобиваго, грустно-ироническаго пессимизма Ренана съ таковымъ же у Тургенева. И то, и другое

сходство являются результатом общности у них основных свойств ума, — консервативно-мыслящего (въ смыслѣ типа и формъ мысли).

Послѣ этихъ замѣчаній мы можемъ обратиться къ разбору отдѣльных мѣстъ въ „Довольно“ и прежде всего рассмотримъ знаменитую XV-ю главу.

III.

„Но искусство?... Красота?... Да, это сильные слова; они, пожалуй, сильнѣе другихъ, мною выше упомянутыхъ словъ (народность, право, свобода, человѣчество). Венера Милосская, пожалуй, несомнѣннѣе римскаго права или принциповъ 89-го года. Мнѣ могутъ возразить,... что и сама красота дѣло условное... Но не условность искусства меня смущаетъ; его бренность, опять-таки его бренность, его тлѣнъ и прахъ—вотъ что лишаетъ меня бодрости и вѣры. Искусство, въ данный мигъ, пожалуй сильнѣе самой природы, потому что въ ней нѣтъ ни симфоніи Бетховена, ни картины Рюисдаля, ни поэмы Гете, и одни лишь тупые педанты или недобросовѣстные болтуны могутъ еще толковать объ искусствѣ, какъ о подражаніи природѣ; но въ концѣ концовъ природа неотразима: ей спѣшить нечего и рано или поздно она возьметъ свое. Безсознательно и неуклонно покорная законамъ, она не знаетъ искусства, какъ не знаетъ свободы, какъ не знаетъ добра; отъ вѣка движущаяся, отъ вѣка преходящая, она не терпитъ ничего безсмертнаго, ничего неизмѣннаго... Человѣкъ—ея дитя; но человѣческое—искусственное—ей враждебно именно потому, что оно силится быть неизмѣннымъ и безсмертнымъ...“ (XV).

Остановимся пока на этомъ. Не только стилю и языку, но и самимъ мыслямъ, которыя тутъ выражены, нельзя отказать въ большомъ блескѣ, въ тонкой изящности. Онѣ по своему—также очень глубоки и сдѣлали бы честь настоящему философу. Если хотите, въ нихъ много правды (въ особенности—тамъ, гдѣ говорится объ искусствѣ въ его отношеніяхъ къ природѣ). При всемъ томъ, мыслитель прогрессивно-научнаго типа не подписался бы

подъ этими строками Тургенева. Въ нихъ все, даже сама правда, отмѣчено несомнѣнной консервативною пріемовъ мысли, — я готовъ сказать: архаичностью ея формъ. Начать съ того, что понятія *искусства, красоты, природы*, которыми орудуешь здѣсь Тургеневъ, могутъ быть разсматриваемы — какъ прямое наслѣдіе старой миѳологіи, переживанія миѳологическаго способа мышленія. Ибо они, очевидно, отливались въ умъ Тургенева въ форму какихъ-то объективныхъ, самобытныхъ началъ. Конечно, эти начала уже не мыслились миѳологически, какъ конкретныя существа, одаренныя жизнью, волею, желаніями, а понимались отвлеченно и фиктивно, но вѣдь все-таки эти отвлечения и фикции, какъ видно изъ всего отрывка, не выходятъ у Тургенева за предѣлы той категоріи мысли, которою впечатлѣнія отливаются въ форму *субстанцій*. А между тѣмъ для современной мысли — это не субстанціи, а *процессы*. Природа — это совокупность извѣстныхъ *силъ*, искусство — особый *процессъ мышленія*, красота — ощущеніе, чувство (т. е. опять-таки психическій *процессъ*). Иначе эти термины и нельзя понимать — подъ опасеніемъ впасть въ скрытую или явную миѳологию. Но — скажутъ — „Довольно“ не философскій трактатъ, а поэтическое произведеніе, а въ поэзіи позволительно прибѣгать къ разнымъ олицетвореніямъ, метафорамъ, даже прямо — миѳологическимъ образамъ. Положимъ. Но дѣло въ томъ, что въ данномъ случаѣ Тургеневъ прибѣгъ къ этимъ метафорамъ не въ качествѣ поэта, а въ качествѣ философа, — и все тѣ-же и такія-же *природу, искусство, красоту*, въ томъ-же смыслѣ и духѣ, какъ у Тургенева, мы найдемъ у заправскихъ философовъ, въ трактатахъ, ничего общаго съ поэзіей не имѣющихъ.

Приведенная выдержка изъ XV главы „Довольно“ принадлежитъ къ области — не поэзіи, а настоящей философіи, но только — той, которая вырастаетъ на почвѣ уже отживающихъ нормъ мысли и характеризуется стремленіемъ апперцепировать явленія, сущность которыхъ образуютъ силы, процессы, — категорію *субстанцій*. Попробуемъ же въ данномъ случаѣ отдѣлаться отъ этой категоріи и будемъ мыслить соотвѣтственныя явленія —

природу, искусство, красоту и проч.—какъ процессы, и такимъ образомъ сдѣлаемъ какъ бы переводъ разбираемаго отрывка съ языка одного типа мысли на языкъ другого. Мы увидимъ, что вмѣстѣ съ тѣмъ исчезнетъ тотъ духъ унылаго пессимизма, которымъ проникнуты созерцанія Тургенева.

Тургеневъ начинаетъ сопоставленіемъ *искусства и красоты* съ другими „сильными словами“, каковы *народность, право, свобода, человечество*, и находитъ, что въ нѣкоторомъ смыслѣ („пожалуй“) *искусство и красота* могутъ быть поставлены выше послѣднихъ. Попробуемъ однако схватить мыслью самыя явленія, прикрытыя этими терминами. *Искусство*, какъ мы знаемъ, есть извѣстный процессъ мышленія, именно, говоря кратко, возникновеніе въ умѣ конкретныхъ образовъ, надѣленныхъ обобщающей силою и служащихъ для апперцепированія различныхъ общечеловѣческихъ идей. *Красота*—чувство, въ данномъ случаѣ именно то, которое сопутствуетъ процессу художественному, потому что Тургеневъ, очевидно, говоритъ здѣсь не о красотѣ вообще, а специально о красотѣ въ искусствѣ. Эта послѣдняя принадлежитъ къ числу чувствъ *интеллектуальныхъ* и сродни напримѣръ ощущенію красоты въ философскихъ построеніяхъ и научныхъ открытіяхъ. И такъ, говоря „искусство“, „красота“, мы находимся въ сферѣ *умственныхъ процессовъ*, въ области *чистой мысли*, и специально—въ ея художественномъ отдѣлѣ (въ противоположность научному и философскому). Вотъ то явленіе, съ которымъ мы имѣемъ дѣло, и оно *процессъ*, а не *субстанція*. Тургеневъ находитъ, что этотъ процессъ „несомнѣнный“ другихъ, обозначаемыхъ словами *народность, право* и т. д., но скорбитъ о томъ, что даже онъ—при всей своей „несомнѣнности“—все-таки „тлѣнъ и прахъ“. Замѣтимъ мимоходомъ, что „тлѣнъ и прахъ“ процесса, да еще *умственного*,—само по себѣ есть явленіе прискорбное, и однако же фраза звучитъ не такъ „жалостно“, какъ „тлѣнъ и прахъ красоты, искусства“. Не оттого ли это, что разъ мы мыслимъ процессами, а не субстанціями, въ насъ сказывается скрытая увѣренность въ неприменимости сюда понятія „тлѣна и праха“: процессъ не живетъ, а развивается, не

умираетъ, а переходитъ на высшую ступень. Но объ этомъ — ниже, а теперь посмотримъ, въ какомъ смыслѣ процессъ художественный можетъ быть признанъ „несомнѣннѣ“ другихъ. Эти другіе суть слѣдующіе:

1) *Народность*. Это „сильное слово“ взято здѣсь, конечно, не въ смыслѣ этнографическаго термина, а какъ лозунгъ, знаменующій извѣстныя стремленія и движенія націоналистическаго и демократическаго характера, напримѣръ: въ Италіи въ эпоху борьбы за освобожденіе и объединеніе, у славянскихъ народовъ въ эпоху ихъ возрожденія и т. д. Явленіе, которое имѣется здѣсь въ виду, опять-таки принадлежитъ къ числу психическихъ процессовъ, — и очень сложныхъ, общественнаго (соціального) порядка, т. е. неограниченныхъ умственною сферою, а совмѣщающихъ въ себѣ разнообразныя чувства, страсти и волевые движенія.

2) *Право*. Тургеневъ, конечно, имѣлъ въ виду не положительное законодательство и вообще юридическія отношенія въ ихъ statu quo, а прогрессивныя теченія въ развитіи правовыхъ нормъ, успѣхи гуманности въ этой сферѣ междучеловѣческихъ отношеній, равенство передъ закономъ, идеаль въ правѣ. Это опять-таки особый порядокъ сложныхъ психическихъ процессовъ, захватывающихъ и мысль, и чувства, и нѣкоторыя страсти, и волю.

3) *Свобода*. Дѣло идетъ объ идеаль политической свободы. Но изъ подъ слова нужно извлечь самое явленіе, и если мы его извлечемъ, то, по образцу предыдущихъ, опредѣлимъ, какъ извѣстный психическій процессъ: вѣдь это желанія, стремленія, понятія, страсти, волевые акты.

4) То же самое мы скажемъ и о *человѣчествѣ*: это — общечеловѣческій идеаль, не только какъ головная идея, а какъ совокупность стремленій провести въ разныя сферы жизни начала гуманности, — стало быть аналогичныя предыдущимъ мысли, чувства, страсти, волевые акты.

Всѣ эти процессы, въ противоположность художественному („искусство“, „красота“), выходятъ далеко за предѣлы умственной сферы и на $\frac{3}{4}$ принадлежатъ тому, что можно назвать *психической жизнью*, т. е. дѣятельности чувствъ, страстей и воли. Про-

цессъ художественный, какъ и научно-философскій, наоборотъ, есть процессъ почти исключительно интеллектуальный; само чувство красоты, ему сопутствующее, есть чувство умственное, воля же играетъ въ немъ роль совершенно-подчиненную. Иначе это можно выразить такъ: процессъ художественный (вмѣстѣ съ научно-философскимъ) принадлежитъ къ отвлеченной половинѣ психи,—всѣ прочіе, вышепоименованные, относятся къ ея конкретной половинѣ. Теперь допустимъ, вслѣдъ за Тургеневымъ, что есть какая-то надобность спрашивать: что „несомнѣннѣе“, — процессъ-ли художественныхъ отвлеченій, или — конкретный міръ чувствъ, страстей, волевыхъ актовъ? Допустивъ это и сопоставивъ ихъ съ точки зрѣнія „несомнѣнности“, какъ выражается Тургеневъ, мы готовы будемъ согласиться, что „Венера Милосская несомнѣннѣе римскаго права и принциповъ 89-го года“: римское право уже сыграло свою историческую роль (соотвѣтственные психическіе процессы уже завершились, и эволюція права идетъ дальше), а тѣ процессы, которые подразумѣваются подъ техническимъ терминомъ „89-й годъ“, частью оказались недостаточными, частью несостоятельными, и соотвѣтственное движеніе должно идти дальше, — между тѣмъ какъ художественный актъ, давшій бытіе статуѣ Венеры Милосской, дѣйствуетъ и сейчасъ и долго еще, можетъ быть, всегда будетъ дѣйствовать, т. е. развертываться въ душѣ всякаго могущаго понимать художественный идеалъ этого произведенія и испытывать, воспринимая его, то, что неправильно называется „эстетическимъ наслажденіемъ“. Вотъ и все. Но что-же изъ этого слѣдуетъ?

А вотъ что. Пифагорова теорема, которая еще древнѣе статуи Венеры Милосской, должна быть признана „несомнѣннѣе“ не только римскаго права и принциповъ 89-го года, но, можетъ быть, — и самой Венеры Милосской. Римское право проходить, — Пифагорова теорема остается; принципы 89-го года пройдутъ и замѣнятся другими, высшими (уже теперь замѣняются), а Пифагорова теорема все будетъ существовать. Захирѣютъ однѣ народности, возродятся другія, осуществится, наконецъ, идеалъ международнаго права и т. д., послѣ чего движеніе поидетъ еще

дальше въ направленіи идеаловъ человѣчности, — а Пифагорова теорема все будетъ существовать.

Извѣстныя явленія отвлеченной мысли (какъ напр., Пифагорова теорема, Венера Милосская ¹⁾) именно *существуютъ*, торжествуя надъ условіями мѣста и времени. Явленія конкретной сферы духа, — психической жизни — всегда ограничены мѣстомъ и временемъ и отмѣчены характеромъ условности и относительности. — Если данный процессъ отвлеченной мысли (научной, философской, художественной) принадлежалъ гениальной головѣ, то онъ будетъ *существовать* долго, вѣка, можетъ быть, всегда. Такъ до сихъ поръ существуютъ Пифагорова теорема, Архимедовъ законъ, нѣкоторыя истинно-художественныя страницы Гомера, драмы Софокла и проч.

Вотъ именно къ этой-то особенности (большей или меньшей долговѣчности, иногда — вѣчности) процессовъ или продуктовъ отвлеченной мысли я и свожу то, что Тургеневъ называетъ „несомнѣнностью“.

Міръ отвлеченій (философскихъ идей, законовъ природы — въ наукѣ, общихъ идей и обобщающихъ образовъ въ искусствѣ) — это особаго рода „дѣйствительность“, существующая только въ разумѣ человѣческомъ, и сравнивая ее съ, такъ называемою, реальною дѣйствительностью, съ міромъ конкретного въ природѣ и психіи, мы скажемъ такъ:

Міръ отвлеченій — это именно то, по выраженію Тургенева, „человѣческое, искусственное, которое силится быть неизмѣннымъ и вѣчнымъ“ и — добавимъ мы — нерѣдко таковымъ и является.

Міръ конкретного въ природѣ и въ психіи — это постоянное чередованіе фактовъ, это смѣна мгновеній, это — (становясь на точку зрѣнія и впадая въ тонъ тургеневскихъ созерцаній) — именно та страшная, всепожирающая „Природа“, о которой нашъ художникъ говоритъ: „..... все, что существуетъ въ ея лонѣ, воз-

¹⁾ Напомню еще разъ, что художественные образы, при всей своей конкретности, всегда являются обобщающими и служатъ для апперцепціи общихъ идей, — иначе они не художественны. Они суть поэтому продукты отвлеченной мысли, — только орудующей образами.

нигло только на счетъ другого и должно въ свое время уступить мѣсто другому—она создаетъ, разрушая, и ей все равно: лишь-бы не переводилась жизнь, лишь-бы смерть не теряла правъ своихъ“.

Факты, существа, индивидуумы, чувства, страсти, волевые акты и та комбинація душевныхъ элементовъ, которая называется „личностью“, „я“,—все это конкретно и проходитъ, живетъ и умираетъ, все это есть именно—„отъ вѣка движущееся, отъ вѣка преходящее“. Но оба міра не стоятъ и не топчатыся на одномъ мѣстѣ, а движутся—подчиняясь закону развитія. Конкретное вѣками и тысячелѣтіями мѣняетъ свои формы, свою организацію, самый „образъ“ жизни и смерти,—самый характеръ своей эфемерности.

Отвлеченное не только развивается въ направленіи большей содержательности и изощренности мысли, но радикально измѣняетъ характеръ или духъ своей дѣятельности,—переходитъ на другой путь или вступаетъ въ другой фазисъ: говоря грамматически, оно идетъ отъ имени къ глаголу ¹⁾. Многія впечатлѣнія, которыя прежде апперцепировались формою *субстанцій*, теперь уже отливаются въ форму *силы, дѣйствія, процесса*. Въ сферѣ, гдѣ мысль достигла высшей, пока доступной, стадіи развитія, именно въ области физико-математическаго мышленія, умственная категория *субстанцій* уже замѣнилась категоріей дѣйствія: понятіе *матеріи* разложилось на понятіе *силы*,—отъ матеріи остались только гипотетическіе атомы или точки приложенія силы. Какой огромный шагъ сдѣланъ умомъ человѣческимъ отъ той поры, когда древніе мыслители Эллады впервые пытались овладѣть понятіями стихій, матеріи, духа, силы и не умѣли мыслить ихъ

¹⁾ Глубокія наблюденія надъ строемъ *предложенія* въ разныя эпохи языка и надъ синтаксической эволюціей частей рѣчи привели *Потебню* къ неизгладимому открытію, сущность котораго формулируется такъ: 1) *предложеніе*, т. е. процессъ мышленія, не остается неподвижнымъ, но измѣняется вѣками; 2) оно измѣняется въ направленіи отъ *именной* конструкторіи къ *глагольной*, т. е. *человѣчеству* отъ мышленія *субстанціями* переходитъ къ мышленію категоріей *дѣйствія, силы*; 3) въ этомъ процессѣ осуществляется „устраненіе, въ языкѣ и мыслі, субстанцій, ставшихъ мнимыми“.

иначе, какъ въ формѣ гилезонистической, столь близкой къ миѳу! И это только начало пути: разумъ человѣческій—можно сказать—только-что вступаетъ во второй фазисъ своего развитія, и ему предстоятъ еще тысячелѣтія дальнѣйшей эволюціи, о которой мы и понятія себѣ составить не можемъ. Съ этой точки зрѣнія, человечество еще очень юно: чтó значитъ нѣсколько тысячелѣтій исторической жизни и цивилизаціи? Этотъ срокъ такъ малъ, что даже передовыя націи до сихъ поръ еще не успѣли выйти—въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ или сторонахъ жизни—изъ состоянія варварства и архаичности. До сихъ поръ еще неизбѣжны войны между народами, борьба между классами.

Если созерцающій умъ станетъ на эту, вполне законную, вполне возможную точку зрѣнія, т. е. будетъ понимать природу, психію, красоту, право и т. д. какъ процессы, а не субстанціи, хотя бы и фиктивные, и будетъ мыслить ихъ въ развитіи, а не какъ нѣчто неподвижное, — то его созерцанія будутъ уже иныя, и самъ онъ окажется во власти другого рода интеллектуальныхъ чувствъ, — совсѣмъ другого настроенія. Передъ нимъ откроется грандіозное зрѣлище движенія, уносящее мысль въ далекое невѣдомое будущее, которое не можетъ быть повтореніемъ настоящаго или прошлаго, а картина прошлаго, въ свою очередь, развернется во всемъ своеобразіи своихъ отжившихъ формъ, исполненная глубокаго интереса. Только при такомъ укладѣ мысли и возможны плодотворныя историческія изученія: иначе, —если человечество только и дѣлаетъ, что повторяется, оставаясь въ своемъ существѣ неизмѣннымъ, какой смыслъ изучать прошлое, возстановлять формы жизни прошедшихъ вѣковъ, интересоваться душевнымъ складомъ людей далекой древности? Всѣ эти изученія и изслѣдованія были бы совершенно празднымъ времяпрепровожденіемъ, предметомъ скучающаго любопытства, — и въ наше занятое, торопливое, тревожное время немыслимо было бы возникновеніе и необычайный ростъ науки исторіи, исторической и доисторической археологіи, древностей права и религіи, науки сравнительнаго языкознанія и міѳологіи, успѣхи которыхъ, наряду съ естествознаніемъ, составляютъ характерную особенность умственной жизни

XIX-го вѣка. Въ наше время даже умы, непривыкшіе философски мыслить, умы фактическаго знанія, неумѣющие и не желающие отходить на извѣстное разстояніе отъ факта, — и тѣ какъ бы инстинктивно чувствуютъ, что напр. иная страница древняго текста, или орудіе каменнаго вѣка, или какое-нибудь старинное вѣрованіе исполнены глубокаго интереса именно потому, что они — выходцы изъ другого міра, документы иного человѣчества, погребеннаго въ глубокихъ пластахъ эволюціи, изученіе котораго въ высокой степени важно для правильной постановки великой проблемы о томъ, что такое человѣчество, откуда оно пришло, куда и какъ идетъ.

Безъ того уклада мысли и созерцаній, о которомъ я говорю, невозможна была бы также, вмѣстѣ съ перспективою прошлаго, и перспектива будущаго, — построеніе идеала, стремленіе къ нему. И въ самомъ дѣлѣ: если исторія есть тавтологія, если человѣчеству сууждено мѣнять только внѣшность, оставаясь въ существѣ неизмѣннымъ, то — какой смыслъ интересоваться будущимъ, которое будетъ только повтореніемъ настоящаго, — какой смыслъ — лелѣять эфемерный, не имѣющій почвы идеаль? Другое дѣло, — если ничто не повторяется, если неуклонно и непрерывно происходятъ измѣненія, долго нечувствительныя, но въ концѣ концовъ, силою накопленія, приводяція къ радикальной метаморфозѣ вещей, умовъ, натуръ: при такомъ возрѣніи открывается возможность прослѣдить путь измѣненій и на основаніи намѣченныхъ слѣдовъ уловить общій духъ будущаго, — намѣтить идеаль для настоящаго.

Не трудно видѣть, что настроеніе мыслителя, съ этой точки зрѣнія созерцающаго природу и человѣчество, не можетъ быть такимъ безотраднымъ, меланхолическимъ, пессимистическимъ, какое мы находимъ у мыслителей, видящихъ одну лишь тавтологію. Послѣдніе, какъ Тургеневъ въ „Довольно“, скучающимъ взоромъ обозрѣваютъ вселенную, представляющуюся имъ въ видѣ неподвижной, однообразной и грозной стихіи, передъ которою такъ ничтожна личность человѣческая и такъ беспильны творческія стремленія генія, такъ неосновательны его притязанія на безсмертіе, на увѣковѣченіе его вдохновеній, его труда. Такой мыслитель

охотно повторить глубоко-прочувствованные слова Тургенева: „гдѣ же намъ, бѣднымъ людямъ, сладить съ этой глухо-нѣмой, слѣпо-рожденной силой, которая даже не торжествуетъ своихъ побѣдъ, а идетъ, идетъ впередъ, все пожирая, какъ устоять противъ этихъ тяжелыхъ, грубыхъ, безконечно и безустанно надвигающихся волнъ?..“ (XV).

Но подобныя чувства не придутъ смущать философскую ясность духа мыслителя, для котораго все ново, ничто не повторяется, который бодрымъ взоромъ, съ все-возрастающимъ интересомъ созерцаетъ вселенную. Природа не явится ему въ видѣ какого-то всепожирающаго Молоха, и между нею и личностью человѣческой онъ не усмотритъ того антагонизма, о которомъ говоритъ Тургеневъ. Передъ нимъ вселенная разстилается не какъ бездушная, пугающая стихія, а какъ процессъ дѣйствія великихъ силъ, созидающихъ все новыя формы существованія,— процессъ, въ каждомъ моментѣ котораго незримо и таинственно *novus nascitur ordo*. И сама личность съ ея самосознаніемъ есть только одна изъ этихъ формъ,—это *novus ordo*, новый порядокъ явленій, который, въ свой чередъ, возникъ и развивается въ вѣкахъ,—какъ особая метаморфоза силы. И какъ можно говорить о ничтожествѣ, о безсиліи личности, когда она является носительницею начала, котораго до нея въ природѣ не было — начала *отвлеченія*. Въ ряду міровыхъ процессовъ, отвлеченная творческая мысль представляется однимъ изъ самыхъ таинственныхъ и грандіозныхъ проявленій силы...

IV.

И нѣтъ сомнѣнія, среди этихъ созерцаній не будетъ мѣста тѣмъ страхамъ и скорбямъ, которыми такъ замѣтно окрашено безотрадное міровоззрѣніе Тургенева.

Эта окраска тѣсно связана съ консервативностью мысли нашего художника.

Консервативность мысли опредѣляется, какъ мы знаемъ, стремленіемъ — по прежнему — отливать впечатлѣнія въ форму субстан-

ціи. Отправной точкою міровоззрѣнія, скрытымъ источникомъ, откуда исходятъ волны идей, служитъ упорное сознаніе своего я, какъ *субстанции* или даже какъ *существа*, — и оно, это я, тяготѣетъ надъ мыслью всѣмъ гнетомъ своей бренности, мимолетности, всѣми скорбями своего существованія, всѣми ужасами смерти, которой оно подлежитъ. Это — укладъ мысли и настроеніе духа діаметрально-противоположные тому, которое мы только-что старались воспроизвести и для котораго и *личность* — не субстанція, а одинъ изъ сложнѣйшихъ процессовъ и комбинацій силъ, — точка зрѣнія, таящая въ себѣ возможность иной постановки вопроса о смерти, — возможность устраненія ея страха.

Отъ личности та-же — субстанціальная — форма аперцепціи переносится и на другія впечатлѣнія и ихъ комплексы, и вмѣстѣ съ нею переходятъ къ нимъ и всѣ скорби и страхи личности. Такъ, ощущенія красоты, полученные отъ разнообразныхъ воздействій, природныхъ и искусственныхъ, обобщаются въ субстанцію или начало красоты, которому приписывается объективное бытіе съ тою наивною, съ какою мы въ нашемъ повседневномъ, практическомъ мышленіи приписываемъ бѣлый цвѣтъ камню, голубой — небу и т. д. Такъ понятая, — красота представляется началомъ, которое — при всѣхъ своихъ правахъ на вѣчность — отличается особой бренностью и мгновенностью ¹⁾. Оттуда — тотъ меланхолическій тонъ, въ которомъ развиваются эти мысли, и здѣсь-то грозный призракъ смерти выступаетъ въ воображеніи поэта-мыслителя съ особой яркостью. А между тѣмъ, если перевести понятіе о красотѣ въ другую полосу мысли и взглянуть на нее, какъ на субъективный процессъ, а не объективное начало, то выйдетъ какъ-разъ наоборотъ: окажется, что „красота“ принадлежитъ къ числу наиболѣе „живучихъ“ явленій, что ей предстоитъ великое будущее, что она развивается, а не идетъ на убыль. Это въ особенности ясно по отношенію къ красотѣ въ природѣ: умѣніе находить природу прекрасною, любоваться ею, наслаждаться зрѣлищемъ горъ, моря, неба и т. д., безъ всякой

¹⁾ «... Одно преходящее прекрасно... Красотѣ не нужно безконечно жить, чтобы быть вѣчною — ей довольно одного мгновенья»... (гл. XVI).

утилитарной мысли, это — психическое явление сравнительно новое. Древние или совсѣмъ его не знали, или знали лишь въ очень слабой степени. Недаромъ описанія картинъ природы почти неизвѣстны въ древнихъ памятникахъ, и пейзажъ несвойственъ древнему искусству. Чѣмъ дальше въ глубь древности, тѣмъ болѣе чувство красоты является условнымъ и въ то же время связаннымъ съ утилитарной точкой зрѣнія. Отъ узъ условности и утилитарности далеко не было свободно и чувство красоты человеческого тѣла, столь развитое у древнихъ грековъ. Прогрессъ въ сферѣ чувства красоты именно и сводится къ освобожденію отъ этихъ узъ, — и въ будущемъ можно прозрѣвать необычайное развитіе этого душевнаго явления въ направленіи совершенной свободы отъ всѣхъ условій, отъ всѣхъ — скрытыхъ или явныхъ — соображеній пользы, удобства, выгоды и т. д. Въ сферѣ природы и искусства это уже достигнуто, — очередь теперь за другими сферами, — придетъ время, когда грандіозное чувство красоты будетъ связано съ научными и философскими созерцаніями, пока доступными лишь немногимъ.

Для мыслителя того типа, къ которому принадлежит Тургеневъ, само искусство, да и другія сферы творчества, рисуются не столько со стороны творческой работы генія, сколько со стороны ея продуктовъ. Мысль, привыкшая орудовать формами субстанции, существа, вещи, прежде всего устремляется къ продукту, произведенію, оставляя въ сторонѣ самый процессъ, давшій ему бытіе. А такъ какъ продукты легко подвергаются разрушительному дѣйствию силъ природы, а также нерѣдко гибнуть отъ рукъ человеческихъ, то отсюда получается выводъ о „тлѣннѣ и прахѣ“ произведеній искусства ¹⁾. Для мыслителя иного типа такой вы-

¹⁾ „Но не условность искусства меня смущаетъ; его бренность, опять-таки его бренность, его тлѣннѣ и прахъ — вотъ что лишаетъ меня бодрости и вѣры... Она (природа) также спокойно покрываетъ плесенью божественный ликъ фидіасовскаго Юпитера, какъ и простой голышъ, и отдаетъ на съѣденіе презрѣнной моли драгоценнѣйшія строки Софокла. Люди, правда, ревностно помогаютъ ей въ ея истребительной работѣ; но развѣ не та-же стихійная сила, не сила природы сказалась въ палицѣ варвара, безмысленно дробившаго лучезарное чело Аполлона...“ и т. д. (гл. XV).

водъ невозможенъ. Разъ имъ усвоена привычка мыслить процессами, а не субстанціями, для него въ искусствѣ (да и въ другихъ сферахъ умственной дѣятельности) на первый планъ выступаетъ не само произведеніе, а процессъ творчества. Его смутитъ не гибель того или другого произведенія, а болѣе или менѣе продолжительное прекращеніе традиціи творчества, преемственности мысли (какъ это случилось съ греко-римскою культурою въ эпоху средневѣковаго варварства), а еще болѣе—совершенное изсякновение или оскудѣніе мысли у народовъ вырождающихся. Это, конечно, явленіе въ высшей степени прискорбное, но для эволюциониста оно, какъ и другія, ему подобныя, не можетъ служить основаніемъ для пессимистическихъ взглядовъ въ родѣ тѣхъ, какіе развиваетъ Тургеневъ. Онъ отлично знаетъ, что эволюція вообще и прогрессъ въ частности—это тяжелая работа вѣковъ, сопряженная со всякими бѣдствіями, страданіями, борьбою, гибелью, и что въ этомъ трудномъ процессѣ все сложное, высшее, лучшее легче и скорѣе портится и гибнетъ, чѣмъ явленія сравнительно простыя, несложныя, первичныя. Съ этимъ нужно помириться,—тѣмъ болѣе, что относительная брѣнность творческихъ процессовъ мысли сторичею искупается ихъ силою, интенсивностью, содержательностью и удивительною способностью дѣйствовать на разстояніи вѣковъ. Есть-ли въ самомъ дѣлѣ возможность говорить о „тлѣніи и прахѣ“ тѣхъ творческихъ процессовъ, которые нѣкогда развертывались въ геніальныхъ головахъ Эсхила, Софокла, Демокрита, Аристотеля, Эпикура и т. д., когда по прошествіи длиннаго ряда вѣковъ, въ наше столь богатое умственнымъ творчествомъ время, эти процессы все еще оказываются въ томъ или другомъ смыслѣ живыми и дѣйствующими. Художественная сила, нѣкогда работавшая въ головѣ Эсхила или Софокла, дѣйствуетъ и сейчасъ, не упраздненная даже Шекспировскимъ творчествомъ. Философская работа античныхъ мыслителей, конечно, устарѣла въ своихъ приѣмахъ и результатахъ, но все-таки она сохраняетъ не одинъ только историческій интересъ; она еще способна дѣйствовать на нашу мысль возбуждающимъ и вдохновляющимъ образомъ. Такова сила и таково значеніе генія: въ нѣкоторомъ смыслѣ онъ

торжествуетъ надъ самой эволюціей, являясь не столько ея продуктомъ, сколько одною изъ движущихъ силъ ея.

При умонастроеніи, соответствующемъ этой точкѣ зрѣнія, становятся психологически-невозможными напиримѣрь слѣдующія слова Тургенева: „.... ему (человѣку) одному дано *творить*.... но *странно* и *страшно* вымолвить: мы творцы на часъ, какъ былъ, говорятъ, калифъ на часъ. Въ этомъ наше преимущество и — наше проклятіе: каждый изъ этихъ творцовъ самъ по себѣ, именно онъ, никто другой, именно это я, словно созданъ съ преднамѣреніемъ, съ предназначеніемъ; каждый болѣе или менѣе смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что онъ сродни чему-то высшему, вѣчному — и живетъ, долженъ жить въ мгновеніи и для мгновенья....“ (гл. XVI).

Въ этихъ словахъ даетъ себя чувствовать дѣйствіе двухъ душевныхъ пружинъ: во-первыхъ, мысли о бренности и мгновенности человѣческаго творчества, которая, какъ мы только что видѣли, оказывается далеко не вѣрною и во всякомъ случаѣ не столь безотрадною, и во-вторыхъ, — *страха смерти*, именно смерти индивидуальной, личной.

Этотъ послѣдній мотивъ представляетъ для насъ большой интересъ — въ виду той роли, какую онъ играетъ въ системѣ идей, нами разсматриваемыхъ, — того значенія, какое ему принадлежитъ въ качествѣ характернаго элемента, придающаго своеобразную окраску цѣлому міросозерцанію.

У.

Присущая всему живому — по крайней мѣрѣ животному — привязанность къ жизни и инстинктивный страхъ смерти подвергаются въ мірѣ человѣческомъ коренному измѣненію и осложненію. Измѣняющимъ и осложняющимъ началомъ являются, во-1-хъ, возникновеніе и развитіе личности и, во-2-хъ, весь аппаратъ понятій, относящихся къ жизни и смерти.

Развитіе личности, повидимому, влечетъ за собою усиленіе страха смерти. Въ животномъ царствѣ, гдѣ личности нѣтъ, а есть

только особи, едва-ли существуетъ это чувство въ томъ видѣ или смыслѣ, въ какомъ оно свойственно человѣку. Животное молчаливо признаетъ власть смерти надъ собою, покорно подчиняется этому роковому закону и умираетъ безропотно — точно отправляя послѣднюю функцію жизни, состоящую въ забастованіи ея процессовъ. Человѣчество уже въ глубочайшей древности протестовало противъ смерти, и всѣ религіи были яркимъ выраженіемъ этого протеста. Сущность послѣдняго, при всемъ разнообразіи религіозныхъ и міеологическихъ представленій у разныхъ народовъ и въ разные періоды, оставалась одна и та-же и сводилась къ тому, что съ наивною, свойственной архаическому мышленію, смерть просто-на-просто отрицалась. Человѣкъ не могъ и не хотѣлъ допустить абсолютнаго небытія, полного уничтоженія своей личности, и былъ убѣжденъ въ продолженіи жизни за гробомъ. Такимъ образомъ, смерти совсѣмъ не было, а была только жизнь, дѣлившаяся на двѣ неровныя части: до гроба и за гробомъ. Такой взглядъ въ значительной степени парализовалъ животный страхъ смерти, во всякомъ случаѣ это былъ уже страхъ не смерти, а — новой жизни, да и тотъ подвергался большимъ колебаніямъ и измѣненіямъ, смотря по тому, въ какомъ видѣ рисовалась загробная жизнь. Въ большинствѣ случаевъ боялись не самаго факта, — перехода отъ одной жизни къ другой, а — возможности попасть за гробомъ въ плохія условія существованія.

Чтобы уяснить себѣ этотъ сортъ „страха смерти“, нужно вспомнить, что въ томъ фазисѣ развитія, который мы имѣемъ въ виду, не было того, что обозначается терминомъ „индивидуализмъ“: личность была тѣсно связана съ группою (родомъ, общиною, государствомъ, племенемъ), и существованіе внѣ этихъ связей съ цѣлымъ казалось, если не психологической невозможностью, то по крайней мѣрѣ величайшимъ бѣдствіемъ. Личность не была самостоятельнымъ цѣлымъ: она была частью, органомъ другого, коллективнаго, цѣлаго. Поэтому и жизнь за гробомъ представлялась благополучною и счастливою только при томъ условіи, если связь съ цѣлымъ будетъ сохранена нерушимою. Это достигалось культомъ душъ умершихъ. И, умирая, человѣкъ боялся не

уничтоженія, котораго не признавалъ, и даже не перехода въ новую форму существованія, а только того, какъ-бы группа, часть которой онъ составлялъ при жизни, не перестала совершать необходимый культъ его душѣ.

Мысли и чувства, съ которыми человѣкъ умиралъ, были въ сравненіи съ нашими—совсѣмъ другого порядка. Для наглядности и приблизительно можно было-бы сравнить ихъ съ тѣми, которыя овладѣваютъ душой современнаго человѣка, когда онъ, въ силу необходимости, переселяется, напримѣръ, изъ Европы въ Америку, сохраняя связи съ семьей и получая отъ нея средства существованія.

Но переселеніе на тотъ свѣтъ, конечно, не обходилось безъ тѣхъ особыхъ сопутствующихъ чувствъ, которыя вызывались представленіемъ оконченнаго или гніющаго трупа и вообще всей обстановки смерти. Эти чувства однако-же находились въ прямой зависимости не отъ самихъ объектовъ, ихъ внушающихъ, а отъ формы ихъ апперцепціи, отъ способа ихъ изображенія въ мысли. Страшный образъ всегда страшнѣе факта. Боязнь, внушаемая фактомъ, усугубляется, если этотъ фактъ апперцепируется образомъ, который самъ по себѣ страшенъ, и наоборотъ, онъ теряетъ добрую долю своего пугающаго значенія, если ему сопутствуютъ образы, неспособные пугать.

Теперь спрашивается: почему собственно образъ былъ страшнѣе, — какое свойство дѣлало его пугающимъ воображеніе?

Было-бы ошибочно думать, что чувство страха находилось въ прямой зависимости отъ того, что такой-то образъ (напр. смерти) былъ снабженъ извѣстными „страшными“ атрибутами. Скорѣе наоборотъ: страшные атрибуты сами явились результатомъ того чувства, которое внушалось даннымъ образомъ, — какъ извѣстною формою мысли. Человѣкъ долженъ былъ сначала испугаться, а потомъ уже выразить свой испугъ — помощью „страшныхъ“ признаковъ, которыми онъ и снабдилъ данный образъ. Испугался же онъ потому собственно, что способъ пониманія даннаго явленія былъ у него такой, который совершенно резонно и послѣдовательно приводилъ къ психологической необходимости бояться. Дѣло въ

томъ, что явленіе,—все равно какое: хорошее или дурное, полезное или вредное, пріятное или отвратительное,—апперцепировалось въ формѣ живого миѳическаго существа, одареннаго *волею* и *сверхчеловѣческой силою*. Такъ понимались смерть, болѣзни, любовь, гнѣвъ, голодъ, буря, свѣтъ, огонь и все, что угодно. Само по себѣ явленіе могло быть хорошее, пріятное, полезное, но разъ оно понималось, какъ живое существо, одаренное волею и могучею силою, то его нужно было бояться, его приходилось ублажать, умиловать: иначе оно могло разсердиться и причинить человѣку вредъ. Въ этомъ смыслѣ всѣ образы были пугающими, грозными, и напр. любовь, счастье, радость были столь-же опасны и страшны, какъ и смерть, болѣзнь, гнѣвъ и пр. Человѣкъ прежде всего и больше всего боялся *чужой воли и силы*, — и устрашающіе атрибуты явились уже какъ результатъ этой боязни.

Поскольку древніе мыслили миѳологически, постольку они вѣчно были во власти разныхъ опасеній и страховъ. Оттуда—въ древнихъ религіяхъ огромное значеніе *культа*, какъ средства ублажить „явленіе“ и тѣмъ избавиться отъ грозящей съ его стороны опасности и освободиться отъ страха.

Изъ всего вышесказаннаго не трудно сдѣлать выводъ, что чувство страха должно было идти на убыль вмѣстѣ съ постепеннымъ устраненіемъ въ мысли образовъ чисто-миѳологическихъ, т. е. по мѣрѣ того, какъ исчезало въ этихъ образахъ представленіе волевого начала и сверхчеловѣческой сознательной силы. Иначе говоря: страхъ уменьшался или совсѣмъ исчезалъ—когда въ сознаніи на мѣсто миѳологическаго дѣятеля вступала его замѣна и метаморфоза—безжизненная субстанція, конкретная или отвлеченная. Но нѣкоторая тѣнь прежнихъ страховъ все еще сохраняется, именно потому, что „субстанція“ (грамматически—имя существительное) есть непосредственная преемница „миѳологическаго дѣятеля“ и таитъ въ себѣ—замаскированные, стертыя, поблекшія—черты послѣдняго.

Итакъ, *смерть* была нѣкогда страшна потому собственно, что это было миѳическое существо, одаренное своею волею и громадною, сверхчеловѣческою силою. Съ теченіемъ времени такая

концепція отжила свой вѣкъ и перешла въ форму субстанціи, мыслившейся сперва, какъ родъ конкретного существа, только безъ воли и сознанія, а потомъ въ видѣ отвлеченнаго понятія. По мѣрѣ этихъ превращеній, страхъ идетъ на убыль — и, наконецъ, совершенно исчезаетъ, когда явленіе смерти перестаетъ отливаться въ форму какой-бы то ни было субстанціи и переносится въ другую сферу мышленія — „глаголомъ“, становится понятіемъ извѣстнаго процесса. До сихъ поръ чувствуется, что выраженіе „смерть пришла къ нему“ звучитъ страшнѣе, чѣмъ выраженіе „онъ умираетъ“.

„Смерть пришла“ — это формула, въ которой дремлетъ старый міръ. Его можно — въ нѣкоторомъ смыслѣ — пробудить, и вмѣстѣ съ нимъ проснутся, опять-таки въ извѣстной мѣрѣ, давно забытые страхи.

Художественный опытъ такого пробужденія міра смерти и ея страха сдѣланъ Тургеневымъ въ „Призракахъ“.

„Онъ умираетъ“ — это формула, въ которой уже нѣтъ и слѣдовъ міра. Превращенная въ художественную картину, она не пробудитъ прежнихъ страховъ, нѣкогда ассоціированныхъ съ міромъ. Во всемірной литературѣ смерть Базарова есть одно изъ гениальнѣйшихъ произведеній смерти, — и оно не вызываетъ никакого ужаса, ибо оно есть художественное развитіе формулы „онъ умираетъ“.

Разсмотримъ же и сравнимъ эти двѣ картины или формы художественной апперцепціи смерти, „Призраки“ и „Смерть Базарова“.

Но сперва сдѣлаемъ слѣдующій выводъ изъ вышеизложенныхъ соображеній:

Въ старину, когда личность была поглощена цѣлымъ (родомъ, общиной, государствомъ, религіознымъ союзомъ), когда не было того ея развитія, которое называется „индивидуализмомъ“, а умы вращались въ предѣлахъ и формахъ міологическаго мышленія, — тогда „страхъ смерти“ не былъ еще страхомъ уничтоженія, а былъ только боязнью переменъ образа жизни, — переселенія, опасеніемъ потерять связь съ цѣлымъ, — и въ этомъ смыслѣ можно сказать, что древніе меньше боялись смерти, чѣмъ мы.

Съ ростомъ индивидуализма, съ развитіемъ и осложненіемъ личной жизни и переменною взглядовъ на загробную участь — растетъ страхъ смерти, превращаясь въ настоящій ужасъ передъ пропастью небытія, передъ перспективою уничтоженія личности. Но параллельно этому развитію чувства, внушаемаго явленіемъ смерти, идетъ противоположное движеніе: съ переходомъ мысли отъ міаа къ высшимъ нормамъ исчезаетъ страхъ передъ смертью, какъ существомъ, одареннымъ волею и сверхчеловѣческой мощью, — и съ этой стороны страхъ смерти идетъ на убыль.

VI.

„Призраки“ — это чрезвычайно-любопытная, въ психологическомъ отношеніи, попытка дать художественное выраженіе тому страху или даже ужасу смерти, который характеристиченъ именно для современнаго чловѣка.

Современный чловѣкъ боится смерти именно потому, что для него смерть это — безусловное прекращеніе земной жизни. При этомъ разниа не велика, раздѣляетъ-ли онъ христіанскій догматъ безсмертія души или нѣтъ, ибо этотъ догматъ не допускаетъ возможности построить загробное бытѣ души по образцу земной жизни, и вѣрующій христіанинъ, когда онъ обуреваемъ страхомъ разстаться съ жизнью, готовъ повторить слова эпикурейца Люція въ „Трехъ смертяхъ“ Майкова:

До тайнъ грядущихъ нѣтъ намъ дѣла:

Окончу-ль здѣсь свой бранный вѣкъ,

Иль будетъ жить душа безъ тѣла, —

Все буду я — не чловѣкъ...

Когда чувство привязанности къ жизни, такъ сказать, настораживается, когда чловѣкомъ овладѣваетъ тоска и жалость къ самому себѣ въ виду возможности вдругъ перестать быть чловѣкомъ, разстаться съ обычнымъ теченіемъ жизни, ея тепломъ и свѣтомъ, ея добромъ и зломъ, заботами, привязанностями, печалами, радостями, дѣлами и пустяками, — тогда возникаетъ то мучительное содраганіе, тотъ холодный ужасъ, который одинаково можетъ быть названъ и страхомъ уничтоженія, и страхомъ безсмертія.

Однимъ изъ паллиативныхъ средствъ избавиться отъ этого страха служить возвращеніе къ миѳу, къ матеріалистическому взгляду на „душу“, какъ на матеріальное существо, какъ на *тѣло*, только — изъ очень тонкаго, невидимаго, воздухообразнаго вещества, тѣло, которое и послѣ смерти продолжаетъ жить, витая гдѣ-то въ космическомъ пространствѣ. Современный *спиритизмъ* есть не что иное, какъ именно возвращеніе къ миѳу, вызванное между прочимъ страхомъ смерти и безсмертія, которому все еще подверженъ цивилизованный человѣкъ.

Спиритизмъ былъ чуждъ ясному и здоровому уму Тургенева, но привязанность къ жизни и страхъ смерти были душевными пружинами, которыя дѣйствовали у Тургенева, быть можетъ, съ большей силою, чѣмъ у многихъ. Большая привязанность къ жизни, склонность придавать ей особливую цѣну — это, если не ошибаюсь, отличительная черта большихъ умовъ и дарованій (разумѣется, при душевномъ здоровьи). Наболѣе привязанное къ жизни существо — это гений. Для него жить значитъ мыслить и творить, а это одно изъ самыхъ чарующихъ, самыхъ заманчивыхъ проявленій жизни. Но не всегда такое тяготѣніе къ жизни сопровождается соотвѣтственнымъ страхомъ смерти. Есть умы и натуры, чрезвычайно жизнерадостные и въ то же время относящіеся философски-спокойно къ грозному призраку смерти, къ ежеминутной возможности умереть. Таковъ былъ, напримѣръ, Ренанъ. Но не таковъ былъ Тургеневъ. Мысль о смерти, о „ничтожествѣ“, какъ онъ выражался, была для него мучительной и ужасающей. Она навязывалась его уму, какъ „проклятый“ вопросъ, какъ роковая проблема, отъ которой нельзя отвернуться и только — въ извѣстной мѣрѣ — можно „отдѣлаться“ художественнымъ ея воспроизведеніемъ (какъ Лермонтовъ отъ своего Демона „отдѣлался“ стихами)¹⁾.

¹⁾ Еще въ 1857 г. мысль Тургенева останавливалась на вопросѣ о „смерти“, въ связи съ созерцаніемъ „стихійнаго“ въ природѣ. Въ этомъ отношеніи любопытна первая страница „Поездки въ Польшу“ (1857), гдѣ между прочимъ сказано: „Мнѣ дѣла до тебя нѣтъ, говорить природа человѣку, я царствую, а ты хлопочи о томъ, какъ бы не умереть“.

Результатомъ этого стремленія „отдѣлаться“ отъ проблемы смерти и явились въ послѣдовательномъ порядкѣ послѣднія главы „Отцовъ и Дѣтей“ (смерть Базарова), „Призраки“ (1863) и „Довольно“.

„Призраки“ — произведеніе очень богатое содержаніемъ, которое однако-же только намѣчено бѣглыми штрихами. И прежде всего здѣсь схваченъ тотъ контрастъ, который существуетъ между обыденной жизнью человѣка съ ея повседневнымъ обиходомъ, привычной прозой, гдѣ, повидимому, нѣтъ мѣста ничему выходящему изъ ряда вонъ, ничему общему, не личному, а тѣмъ болѣе мистическому, и — той огромной сферою, которая складывается изъ совокупности всего, что такъ или иначе выходитъ за предѣлы обыденности. Съ удивительнымъ, ему свойственнымъ мастерствомъ рисовать бѣглыми, едва замѣтными штрихами, Тургеневъ даетъ чувствовать этотъ контрастъ: „Я долго не могъ заснуть и безпрестанно переворачивался съ боку на бокъ. Чортъ бы побралъ эти глупости съ вертящимися столами! подумаль я... Да уже не во снѣ ли я все это вижу?“ спросилъ я себя наконецъ. Я позвалъ ключницу. — „Марѳа, въ которомъ часу я легъ вчера на постель — не помнишь?“ — „Да кто-жъ тебя знаетъ, кормилецъ....“ и т. д. (XVII). — Эти и другія — немногія — строки, относящіяся къ обыденной обстановкѣ, къ текущему обиходу жизни, и потерянные среди всѣхъ этихъ летаній, видѣній, призраковъ, грозныхъ зрѣлищъ природы, производятъ тотъ эффектъ, который иначе схваченъ въ великолѣпномъ стихотвореніи Тютчева:

Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной:
Такъ наша жизнь кругомъ объята снами.
Настанетъ ночь, — и звучными волнами
Стихія бѣетъ о берегъ свой...

И въ самомъ дѣлѣ. Совокупность впечатлѣній, интересовъ, чувствъ и другихъ душевныхъ моментовъ, образующихъ нашу непосредственную дѣйствительность, является какъ бы крошечнымъ островкомъ, потеряннымъ въ океанѣ представленій, идей, образовъ, составляющихъ другую дѣйствительность, съ которой мы не имѣемъ непосредственнаго соприкосновенія. Природа, исторія,

прошлое человечества, его будущее, міръ идей и идеаловъ, загробныя тайны, все мистическое (при чемъ все равно, — принимается-ли оно, какъ нѣчто положительное, или присутствуетъ въ сознаниі только, какъ величина отрицательная) — все это, въ сравненіи съ „положительностью“, „осязательностью“ нашей ближайшей дѣйствительности, нашей узкой повседневной жизни, уподобляется фантастическому міру сновъ, который только и ждетъ, чтобы человѣкъ пересталъ „бодрствовать“ въ сознаниі своего непосредственнаго существованія, чтобы онъ оторвался отъ узъ, приковывающихъ его къ текущей минутѣ, — и тогда „стихія“ обнаруживается и „бьетъ о берегъ свой“...

То гласъ ея: онъ нудитъ насъ и проситъ
Ужъ въ пристани волшебный ожилъ челнъ,—
Приливъ растетъ—и быстро насъ уноситъ
Въ неизмѣримость темныхъ волнъ.

„Стихія“ представляетъ полную противоположность „островку обыденнаго сознания“. На послѣднемъ все конечно, предѣльно, измѣрено, установлено, обусловлено и „понятно“. Стихія — неизмѣрима, бесконечна, безпредѣльна и полна таинственнаго. Въ ней все мистично, ибо она слагается не изъ фактовъ, а изъ явленій. Явленія мистичны по самой природѣ своей, причинная связь есть тайна, законъ — таинственъ. Это метафизическія понятія, чуждыя обыденному сознанию. Это — „неизмѣримость темныхъ волнъ“, въ которой даже все человѣческое, историческое становится загадочнымъ, потому что въ ней оно освобождается отъ иллюзіи произвола и случайности и переносится въ сферу законмѣрности. Возникаетъ предчувствіе высшаго закона, заправляющаго міромъ человѣческимъ, — закона, который окажется не менѣе таинственнымъ, чѣмъ законы природы, — въ туманѣ очерчиваются великія проблемы добра и зла, жизни и смерти, цѣлей, идеала....

Небесный сводъ, горящій славою звѣздной,
Таинственно глядитъ изъ глубины,—
И мы плывемъ, пылающе бездной
Со всѣхъ сторонъ окружены...

Въ „Призракахъ“ художественною формою мысли схвачены нѣкоторые — существенные — вопросы „бездны“, затронуты важнѣйшія сферы „стихій“: природа, исторія, человѣчество, красота, — въ особенности же — жизнь и смерть, — тѣ самые вопросы, которые трактуются въ „Довольно“. И тамъ, и здѣсь они ставятся и рѣшаются одинаково — въ духѣ безотраднaго пессимизма.

Природа показана преимущественно съ той стороны, которою она такъ рѣзко противорѣчитъ представленію о ней, свойственному „островку обыденности“. Съ точки зрѣнія послѣдняго, она — только часть привычной обстановки, и на ней лежитъ печать какой-то но то пошлости, не то прирученности. Въ „Призракахъ“ она взята, какъ грозная стихія, предъ мощію которой безпомощенъ человѣкъ, — стихія, дышащая разрушеніемъ и смертію, — сама безсмертная, вѣчная. Конкретными образами, въ которыхъ это воспроизведено, служатъ „Островъ Вайтъ“ и „Понтійскія болота“.

„Надъ головою тяжелыя, дымныя тучи; онѣ тѣснятся, онѣ бѣгутъ, какъ стадо злобныхъ чудовищъ... а тамъ, внизу, другое чудовище: разъяренное, именно разъяренное море... Бѣлая пѣна судорожно сверкаетъ и кипитъ на немъ буграми — и, вздымая косматыя волны, съ грубымъ грохотомъ бьетъ оно въ громадный, какъ смоль черный утесъ. Завываніе бури, леденящее дыханіе расколыхавшейся бездны, тяжкій плескъ прибоя, въ которомъ по временамъ чудится что-то похожее на вопли, на далекіе пушечные выстрѣлы, на колокольный звонъ, — раздирающій визгъ и скрежетъ прибрежныхъ голышей, внезапный крикъ невидимой чайки, на мутномъ небосклонѣ шаткій остовъ корабля — *всюду, смерть, смерть и ужасъ...*“ (IX).

„Смерть и ужасъ“ — вотъ рѣшеніе вопроса, вотъ идея, „представленная“ картиной „Островъ Вайтъ“. Таковъ же смыслъ и картины, изображающей Понтійскія болота.

„Это было огромное, тусклое пространство, повидимому не поросшее травой и пустое; тамъ и сямъ, по всему его протяженію, подобно небольшимъ обломкамъ зеркала, блистали стоячія воды; вдали смутно виднѣлось неслышное, недвижимое море. Круп-

ныя звѣзды сіяли въ промежуткахъ большихъ красивыхъ облаковъ; тысячеголосная, немолчная и все таки не громкая трель поднималась отсюда — и чуденъ былъ этотъ пронзительный и дремотный гулъ, этотъ ночной голосъ пустыни... — Понтійскія болота, промолвила Эллисъ. Слышишь лягушекъ? Чувствуешь запахъ сѣры? — Понтійскія болота... повторилъ я, и ощущение величавой унылости охватило меня. — Но зачѣмъ принесла ты меня сюда, въ этотъ печальный, заброшенный край?...“ (XII).

Этими двумя образами схвачена все та-же „глухонѣмая, слѣпорожденная сила“, о которой говорится въ „Довольно“.

Исторія и человечество очерчены также образами, которые по своему говорятъ о смерти и разрушеніи и вселяютъ либо все тотъ-же ужасъ, либо отвращеніе. Это, во-первыхъ, явленіе головы Цезаря и крики легіоновъ, — чудный образъ, въ которомъ удивительно схвачена *стихійность* историческаго, человѣческаго, и показанъ тотъ-же *страшный* духъ явленія, который присущъ грознымъ силамъ природы. „На языкѣ человѣческомъ нѣту словъ для выраженія ужаса, который сжалъ мое сердце. Мнѣ казалось, что раскрой эта голова свои глаза, разверзи свои губы — и я тотчасъ-же умру. — Эллисъ! простоналъ я: — я не хочу, я не могу, не надо мнѣ Рима, грубаго, грознаго Рима... Прочь, прочь отсюда!“ (XIII). — Таковъ-же смыслъ и явленія Стеньки Разина (XVI). Если эти двѣ картины можно сопоставить, по духу и смыслу, съ изображеніемъ острова Вайта, то картина бульварнаго Парижа съ размалеванными кокотками (XIX) и глава XXII, начинающаяся такъ: „слуша-а-ай! раздался въ ушахъ моихъ протяжный крикъ. Слуша-а-а-й! словно съ отчаяніемъ отозвалось въ отдаленіи. Слуш-а-а-а-й! замерло гдѣ-то на концѣ свѣта...“, — сближаются отчасти съ „Понтійскими болотами“.

Красота показана и ея чары обрисованы съ истинно-тургеневскою яркостью красокъ и музыкой рѣчи въ гл. XIV¹⁾. Здѣсь дано сочетаніе обаятельныхъ ощущений, производящихъ тотъ душевный эффектъ, который въ одно и то-же время и чувствуется,

¹⁾ Isola Bella.

какъ „красота“, какъ „эстетическое наслажденіе“, и мелькаетъ въ сознаніи, какъ нѣчто неуловимое, ускользающее, мимолетное, возможное и невозможное, однимъ словомъ — какъ *счастье*.

Это все та-же таинственная „красота“, о которой въ „Довольно“ сказано, что „для нея достаточно одного мгновенія, чтобы быть вѣчной“.

Въ результатѣ всѣхъ этихъ созерцаній — природы, исторіи, людей, красоты, пошлости и т. д. — получается то самое настроеніе, изображеніе котораго составляетъ сюжетъ и задачу „Довольно“. Здѣсь, въ „Призракахъ“, оно описано такъ: „грустно стало мнѣ, и какъ-то равнодушно-скучно. И не потому стало мнѣ грустно и скучно, что пролеталъ я именно надъ Россіей. Нѣтъ! Сама земля, эта плоская поверхность, которая разстилалась подомною, весь земной шаръ съ его населеніемъ, мгновеннымъ, немощнымъ, подавленнымъ нуждою, горемъ, болѣзнями, прикованнымъ къ глыбѣ презрѣннаго праха; эта хрупкая, шероховатая кора, этотъ наростъ на огненной песчинкѣ нашей планеты, по которому проступила плѣсень, величаемая нами органическимъ, растительнымъ царствомъ; эти люди-мухи, въ тысячу разъ ничтожнѣе мухъ, ихъ слѣпленные изъ грязи жилища, крохотные слѣды ихъ мелкой, однообразной возни, ихъ забавной борьбы съ неизмѣняемымъ и неизбѣжнымъ, — какъ это мнѣ вдругъ все опротивѣло....“ (XXIII).

На первый взглядъ, такой выводъ можетъ показаться довольно неожиданнымъ, — пожалуй, плохо вяжущимся съ тѣмъ зрѣлищемъ грандіознаго, грознаго, таинственнаго, которое такъ рельефно очерчено въ „Призракахъ“. Несоотвѣтствіе или кажущееся противорѣчіе выступить еще ярче, если мы будемъ имѣть въ виду „Довольно“, рассматриваемое какъ прямое продолженіе „Призраковъ“. Вотъ одно мѣсто изъ „Довольно“, представляющее, по мысли, духу и тону, особливо близкимъ къ только-что приведенной выдержкѣ изъ „Призраковъ“ : „... страшно то, что нѣтъ ничего страшнаго, что самая суть жизни мелко-неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись *этимъ* сознаніемъ, отвѣдавъ *этой* полыни, никакой уже медъ не покажется сладкимъ — и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного

сближенія, безвозвратной преданности—даже оно теряет все свое обаяніе; все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью“.

Итакъ, съ одной стороны—страхи и ужасы, съ другой—„нѣтъ ничего страшнаго“. Противорѣчіе это—только кажущееся. Это собственно противорѣчіе словъ, а не соотвѣтственныхъ душевныхъ моментовъ, и оно совершенно сгладится, если мы, ставъ на точку зрѣнія Тургенева, обратимся къ разбору главной „фигуры“ „Призраковъ“—смерти.

Нужно припомнить все, что выше было сказано о мышленіи Тургенева. Умамъ того типа, къ которому принадлежалъ нашъ художникъ, свойственно и привольно мыслить „субстанціями“. Этотъ пошибъ мысли приводитъ къ тому, что незамѣтно для самого мыслителя на первый планъ выдвигается и чуть-ли не ставится въ центрѣ вселенной—*личность*, живая человѣческая личность, какъ *существо*. И это существо страстно любитъ жизнь, страшно боится смерти. Умереть, т. е. перестать быть тѣмъ же существомъ, исчезнуть, какъ индивидуальность—для него это величайшее зло, ужаснѣе котораго быть ничего не можетъ. Оттуда между прочимъ и страхъ силъ природы, боязнь всего стихійнаго, законѣрнаго, передъ чѣмъ „личность“ такъ ничтожна. Ей уютно и тепло на томъ „островѣ обыденности“, о которомъ мы говорили выше, и она инстинктивно боится разстаться съ этимъ маленькимъ міркомъ своимъ, гдѣ она у себя дома, гдѣ она сознаетъ себя существомъ, индивидуумомъ, „я“. А между тѣмъ ея развитіе фатально влечетъ ее къ *стихи*; расширеніе сферы мысли неудержимо переноситъ человѣка въ эту страшную бездну, и постепенно онъ пріучается не бояться ея. Но страхи все еще живучи—пока человѣкъ продолжаетъ мыслить субстанціями, упорно понимая себя, какъ безусловное (а не относительное) *существо* и трактуя вселенную съ точки зрѣнія субъективныхъ благъ этого своего „существа“. Въ связи съ такой постановкой—является между прочимъ наивное и ни на чемъ не основанное утвержденіе, будто величайшее счастье—это „счастье любви“, конечно—между мужчиной и женщиной.

Становясь на эту точку зрѣнія, данную въ „Призракахъ“ и „Довольно“, — точку *субъективно-индивидуалистическую*, мы легко поймемъ всю возможность и даже психологическую необходимость перехода отъ *страховъ* „стихій“, обуревающихъ личность, къ тому душевному упадку, той апатіи, той усталости, которыя являются результатомъ сознанія подавляющаго контраста между ничтожностью, безсиліемъ личности и всемогуществомъ смертоноснаго начала, дѣйствующаго по вселенной.

Мы приходимъ, такимъ образомъ, къ разсмотрѣнію главнаго вопроса, которому собственно и посвящены „Призраки“, — вопроса о *смерти*. И прежде всего вспомнимъ тотъ ужасъ и то чувство безпомощности, которые овладѣли жаждущей жизни Эллисъ, когда она увидѣла „Смерть“.

„...Ужасъ, томительный ужасъ кривиль, искажалъ блѣдныя, почти стертыя черты Эллисъ. Я не видалъ ничего подобнаго даже на живомъ, человѣческомъ лицѣ. Безжизненный, туманный призракъ, тѣнь... и этотъ замирающій страхъ...—Эллисъ, что съ тобой? проговорилъ я наконецъ.—Она, она... отвѣчала она съ усиленіемъ... она!—Она? Кто она?—Не называй ея, не называй, торопливо пролепетала Эллисъ.—Надо спастись, а то всему конецъ—и на всегда... Посмотри: вонъ тамъ!—Я обернулъ голову въ сторону, куда указывала мнѣ трепещущая рука, и увидаль... *ничто дѣйствительно страшное*“.

Вотъ тутъ-то и осуществляется художественное пробужденіе всѣхъ ужасовъ, похороненныхъ въ формулѣ „смерть пришла“.

Два начала становятся лицомъ къ лицу: личность и смерть. Все прочее, что существуетъ въ мірѣ, какъ-бы ступшевывается, блекнетъ, стирается въ сознаніи, образуя лишь фонъ, на которомъ тѣмъ отчетливѣе выступаютъ эти два начала, два „существа“. Одно изъ нихъ—положительное, оно живетъ и хочетъ жить, жить какъ можно полнѣе, обладать полнотою и разнообразіемъ чувствъ, желаній, ощущеній,—всего, что входитъ въ понятіе психической жизни. Оно стремится быть самобытнымъ, самодовлѣющимъ, эгоистическимъ „я“, и сфера чистой мысли, отвлеченныхъ созерцаній, среди которыхъ исчезаетъ это „я“, такъ-же мало его удов-

летворяетъ, какъ и то разрѣженное, эфирное состояніе, въ какомъ находится Эллисъ. Осужденная витать въ сферѣ чистыхъ созерцаній, быть лишь зрительницей жизни, прошлой и настоящей, Эллисъ страстно жаждетъ быть непосредственной участницей въ жизненной драмѣ, снова стать плотью, наполниться кровью, вновь овладѣть функціями животнаго организма, снова превратиться изъ состоянія безтѣлеснаго „я“, витающаго въ пространствѣ, созерцающаго великія зрѣлища природы и исторіи и ничего не боящагося, кромѣ смерти, въ полуживотное, называемое человекомъ, привязанное къ землѣ, подверженное всяческому невзгодамъ и всего боящееся, даже собственныхъ своихъ созерцаній.

И вотъ, по его образу и подобию, только въ отрицательной проекціи, построится отрицательная „личность“ смерти. Если личность человѣческая хочетъ быть тѣломъ и имѣть образъ, то смерть это — „нѣчто, не имѣющее опредѣленнаго образа“ и „тѣмъ она страшнѣе“ (XXIV). Почему *безъ-образное* должно быть непременно страшнѣе имѣющаго опредѣленный образъ? А потому, что будучи, въ силу этой безъ-образности, безформенности, прямо противоположно человѣку, оно, это непонятное, чуждое, темное нѣчто, все-таки понимается, какъ существо и надѣлено волею и сверхчеловѣческою силою. Будь оно сколько-нибудь человѣкообразно или хотя-бы „животнообразно“, оно, при всей своей ужасной и злобной мощи, все-таки казалось-бы какъ-то ближе, понятнѣе, доступнѣе человѣку и у послѣдняго возникала-бы иллюзія нѣкоторой возможности соглашенія, умиловленія. Теперь нѣтъ и этого ничтожнаго палліатива: воскрешенный міоѡ уже не отливадается въ форму зооморфическую или антропоморфическую, не является въ привычномъ видѣ страшилища, созданнаго младенческимъ воображеніемъ древнихъ. Міоѡ воскресаетъ въ формѣ гораздо болѣе страшной, пригодной не для того только, чтобы пугать дѣтей, но способной испугать мыслителя: страшное и отвратительное явленіе предстоить сознанію, какъ безформенная, неопредѣлимая, непостижимая субстанція, которой приписывается объективное бытіе, воля и ужасающая мощь, — субстанція, дѣйствующая какъ „сила, которой нѣтъ сопротивленія, которой все

подвластно“ (XXIV). И человекъ, объятый ужасомъ и въ сознаніи своей безпомощности, можетъ только воскликнуть: „кто ты, что ты, грозная масса“? (ibid.). И если онъ захочетъ описать эту „грозную массу“, эту „идущую силу“,—ему придется, вмѣстѣ съ Тургеневымъ, прибѣгнуть къ такимъ терминамъ и метафорамъ, которые только кажущимся образомъ воспроизводятъ внѣшній предметъ, а въ сущности выражаютъ лишь то подавляющее чувство страха и отвращенія, во власти котораго находится человекъ. „Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, пестрое, какъ брюхо ящерицы—не туча и не дымъ, медленно, змѣинымъ движеніемъ, двигалось надъ землею... Гнилымъ, тлетворнымъ холодкомъ несло отъ нея—отъ этого холодка тошнило на сердцѣ, и въ глазахъ темнѣло, и волосы вставали дыбомъ...“ (XXIV).

Такой страхъ дѣйствуетъ на душу угнетающимъ образомъ, и въ результатѣ является упадокъ духа, мрачно-безотрадный взглядъ на вещи, все представляется человеку ничтожнымъ, мгновеннымъ, обреченнымъ на гибель. „Ничтожество, ничтожество!“ повторяетъ человекъ слова умирающей Эллисъ. Это то самое состояніе духа, которое испытывалъ Базаровъ въ тѣ минуты, когда „чувствовалъ скуку да злость“, когда ему приходили въ голову мысли о томъ, что „часть времени, которую ему удастся прожить, такъ ничтожна передъ вѣчностью“ („Отцы и Дѣти“, XXI), когда, наконецъ, въ виду грознаго призрака смерти, онъ говорилъ: „попробуй отрицать смерть: она меня отрицаетъ и — баста!“ (XXVII).

И вотъ, „мучительно содрагаясь при одной мысли о ничтожествѣ“ (какъ герой „Призраковъ“, XXV), человекъ фатально переходитъ отъ этого содраганія къ тому беспощадному анализу, къ тому разлагающему и мертвящему міропониманію, образчикъ котораго данъ въ „Довольно“, и роковой выводъ или вопросъ, указанный въ послѣдней главѣ этого „отрывка“, уже всплываетъ въ его сознаніи: „чѣмъ заставить себя страхнуть свою нѣмую лѣнь, свое унылое недоумѣніе, если только мысль о тщетѣ всего человѣческаго, всякой дѣятельности, ставящей себѣ болѣе высокую задачу, чѣмъ добываніе насущнаго хлѣба, закралась въ голову?...“

Послѣдній аккордъ: „Нѣтъ... нѣтъ... довольно... довольно... довольно...“

VII.

Было-бы очень прискорбно для меня, если-бы кто-нибудь, прочитавъ эти страницы, понялъ-бы ихъ такъ, что я приписываю Тургеневу суевѣрное убѣжденіе въ существованіи какого-то страшнѣйшаго, именуемаго Смертью и въ самомъ дѣлѣ обладающаго волею и сверхъестественной силою. Такого убѣжденія или вѣры у Тургенева, конечно, не могло быть. Тѣмъ не менѣе страхъ, сопутствующій подобной вѣрѣ, и его результаты, — угнетенное состояніе мысли, унылый взглядъ на вещи, — далеко не были чужды ему и отъ времени до времени проявлялись съ большою энергіей, побуждая его геній къ художественному воспроизведенію этихъ душевныхъ состояній, плодомъ чего и явились „Призраки“ и „Довольно“. — Во всемъ этомъ нѣтъ ничего психологически-невозможнаго: это весьма распространенное психологическое явленіе, — что извѣстное душевное состояніе, первоначально возникавшее какъ результатъ извѣстнаго вѣрованія, отнюдь не исчезаетъ вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ и готово всякій разъ оживиться, — лишь только оживляется въ сознаніи соотвѣтственная форма мысли, напр. такой-то образъ, хотя-бы уже и не было убѣжденія въ дѣйствительномъ, внѣ сознанія, существованіи вещи, отвѣчающей данному образу. Такъ, образованный человѣкъ, не вѣрящій въ привидѣнія, можетъ испугаться до обморока, когда „привидѣніе“ въ самомъ дѣлѣ явится ему, хотя онъ отлично знаетъ, что это процессъ субъективный, что это галлюцинація. Въ этомъ смыслѣ не будетъ абсурдомъ сказать, что можно бояться чорта и не вѣря въ него. Помимо явленій галлюцинаціи и иллюзіи, разныя чувства, напр. страха, радости и т. д., связываются непосредственно съ извѣстными формами мысли, съ данными способами апперцепціи впечатлѣній, при чемъ все равно — приписываетъ-ли человѣкъ этимъ формамъ объективное бытіе (какъ „бѣлизну“ — камню), или уже утратилъ эту наивность мышленія. Возьмемъ такой примѣръ. Когда люди думали, что напр. *милость*, *радость*,

любовь, зависть, порокъ и пр.—это какія-то *существа* или „дѣмоны“ (въ древнегреческомъ смыслѣ—*δαίμονια*), вселяющіеся въ челоуѣка или на него вліяющіе, тогда вѣрили и въ существованіе *Счастья* (удачи), какъ особаго существа, въ которому можно обращаться съ просьбами, изъявленіями разныхъ чувствъ и т. д. Понятно, что подобное вѣрованіе было сопряжено съ дѣльнымъ порядкомъ чувствованій, напр. опасенія, благодарности, удовольствія, неудовольствія—по отношенію къ этому существу или въ виду его наличности. Съ теченіемъ времени это вѣрованіе исчезло, какъ исчезли и другія ему подобныя. Но форма мысли, ему отвѣчающая, осталась и продолжаетъ дѣйствовать, конечно—не въ своемъ первоначальномъ видѣ, а какъ склонность ума схватывать понятія „шанса“, „удачи—неудачи“ категоріею субстанціи, именуемой *счастьемъ*. Пусть ей не придастся уже міеологическій образъ, какой придавался ей въ старину,—а все таки умъ современнаго челоуѣка съ трудомъ удерживается отъ искушенія приписывать этому „счастью“ нѣкоторое реальное бытіе. И напр. челоуѣкъ, приступающій къ рискованному предпріятію, пускающійся въ далекія и трудныя странствованія, строящій планы карьеры, политической дѣятельности и т. д., невольно поворачиваетъ свой умъ въ сторону чего-то внѣ его находящагося, какого-то *счастья*, которое можетъ прійти и уйти, осчастливить и погубить,—и соотвѣтственный порядокъ чувствъ уже шевелится въ его душѣ. Этотъ порядокъ чувствъ исчезнетъ изъ обихода лишь тогда, когда соотвѣтственныя явленія (шансы, удача—неудача, понятія случайности, вѣроятности) будутъ схватываться другою категоріею мысли, напр. тою, которая постулируется математическою теоріею вѣроятности. Тогда исчезнетъ и тотъ *фатализмъ*, который до сихъ поръ еще связанъ съ идеей счастья и является источникомъ особыхъ чувствъ.

Теперь возвратимся къ вопросу о смерти и посмотримъ, какъ устраненіе въ мысли субстанціальной формы ея апперцепціи приводитъ къ устраненію ея страха,—какъ художественное изображеніе, основанное уже не на формулѣ „смерть пришла“, а на формулѣ „онъ умираетъ“, и способное вызывать разные чувствованія, напр. жалости, скорби, уже безсильно пробудить чувство *страха*.

Такова „смерть Базарова“.

Какъ извѣстно, „смерть“ и не думала приходить къ Базарову, а просто, заразившись, по несчастной случайности, трупнымъ ядомъ, онъ вдругъ началъ умирать. Процессъ умирающаго былъ очень тяжелый, мучительный и — въ смыслѣ психологическомъ — въ высокой степени трагичный. Прекращалось богатое душевное существованіе, угасала смѣлая и крѣпкая мысль, могучій волевой аппаратъ переставалъ дѣйствовать, — всѣ эти рѣдкія и цѣнныя душевныя явленія или функціи должны были уничтожиться безвременно, не исполнивъ своего жизненнаго назначенія. Базаровъ умиралъ молодымъ, полнымъ силъ. — ему мучительно хотѣлось жить, онъ страстно любилъ жизнь, понимая ее какъ мысль, трудъ и борьбу. Его умъ только-что начиналъ расправлять свои крылья и пробовать свои силы въ смѣлыхъ отрицаніяхъ, — жизненный трудъ еще предстоялъ, его манила перспектива борьбы и подвиговъ — вдругъ вся эта роскошь духа случайно и бессмысленно упраздняется. — „Сила-то, сила“, говоритъ умирающій, „вся еще тутъ, а надо умирать!“, Старикъ, тотъ по крайней мѣрѣ успѣлъ отвыкнуть отъ жизни, а я...“ И въ потухающемъ сознаніи всплываетъ страшная идея смерти. Какой образъ пріиметъ она? Предстанетъ-ли она уму въ видѣ какого-нибудь грознаго страшилища, и вмѣстѣ съ тѣмъ воскреснутъ-ли всѣ страхи міа? Или явится она въ формѣ отвлеченнаго начала, неопредѣлимаго, непостижимаго и тѣмъ болѣе пугающаго, — какъ нѣкая таинственная и безобразная субстанція, которая однако дѣйствуетъ, идетъ, надвигается? Нѣчто подобное уже намѣчалось въ умѣ Базарова, когда онъ сказалъ: „Да, поди, попробуй отрицать смерть, — она меня отрицаетъ и баста“.

Эти слова были критическимъ моментомъ, поворотнымъ пунктомъ въ психологическомъ процессѣ смерти Базарова. И кто знаетъ, если бы обстановка и всѣ условія этой смерти были иныя, все движеніе мыслей и чувствъ умирающаго, быть можетъ, направилось-бы въ другую сторону, въ ту, которая намѣчается этимъ признаніемъ всемогущаго, роковаго, законѣрнаго значенія отрицательнаго начала, именуемаго Смертью. Это начало уже вырисовывалось въ сознаніи какъ „нѣчто“ и притомъ такое, пе-

редъ чѣмъ останавливалась дерзкая, всеотрицающая мысль Базарова. Еще шагъ дальше въ этомъ направленіи, въ этомъ мучительномъ сосредоточеніи мысли на объективированномъ образѣ смерти, — и вмѣсто умирающаго человѣка, которому страстно хочется жить, но который вовсе не боится умереть (чего тутъ въ самомъ дѣлѣ „бояться?“), мы видѣли-бы смертнаго, наивно не желающаго примириться съ тѣмъ, что онъ смертенъ, и безсильно мечущагося въ припадкѣ суевѣрнаго ужаса передъ какимъ-то чудищемъ, которое вотъ-вотъ сейчасъ придетъ и схватитъ его. Движеніе въ этомъ направленіи (въ направленіи „Призраковъ“) могло-бы осуществиться только въ томъ случаѣ, если бы Базаровъ умиралъ въ полномъ одиночествѣ, заброшенный, неоплаканный, забытый всѣми; если бы не было возлѣ него плачущей и молящейся матери, растерявшагося, обезумѣвшаго отъ горя отца, если бы вообще вся обстановка была другая, тогда его мысль отъ созерцанія грознаго облика смерти не перескочила-бы вдругъ въ ту полосу, гдѣ возможенъ героизмъ предсмертной ироніи, сказавшейся въ словахъ: „Кто тамъ плачетъ? Мать? Бѣдная! Кого-то она будетъ кормить теперь своимъ удивительнымъ борщемъ? А ты, Василій Ивановичъ, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христіанство не помогаетъ, будь философомъ, стойкомъ, что-ли! Вѣдь ты хвастался, что ты философъ...“ При иныхъ условіяхъ *этотъ* душевный мотивъ былъ-бы невозможенъ — да и не нуженъ. Сильная личность, въ родѣ Базарова, натура, построенная на умѣ и волѣ, конечно, хочетъ до конца остаться неизмѣнною и умереть такою, какою была всю жизнь. Она отстаиваетъ себя, свое „я“, свою гордость. Но для успѣшности такого отстаиванія необходимо, чтобы около нея были люди, да не какіе-нибудь — посторонніе, чужіе, равнодушные, безразличные, а свои, близкіе, любящіе, удивляющіеся, жалѣющіе, убитые горемъ. И чѣмъ болѣе они скорбятъ, жалѣютъ, поражены, растеряны, тѣмъ легче умирающему умирать и, умирая, сохранять равновѣсіе духа, спокойствіе, быть героемъ и шутить въ этотъ грозный и торжественный часъ.

Евгеній Базаровъ и хотѣлъ и, при данныхъ условіяхъ, легко могъ умереть все тѣмъ-же Евгеніемъ Базаровымъ, не теряя *себя*,

не утрачивая ни одной характерной черты своего „я“. Ему было легко исполнить это, ибо тутъ-же находился пораженный горемъ, бесконечно-любящій отецъ, который говорилъ: „возможное-ли это дѣло, чтобы ты умеръ, ты, Евгений? Гдѣ-же послѣ этого справедливость?..“ Ему было легко умирать, потому что онъ зналъ, что вонъ тамъ „возлѣ двери на низенькой скамеечкѣ сидитъ Арина Власьева“, сидитъ и ничего не въ силахъ сообразить, не въ состояніи опомниться, отдать себѣ отчетъ въ томъ ужасающемъ событіи, которое теперь совершается. Онъ могъ умирать безтрепетно, самоувѣренно, бодро, сохраняя всю свою иронию, всѣ свои сарказмы, потому что зналъ, что, когда испуститъ послѣдній вздохъ, то произойдетъ нѣчто... шекспировское, рассказанное Тургеневымъ съ потрясающимъ лаконизмомъ въ слѣдующихъ строкахъ: „...Василіемъ Ивановичемъ обуяло внезапное изступленіе. „Я говорилъ, что я возропцу“, хрипло кричалъ онъ, съ пылающимъ, перекошеннымъ лицомъ, потрясая въ воздухѣ кулакомъ, какъ-бы грозя кому-то, „и возропцу, возропцу!“ Но Арина Власьева, вся въ слезахъ, повисла у него на шеѣ, и оба вмѣстѣ пали ницъ. „Такъ, — рассказывала потомъ въ людской Анфисушка, — рядышкомъ и понурили свои головки, словно овечки въ полдень...“

Легко умирать, когда возлѣ умирающаго кипитъ и бьетъ неоскудѣваемый ключъ животворной психической силы, напр. силы родительской любви. Тогда умирающему можно и побаловать себя и позаботиться о томъ, какъ-бы еще лучше обставить свою смерть, такъ, чтобы это было по возможности полное самоутвержденіе личности. И вотъ онъ проситъ отца послать за Одинцовой: „Евгеній, молъ, Базаровъ кланяться велѣлъ и велѣлъ сказать, что умираетъ...“ Онъ зналъ, что она прійдетъ. Ему страстно хотѣлось увидѣть еще разъ, въ послѣдній разъ, эту женщину, которую онъ любилъ, и сказать ей: „какая вы славная!“ И любопытно было ему посмотрѣть, какъ она будетъ держать себя. Какой вкладъ внесетъ въ обстановку смерти? Сожалѣніе, горе, страхъ?

Она явилась. Она стояла передъ нимъ „такая красивая“. Онъ ей сказалъ, что болѣзнь заразительна и она рискуетъ. Она „быстро перешла комнату и сѣла на кресло возлѣ дивана, на

которомъ лежалъ Базаровъ“. Все это было очень интересно и помогало Евгению Базарову оставаться Евгениемъ Базаровымъ и мѣшало смерти быть тѣмъ страшилищемъ, передъ которымъ теряется и исчезаетъ человѣческое „я“.

Смерти не было, а былъ умирающій человѣкъ, который продолжалъ оставаться самимъ собою, продолжалъ мыслить умно и саркастически. „Старая штука смерть, а каждому вновь“, говоритъ онъ. И это очень хорошо сказано: смерть — не страшилище, не субстанція, не особое начало въ природѣ, это — просто „старая штука“, какъ и все прочее — любовь, рожденіе, счастье, горе, молодость, старость, — все это „старыя штуки, а каждому вновь“. Когда такая „штука“ случается, — съ непривычки становится жутко, вотъ и все.

Перечитайте съ начала до конца эти удивительныя страницы, повѣствующія о томъ, какъ умиралъ Базаровъ, не забудьте также (я придаю этому особливую важность) вновь перечувствовать и заключительный аккордъ „Отцовъ и Дѣтей“, начинающійся словами „есть небольшое сельское кладбище“... и оканчивающійся такъ: „Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нѣтъ! Какое-бы страстное, грѣшное, бунтующее сердце ни скрылось въ могилѣ, цвѣты, растущіе на ней, безмятежно глядятъ на насъ своими невинными глазами: не объ одномъ вѣчномъ спокойствіи говорятъ намъ они, о томъ великомъ спокойствіи „равнодушной“ природы, — они говорятъ также о вѣчномъ примиреніи и о жизни безконечной“. — Передумайте, перечувствуйте *все это*, и тогда на вопросъ: что собственно воспроизведено здѣсь, какое именно явленіе было предметомъ художественнаго творчества? — вы отвѣтите такъ: *это не была смерть, это не былъ ужасъ смерти*.

Да, это не была смерть: „старая штука“ умирающаго была изображена для того, чтобы дорисовать до конца сильную личность Базарова; это было необходимо „для полноты характеристики“, какъ раньше для той-же цѣли понадобилось описаніе другой „старой штуки“ — любви. Итакъ, художественно-апперцепированный предметъ — это вовсе не смерть и не торжество

смерти, а самъ Базаровъ, его натура, его умъ, его „я“, его торжество надъ смертию и всѣми страхами ея.

„Смерть Базарова“ это — апофеозъ его личности. Съ тѣмъ вмѣстѣ данъ и другой апофеозъ — любви, именно любви родительской.

Василій Ивановичъ и Арина Власьева съ ихъ безграничной, безумной, идолопоклоннической любовью къ сыну — это образы изъ числа тѣхъ, которыми Тургеневъ обезсмертилъ свое имя.

Великій художникъ, рисуя смерть Базарова, самъ сталъ на точку зрѣнія Василя Ивановича и Арины Власьевны, и — отсюда — особый колоритъ картины, такой, что если бы его претворить въ звуки и переложить на музыку, то вышла-бы симфонія, въ которой не было-бы аккордовъ страха смерти, не было-бы проклятій и стонów умирающаго, а звучали-бы и торжествовали звуки любви, горя, жалости, самоотверженія. Смерть Базарова — это не пѣснь о смерти, объ уничтоженіи, о томъ „ничтожествѣ“, которое воспѣто въ „Призракахъ“ и „Довольно“, это — бессмертная пѣснь о бессмертной любви, любви, передъ которой безсильна сама смерть. Пусть исчезаетъ предметъ любви, — любовь остается, и нѣтъ ей предѣла, и нѣтъ ей конца. Это любовь — торжествующая, которая имѣетъ всѣ права сказать: „смерть, гдѣ жало твое?“

И вотъ глубокій смыслъ картины: грозный фантомъ смерти, связанный съ извѣстной формой мысли (формулой „смерть пришла“, „она меня отрицаетъ — и баста“), на мигъ мелькнулъ въ сознаніи и исчезъ, и вмѣстѣ съ нимъ исчезли и его страхи. Что-же вытѣснило его, что стало въ сознаніи на его мѣсто? — На его мѣсто сталъ другой фантомъ, другая субстанція — „личность“, „я“, и предсмертное движеніе мысли направилось по формулѣ: „я умираю“. Эта формула — въ распространенномъ видѣ — гласитъ приблизительно такъ:

„Я умираю — я дѣлаю послѣднее дѣло своей жизни, а вы всѣ, кто тутъ есть, смотрите, какъ я буду умирать, жалѣйте, плачьте, рыдайте, удивляйтесь“. — Таковъ смыслъ того, что говоритъ умирающій Базаровъ Одинцовой: „Вы посмотрите, что за безобразное зрѣлище: червякъ полураздавленный, а еще топорщится. И вѣдь тоже думалъ: обломаю дѣлъ много, не умру, куда!

задача есть, вѣдь я гигантъ. А теперь вся задача гиганта—какъ-бы умереть прилично, хотя никому до этого дѣла нѣтъ... Все равно: вилать хвостомъ не стану“...

Что-же помогло этой формулѣ стать на мѣсто той? Что дало фантому личности перевѣсъ надъ фантомомъ смерти? Мы видѣли, что это сдѣлала сила любви, — одно изъ тѣхъ началъ, которыми преимущественно жива и сильна личность. Отнимите у нея это *подспорье*, и она спасуетъ передъ смертью, — какъ это мы и видимъ въ „Призракахъ“ и „Довольно“.

Быть можетъ, самъ Базаровъ, умирая, смутно чувствовалъ это и впервые оцѣнилъ своихъ родителей, — когда онъ говорилъ Одинцовой: „Отецъ вамъ будетъ говорить, что вотъ, молъ, какого человека Россія теряетъ... Это чепуха; но не разувѣряйте старика. Чѣмъ-бы дитя ни тѣшилось... вы знаете. И мать приласкайте. Вѣдь такихъ людей, какъ они, въ нашемъ большомъ свѣтѣ—днемъ съ огнемъ не сыскать“...

Если такимъ образомъ въ „смерти Базарова“ личность человѣческая, окрыленная силою любви, торжествовала надъ смертью, то въ „Призракахъ“ и „Довольно“ будетъ наоборотъ: уединенная, обезоруженная, съ потухшимъ внутреннимъ свѣтомъ, личность будетъ показана въ ея крушеніи, въ ея ничтожествѣ, — и это будетъ пѣснь о торжествующей смерти.

Взятая вмѣстѣ, какъ одно поэтическое цѣлое, „Отцы и Дѣти“, „Призраки“ и „Довольно“ для грядущихъ вѣковъ, когда личность въ ея отношеніяхъ къ обществу будетъ поставлена иначе и сама возвысится до иного самоопредѣленія, останутся важнымъ документомъ, великимъ памятникомъ эпохи, характерными чертами которой были крайнее развитіе *личности* въ направленіи эгоистическомъ, отсутствіе гармоніи между личностью и обществомъ, борьба противоположныхъ интересовъ, — эпохи, когда на почвѣ односторонняго индивидуализма, возвеличеніе личности, ея апоѳеозъ шли рядомъ и чередовались съ ея крушеніемъ, ея „ничтожествомъ“.

Какъ выразитель духа эпохи, Тургеневъ далъ въ Базаровѣ, „Призракахъ“ и „Довольно“ яркое выраженіе этой черты и свя-

занныхъ съ нею думъ и чувствъ, — цѣлаго міросозерцанія. Съ этой стороны, фигура Базарова, сама по себѣ продуктъ творчества объективнаго, явилась представительницею нѣкоторыхъ субъективныхъ движеній ума и сердца художника.

Черезъ 15 лѣтъ послѣ „Отцовъ и Дѣтей“ творческая мысль Тургенева остановилась еще разъ на созерцаніи натуры, чуждой самому художнику, еще болѣе противоположной ей, чѣмъ Базаровъ, и въ то-же время являющейся какъ-бы провозвѣстницею новаго уклада личности, новыхъ стремленій ея: Тургеневъ создалъ самый объективный изъ всѣхъ изображенныхъ имъ положительныхъ мужскихъ типовъ, — типъ *Соломина*, главнаго героя „Нови“, въ разборъ котораго мы и обратимся въ слѣдующей главѣ.

Глава III.

I.

„Новъ“ принадлежитъ къ числу наименѣе оцѣненныхъ — въ свое время — произведеній Тургенева. Правда, вслѣдъ за появленіемъ ея (1877), рядомъ съ отрицательными отзывами высказывались и хвалебные, даже восторженные, но въ общемъ, можно сказать, сумма недоразумѣній и нареканій, вызванныхъ „Новью“, не уступала таковой-же, вызванной „Отцами и Дѣтьми“, только тонъ нападокъ на автора на этотъ разъ не былъ такой страстный, какъ тогда.

Всякій читатель, не лишенный художественнаго чутія и достаточно вооруженный личнымъ опытомъ жизни (чрезвычайно важное условіе для пониманія произведеній искусства), не можетъ, читая „Новъ“, не подчиниться обаянію этого чуднаго произведенія, блестящаго необыкновенной свѣжестью и яркостью красокъ, проникнутаго дивной поэзіею и въ цѣломъ представляющаго собою удивительную художественную композицію, мастерски сотканную изъ положительныхъ и отрицательныхъ (сатирическихъ) элементовъ („Новъ“ на половину — сатира и очень злая).

О самомъ процессѣ творчества, создавшаго „Новъ“, мы имѣемъ любопытное свидѣтельство Тургенева въ письмѣ къ Лонскому (отъ 22 января 1877 г. „Письма“, № 247): „Ты находишь, что въ „Нови“ чувствуется напряженіе, излишняя головная работа и нѣкоторая робость... можетъ быть; замѣчу только одно, что ни одно изъ моихъ большихъ произведеній не писалось такъ скоро, легко (въ 3 мѣсяца) и съ меньшимъ количествомъ помарокъ. Вотъ послѣ этого и суди! (Идея у меня долго вертѣлась въ головѣ, я нѣсколько разъ принимался за исполненіе — но на-

конецъ написалъ всю штуку, какъ говорится, съ плеча). И выходитъ, что ничего нельзя знать напередъ". Первые впечатлѣнія бываютъ иногда обманчивы, и примѣръ Полонскаго показываетъ, какъ могутъ ошибаться въ этомъ отношеніи даже люди, сами одаренные поэтическимъ талантомъ, которымъ, казалось-бы, и книги въ руки. При первомъ чтеніи легко возникаютъ иллюзіи, въ зависимости отъ личнаго настроенія читателя. Вѣроятно г. Полонскій, читая впервые „Новъ“, находился въ такомъ состояніи духа, которое вызывало ощущеніе нѣкоторой напряженности при умственной работѣ. Усвоеніе-же художественнаго произведенія есть несомнѣнно умственная работа: оно, въ извѣстныхъ границахъ, является повтореніемъ творчества автора. И вотъ, если „повторить“ это творчество, такъ сказать, на „свѣжую голову“, не будучи озабоченъ или занятъ постороннею мыслию, то, я увѣренъ, „Новъ“ произведетъ прежде всего впечатлѣніе, вполне согласное съ тѣмъ, что говоритъ Тургеневъ въ приведенномъ отрывкѣ, именно впечатлѣніе *легкости* творчества, увѣреннаго въ самомъ себѣ, отсутствія разсудочной работы, ведущей къ перемаркамъ и передѣлкамъ. „Новъ“ является художественному чувству читателя въ видѣ вдохновенной импровизаціи, и въ ней незамѣтно и слѣда той „старательности“ или „копотливости“, которую отмѣтилъ Достоевскій въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“¹⁾. Въ „Нови“, такъ чувствуется, художникъ далъ волю своему дарованію, дошедшему здѣсь (употребляя выраженіе Тургенева въ письмѣ къ Салтыкову, „Письма“, стр. 508) до „рѣзвости“, и его скорѣе можно упрекнуть въ томъ, что онъ не подвергъ въ должной мѣрѣ свой вдохновенный трудъ контролю холодной разсудочности, которая, напр., воздержала-бы его отъ такого проявленія художнической „рѣзвости“, какъ Оомочка и Оимочка—явный анахронизмъ и, по признанію самаго Тургенева, „капризъ“ художника („Письма“, № 247, стр. 310). И въ нѣкоторыхъ другихъ фигурахъ, напримѣръ, въ Паклинѣ, въ особенности-же въ отрицательныхъ типахъ (въ Колломѣйцевѣ, Сипягинѣ) сказалась та-же игривость творчества, на этотъ разъ, впрочемъ, упрека не заслуживающая.

¹⁾ См. «Письма Тургенева», № 78, стр. 101.

Но обратимся къ главному герою романа *Соломину* ¹⁾.

Отношенія Тургенева къ Соломину во многомъ напоминаютъ его отношенія къ Базарову. Какъ и этотъ послѣдній, Соломинъ — любимецъ автора и въ то-же время представляетъ собою полный контрастъ самому художнику. Можно сказать даже, что въ Соломинѣ этотъ контрастъ еще сильнѣе выраженъ, чѣмъ въ Базаровѣ. Мы видѣли, что въ Базарова вложено его творцомъ нѣчто субъективное, отъ себя („самоломанность“, мысли о вѣчности, о смерти) и только какъ натура, характеръ, складъ ума — Базаровъ являетъ полную противоположность Тургеневу. Въ Соломинѣ нѣтъ уже и тѣни этихъ субъективныхъ примѣсей ²⁾. Контрастъ Тургенева и Соломина — одинъ изъ тѣхъ, которые приводятъ къ гармоніи. Соломинъ — одна изъ „слабостей“ нашего художника, которому все нравится въ Соломинѣ, даже его ничѣмъ не выдѣляющаяся, простонародная или мѣщанская наружность. Въ описаніи этой наружности (гл. XVI) чувствуется скрытая мысль автора: „посмотрите, какой обыкновенный, какой невзрачный, повидимому, человекъ, а вѣдь онъ-то и есть „настоящій“, и вы увидите, какой онъ умица и молодецъ“.

Соломинъ прежде всего, дѣйствительно, — большой умица. Его умъ — простой, несложный, практическій, дѣловой — совсѣмъ другого сорта, чѣмъ напр. умъ Нежданова, но въ своемъ родѣ онъ гораздо выше и сильнѣе, чѣмъ умъ Нежданова — въ своемъ. Умственное превосходство Соломина обрисовано во многихъ мѣстахъ романа, но въ особенности наглядно проявилось оно въ сценѣ у Маркелова, представляющей образчикъ „ночныхъ, неутомимыхъ русскихъ разговоровъ“. „...И тутъ Соломинъ не оправдалъ ожи-

¹⁾ Что главный герой именно — Соломинъ (а не Неждановъ), это, полагаю, ясно само собою, и только для полноты укажу на свидѣтельство о томъ самого Тургенева въ письмѣ къ Полонскому отъ 30 октября 1876 г. («Письма», № 246).

²⁾ Кстати упомянуть, Базарову Тургеневъ приписываетъ нѣкоторыя свои мнѣнія и точки зрѣнія на вещи, напримѣръ отзывъ о „Перепискѣ съ друзьями“ Гоголя („я прескверно себя чувствую, точно начался писемъ Гоголя къ калужской губернаторшѣ“), скептическій взглядъ на народъ и нѣкоторые др. Въ „Нови“ Тургеневъ говоритъ иногда устами Павлина, даже Маріанны (о стихахъ Добролюбова), но — не Соломина.

даній Нежданова. Онъ говорилъ замѣчательно мало... такъ мало, что почти, можно сказать, постоянно молчалъ; но слушалъ пристально, и если произносилъ какое-либо сужденіе или замѣчаніе, то оно было и дѣльно, и вѣско, и очень коротко. Оказалось, что Соломинъ не вѣрилъ въ близость революціи въ Россіи; но, не желая навязывать свое мнѣніе другимъ, не мѣшалъ имъ попытаться, и посматривалъ на нихъ — не издали, а съ боку. Онъ хорошо зналъ петербургскихъ революціонеровъ — и до нѣкоторой степени сочувствовалъ имъ — ибо былъ самъ изъ народа. Но онъ понималъ *невольное отсутствіе этого самого народа, безъ котораго „ничего не подѣлаешь“, и котораго долго готовить надо* — да и не такъ и не тому, какъ *тѣ*. Вотъ онъ и держался въ сторонѣ, не какъ хитрецъ и виляка, а какъ малый со смысломъ, который не хочетъ даромъ губить ни себя, ни другихъ“. (Гл. XVI).

Этими немногими словами сказано очень много и прежде всего обрисованъ большой, ясный, трезвый умъ Соломина. Пожалуй, мнѣ возразятъ, что неужели нужно было обладать выдающимся и особливо-трезвымъ умомъ, чтобы видѣть всю иллюзорность нетерпѣливыхъ надеждъ Нежданова и его единомышленниковъ, чтобы понимать всю опрометчивость попытокъ Маркелова и другихъ? На это отвѣчу не обинуясь: да, для этого необходимъ былъ умъ не заурядный. Само собою разумѣется, говоря такъ, я имѣю въ виду не посторонняго наблюдателя, не равнодушнаго зрителя: такой не нуждается въ большомъ умѣ, чтобы видѣть вещи въ ихъ настоящемъ свѣтѣ, и, по самому положенію своему, изъять изъ подъ всесильнаго внушенія иллюзіи и самообмана. Другое дѣло — такой человѣкъ, какъ Соломинъ, столь близко къ сердцу принимающій интересы народа, — Соломинъ, который въ той-же сценѣ у Маркелова вдругъ „разсердился не на шутку и такъ ударилъ своимъ могучимъ кулакомъ по столу, что все на немъ подпрыгнуло... Ему рассказали о какой-то несправедливости на судѣ, о притѣсненіи рабочей артели...“ Кто помнитъ 70-ые годы, тотъ хорошо знаетъ, что въ извѣстномъ движеніи того времени („хождение въ народъ“ и проч.) принимали участіе не только зеленые и легковѣрные юноши или тупицы, въ

родѣ Остродумова, но и люди зрѣлые, умные, даровитые, раздѣлявшіе однако общую иллюзію о высокихъ душевныхъ качествахъ русскаго народа, дѣлающихъ будто-бы возможною и плодотворною извѣстную дѣятельность для него и среди него. Идеализація народа, довѣріе къ нему въ его современномъ состояніи — это была общая черта и глупыхъ и умныхъ, и юныхъ и зрѣлыхъ, и даровитыхъ и бездарныхъ. Во всемъ можно было сомнѣваться, все подвергать критикѣ, — одна лишь святыня народной идеи была неприкосновенна. Отъ этой иллюзіи не избавляло даже фактическое знакомство съ народнымъ бытомъ, даже самое происхожденіе изъ народа. Это было нѣчто въ родѣ умопомраченія, въ силу котораго видѣли не то, что есть, а то, что хотѣли видѣть. Тутъ было и смѣшеніе идеи съ фактомъ, идеала съ дѣйствительностью, и перенесеніе на весь народъ нѣкоторыхъ чертъ, замѣченныхъ въ отдѣльныхъ лицахъ, вышедшихъ изъ народа, и смѣшеніе эпохъ (вѣра въ возможность повторенія Пугачевщины, ссылки на великую французскую революцію), и по существу ложная оптимистическая мысль объ отсутствіи у насъ органической связи между государствомъ и народомъ, — и многое, многое другое — отъ исторіи, отъ политической экономіи, отъ психологіи, поддерживавшее или обосновывавшее излюбленную мысль о томъ, что народъ почти „готовъ“ для созданія новаго строя, или, если не „готовъ“, то его можно „подготовить“, для чего потребуется какой-нибудь десятокъ-другой лѣтъ. Иные еще сокращали этотъ срокъ. И — повторяю — между ними были люди — куда умнѣе и образованнѣе не только Маркелова, но и Нежданова. Можно даже утверждать, что въ числѣ такихъ вѣрующихъ были люди и соломинскаго ума. И тутъ нѣтъ ничего удивительнаго: увлеченія заразительны. Превосходство *тургеневскаго* Соломина въ томъ и состоитъ, что онъ не подчиняется общему ослѣпленію, не поддается очарованію иллюзіи, что, вѣря въ идеалъ, онъ отлично сознаетъ, какъ онъ далекъ, и ясно видитъ всю непригодность средствъ, употребляемыхъ его единомышленниками для достиженія цѣли. Самъ онъ мечтаетъ о другихъ средствахъ и путяхъ, болѣе возможныхъ и разумныхъ. На вопросъ, самъ собою напрашивающійся, почему-же онъ все-

таки примыкаетъ къ революціонной партіи и путается въ это дѣло, не вѣря въ него, онъ отвѣчаетъ со свойственною ему лаконоической уклончивостью, что — „другихъ путей нѣтъ“. Такимъ отвѣтомъ онъ уклоняется отъ безконечнаго спора, который—онъ это знаетъ—все равно ни къ чему не приведетъ, и отъ необходимости „развивать свои взгляды“, — занятіе ему не по сердцу. Соломинъ — не спорщикъ, не теоретикъ, не составитель „программъ“. Но настоящая причина, почему онъ такъ или иначе примыкаетъ къ „партіи“, сводится къ психологической невозможности для такого человѣка, какъ онъ, стоять въ сторонѣ, особенножъ, бросить людей, съ которыми онъ сходится въ убѣжденіяхъ, въ идеалахъ, людей, которыхъ онъ любитъ и жалѣетъ оставить кругъ, гдѣ онъ можетъ „отвести душу“. Не забудемъ, что Соломинъ — человѣкъ душевный, сердечный, относящійся къ людямъ „по-человѣчеству“, что въ немъ нѣтъ и тѣни той прямолинейности и безапелляціонности фанатизма, для которой живая личность ближняго утрачиваетъ весь интересъ и превращается въ орудіе для достиженія высшихъ цѣлей. Въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ онъ не руководится партіознымъ дѣленіемъ ихъ на пригодныхъ или не пригодныхъ для дѣла. Неждановъ и Маркеловъ въ его глазахъ — не пригодны и могутъ только повредить дѣлу, но онъ ихъ любитъ и — остается съ ними. Эта черта въ Соломинѣ отмѣчена Тургеневымъ съ совершенной ясностью. Она отчетливо выступаетъ напр. въ сценѣ совѣщанія Нежданова и Маріанны съ Соломинымъ передъ бѣгствомъ изъ дома Сипягиныхъ (гл. XXV) и во всемъ поведеніи Соломина во время укрывательства молодой четы на фабрикѣ. Усматривать здѣсь эгоистическій мотивъ (зарождающееся чувство къ Маріаннѣ) нельзя. Во-первыхъ, это чувство было еще неясно самому Соломину, во-вторыхъ, совершенно очевидно, что его отношенія къ Маріаннѣ были-бы такіе-же сердечныя, участливыя, доброжелательныя и безъ этого чувства.

Но надо сказать правду: это тяготѣніе Соломина къ людямъ, съ которыми онъ сходится въ идеалахъ и расходится въ средствахъ, путяхъ, — людямъ, дѣлающимъ, по его убѣжденію, не то, что нужно, и не такъ, какъ нужно, — это тяготѣніе и его психоло-

гія лишь намѣчены и недостаточно разработаны Тургеневымъ. Здѣсь-то и скрывается слабый пунктъ „Нови“, — недостатокъ, находящійся въ прямой зависимости отъ другой ошибки, сдѣланной Тургеневымъ въ самомъ началѣ, таившейся въ самомъ замыслѣ произведенія. Въ этотъ замыселъ, какъ по всему видно, входила заранѣе предвзятая мысль — изобразить извѣстное движеніе какъ дѣло небольшой кучки незрѣлой молодежи съ прибавкою небольшого числа тупыхъ фанатиковъ въ родѣ Остродумова да лично-озлобленныхъ неудачниковъ въ родѣ Маркелова. Въ искусствѣ, какъ и въ наукѣ, предвзятія мысли очень часто вредятъ успѣху замысла. Факты же были вотъ какіе.

Во-первыхъ, это было движеніе почти массовое. „Въ народъ“ шли сотни; къ движенію примыкали тысячи. Арифметика-же въ данномъ случаѣ имѣетъ огромное значеніе для психологіи: тотъ-же Соломинъ былъ-бы психологически совершенно понятенъ и съ художественной стороны безупреченъ среди этихъ сотенъ и тысячъ. Самый трезвый и уравновѣшенный человѣкъ не можетъ не примкнуть, хоть „съ боку“, какъ это и дѣлаетъ Соломинъ, къ массѣ, одушевленной идеями, которыя ему дороги. Другое дѣло — если это не масса, а ничтожная кучка: сила тяготѣнія слишкомъ слаба, и Соломинъ не остается свободенъ отъ упрека въ непослѣдовательности. — Во-вторыхъ, въ этой массѣ встрѣчались всевозможные типы, — тутъ были и Маркеловы, и Остродумовы, и даже Кисляковы, но тутъ же были умы и натуры — совсѣмъ другого рода, люди, которые могли-бы составить для Соломина болѣе подходящую компанію. На нихъ онъ не смотрѣлъ-бы сверху внизъ и, пожалуй, не уклонялся-бы отъ принципиальныхъ и иныхъ споровъ съ ними, хорошо понимая, что съ *этими* стоитъ поговорить и что отъ исхода такого разговора или спора, кто знаетъ, можетъ зависѣть иное серьезное дѣло. Эти люди брались за задачу неразрѣшимую, за дѣло безнадежное, но тѣхъ глупостей, какія совершаютъ Неждановъ и Маркеловъ, они не дѣлали. — Въ-третьихъ, несмотря на то, что всѣ стремились къ дѣлу, хлопотали о дѣятельности, толковали о средствахъ, путяхъ, пропагандѣ, агитаціи и т. д., все-таки, силою вещей, движеніе на добрую поло-

вину было умственное, и, пожалуй, большая часть времени, силъ, ума, горячности пошла не на дѣло, а на выработку міросозерцанія. Сцена бесѣды у Маркелова (не говоря уже о сценѣ у Голушкина) не даетъ должнаго понятія объ *этой* затратѣ силъ, объ этой — чисто умственной, теоретической — сторонѣ движенія. Оно было запечатлѣно извѣстнымъ духомъ, и этотъ духъ Тургеневъ не уловилъ....

Какъ бы мы ни судили о людяхъ того времени, о ихъ идеяхъ, идеалахъ и дѣлахъ, несомнѣнно одно, — что Тургеневъ въ „Нови“ погрѣшилъ противъ дѣйствительности, и эта погрѣшность привела къ недостаточной мотивировкѣ дѣйствій Соломина, къ нѣкоторой психологической невыясненности личности главнаго героя.

За вычетомъ этого недостатка, сама по себѣ фигура Соломина всетаки остается однимъ изъ крупнѣйшихъ созданій Тургенева, и нигдѣ, можетъ быть, даже въ Базаровѣ, объективный геній нашего художника не сказался такъ полно, такъ ярко.

Говоря о Базаровѣ, я указалъ между прочимъ на одну черту въ творествѣ Тургенева: это именно исканіе *настоящаго* чловѣка, дѣятеля, который былъ-бы „нуженъ Россіи“ и явился-бы воплощеніемъ дѣловитости, положительности, практическаго смысла — вмѣстѣ съ высшей идейностью.

И Тургеневъ, послѣ долгихъ поисковъ, нашелъ такого чловѣка — въ Соломинѣ. Базаровъ — тотъ оказался не „настоящій“ — и вотъ онъ умираетъ преждевременно, какъ-бы упраздняется за ненужностью, и умирая говоритъ Одинцовой: „отецъ вамъ будетъ говорить, что вотъ, молъ, какого чловѣка Россія теряетъ... Это чепуха... Я нуженъ Россіи! Нѣтъ, видно не нуженъ. Да и кто нуженъ?...“

Черезъ 15 лѣтъ на этотъ вопросъ умирающаго Базарова Тургеневъ отвѣтилъ созданіемъ типа Соломина, о которомъ — устами Паклина — онъ отзывался такъ: „Такіе, какъ онъ, — они-то вотъ и суть настоящіе... и будущее имъ принадлежитъ. Это — не герои... Это — крѣпкіе, сѣрые, одноцвѣтные, народныя люди. Теперь только такихъ и нужно...“ (гл. XXXVIII). И не только устами Паклина, но и прямо отъ своего имени Тургеневъ говоритъ то-же самое

въ письмѣ къ г-жѣ Ф—ой (отъ 11 сент. 1874 года, „Письма“, № 192): „...Вы начали съ Базарова: и я съ него начну. Вы ищите его въ дѣйствительной жизни, и вы его не найдете: я вамъ сейчасъ скажу, почему. Времена перемѣнились; теперь Базаровы не нужны. Для предстоящей общественной дѣятельности не нужно ни особенныхъ талантовъ, ни даже особеннаго ума — ничего крупнаго, выдающагося, слишкомъ индивидуальнаго; нужно трудолюбіе, терпѣніе; нужно умѣть жертвовать собою безъ всякаго блеску и треску — нужно умѣть смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже жизненной работы — я беру слово: „жизненный“ — въ смыслѣ простоты, безхитростности, *terre à terre*. Что можетъ быть напр. жизненнымъ — учить мужика грамотѣ, помогать ему, заводить больницы и т. д. На что тутъ таланты и даже ученость?...“ Какъ не вспомнить тутъ словъ Соломина Маріаннѣ: — „Да позвольте, Маріанна... Какъ-же вы себѣ это представляете: *начать*? — Не баррикады же строить со знаменемъ наверху — да: ура! за республику! — Это-же и не женское дѣло. А вотъ, вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; — и трудно вамъ это будетъ, потому что нелегко понимаетъ Лукерья, и васъ чуждается, — да еще воображаетъ, что ей совсѣмъ не нужно то, чему вы ее учить собираетесь; а недѣли черезъ двѣ или три вы съ другой Лукерьей помучитесь, а пока — ребеночка вы поможете или азбуку ему покажете, — и больному лѣкарство дадите... вотъ вамъ и начало“. Но Маріанна хочетъ большаго. — „Да вѣдь это сестры милосердія дѣлають... Я о другомъ мечтала“, говоритъ она. Она ищетъ широкой, захватывающей дѣятельности. Она жаждетъ „пожертвовать собой“. То, что говоритъ ей Соломинъ въ отвѣтъ на ея признанія въ этомъ родѣ, такъ для него характерно, такъ важно для правильнаго пониманія ума и натуры героя романа, что я считаю нужнымъ выписать все мѣсто:

„Соломинъ пристально посмотрѣлъ на Маріанну.

— Знаете что, Маріанна... Вы извините неприличность выраженія... но по моему: шелудивому мальчику волосы расчесать — жертва, и большая жертва, на которую не многіе способны.

— Да я отъ этого не отказываюсь, Василій Ѳедотычъ.

— Я знаю, что не отказываетесь! Да, *вы* на это способны. И *вы* будете — пока — дѣлать это; а потомъ, пожалуй, и другое.

— Но для этого надо поучиться у Татьяны!

— И прекрасно.... учитесь. *Вы* будете чумичкой горшки мыть, щипать куръ... А тамъ, кто знаетъ, можетъ быть, спасете отечество!

— Вы смѣтаетесь надо мною, Василій Ѳедотычъ.

Соломинъ медленно потрясъ головою.

— О, моя милая Маріанна, повѣрьте: не смѣюсь я надъ вами, и въ моихъ словахъ простая правда. *Вы* уже теперь, всѣ *вы*, русскія женщины, дѣльнѣе и выше насъ, мужчинъ". (гл. XXIX).

Соломинъ отлично видитъ, что эта чистота души, эта жажда подвига, самопожертвованія, этотъ энтузіазмъ Маріанны — огромная сила, которую нужно только надлежащимъ образомъ направить. Но онъ не только это видитъ и чувствуетъ, — онъ самъ подчиняется обаянію этой женственной силы. Если бы онъ не былъ способенъ ей подчиниться, то это уже не былъ бы тотъ Соломинъ, который такъ по сердцу Тургеневу. Одна практическая и трезвость ума, одна холодная дѣловитость еще недостаточны, чтобы Соломинъ имѣлъ право на то сочувствіе, на ту любовь и интересъ, съ которыми относится къ нему авторъ. Душевная чуткость и отзывчивость, способность умилиться передъ тѣмъ, что представляетъ собою Маріанна, — вотъ черта, дѣлающая изъ уравновѣшеннаго и „прохладнаго“ (по выраженію Олмушки) Соломина — человѣка не только „настоящаго“, полезнаго, нужнаго, но и очень интереснаго, невольно привлекающаго къ себѣ всѣ симпатіи. И въ самомъ дѣлѣ, простой, „сѣрый“, „прохладный“ Соломинъ покоряетъ сердца, — въ немъ, какъ и въ Маріаннѣ, есть нѣчто обаятельное. Паклинъ, который все и всѣхъ понимаетъ, тотъ сразу его понялъ и, можно сказать, „влюбился“ въ него. Да и не только Паклинъ, а и другіе, каждый по своему, или любить или могли бы полюбить Соломина, и Неждановъ, и Меркеловъ, и чуть-ли не самъ Сипягинъ. Только такіе, совершенно загнипотизированные субъекты, какъ Остродумовъ и Машурина, —

не могутъ понять Соломина и относятся къ нему равнодушно — холодно. Въ этой особенноти Соломина сказывается существенное различіе между нимъ и Базаровымъ. Базаровъ — человѣкъ недобрый и большой эгоистъ. Соломинъ напротивъ, — добрякъ и меньше всего эгоистъ. Для всякаго непредубѣжденнаго читателя, который не вычитываетъ больше того, что сказано авторомъ, совершенно ясно, что напр. заботы Соломина о Маріаннѣ (см. въ концѣ гл. XXV и эпизодъ съ ключомъ въ гл. XXIX) вытекаютъ не изъ эгоистическихъ соображеній, а прямо изъ чувства жалости и безкорыстной любви къ этой чудной дѣвушкѣ. Глухое предчувствіе, что не Неждановъ, а онъ, Соломинъ, будетъ ея избранникомъ, можетъ быть и копошилось въ глубинѣ его души, но, разумѣется, уже по самой своей затаенности, не могло служить движущимъ мотивомъ въ этихъ заботахъ. Не могъ же въ самомъ дѣлѣ Соломинъ предугадать развязку. Искать въ его поведеніи чего-либо коварнаго — значить сочинять другого Соломина, вмѣсто того, который изображенъ Тургеневымъ. Неожиданностью развязки (самоубійство Нежданова) онъ былъ пораженъ почти въ той-же степени, какъ и Маріанна, и вмѣстѣ съ нею онъ раздѣляетъ чувство нѣкоторой — невольной — виновности передъ покойникомъ (гл. XXXVII).

Другая черта Соломина, которою также онъ рѣзко отличается отъ Базарова, это — отсутствіе той авторитарности, которая свойственна послѣднему. Базаровъ слишкомъ импонируетъ и любитъ властвовать надъ людьми, и люди подчиняются его могучей волѣ. Это человѣкъ, который хочетъ и можетъ „ломать другихъ“, — потому что онъ одаренъ огромной силой воли прежде всего надъ самимъ собою: онъ можетъ „взять себя за вихорь и выдернуть, какъ рѣдку изъ грядки“. Соломину же подчиняются, потому что любятъ его. На фабрикѣ онъ — „отецъ родной“. Павелъ преданъ ему какъ рабъ, но рабъ, влюбленный въ своего господина. Власть и сила Соломина основаны прежде всего на симпатичныхъ сторонахъ его натуры, а не на силѣ воли. Недостатка въ этой послѣдней, конечно, нѣтъ и у него. Онъ также можетъ управлять собою и способенъ „выдернуть себя изъ грядки“, какъ это и

случилось однажды въ Лондонѣ, гдѣ Соломинъ чуть было не увлекся одной ирландкой (гл. XXIV).

Но эта сила смягчена въ Соломинѣ уравновѣшенностью его натуры: вѣдь онъ — „прохладный“. Базаровъ — тотъ горячій и мятущійся. Базаровъ — титанъ, и ему нужно дѣло титаническое. Соломинъ — человѣкъ жизненнаго (культурнаго) труда и будетъ вполне удовлетворенъ, когда найдетъ негромкое, но хорошее дѣло по душѣ. И онъ спокоенъ — потому что знаетъ, что найдетъ его, и оно будетъ спориться въ его умѣлыхъ рукахъ, просвѣтленное свѣтомъ его мысли и согрѣтое теплотою его сердечности. Базаровъ — далеко не спокоенъ: онъ чувствуетъ, что не найти ему того дѣла, которому онъ могъ-бы цѣликомъ отдаться, и что нѣтъ въ его душѣ тепла, способнаго согрѣть его собственную жизнь и жизнь окружающихъ его людей. Базаровъ — яркій метеоръ, который „свѣтитъ да не грѣетъ“. Не то Соломинъ...

II.

Теперь постараемся уяснить себѣ тѣ пути творческой мысли, идя которыми Тургеневъ *нашелъ* Соломина. Отправной пунктъ былъ, очевидно, тотъ самый, отъ котораго отправлялся Тургеневъ въ поискахъ за Базаровымъ. Это было стремленіе создать дополнительную для самого себя личность и вмѣстѣ съ тѣмъ найти въ ней „настоящаго“, — нужнаго для Россіи человѣка. Но отправляясь отъ одной точки, оба пути — базаровскій и соломинскій — разошлись въ совершенно противоположныя стороны. Мы знаемъ уже, что первый — базаровскій — путь привелъ, во-первыхъ, къ созданію личности *трагической* и, во-вторыхъ, проведенный нѣсколько дальше Базарова, закончился апофеозомъ смерти, „Призраками“ и „Довольно“, — выраженіемъ личныхъ воззрѣній и душевныхъ мукъ художника. Объективное въ началѣ и срединѣ процесса творчество въ концѣ свернуло на дорогу субъективности. — Совсѣмъ не то видимъ мы въ созданіи Соломина. Соломинъ — фигура, полученная чисто-объективнымъ путемъ, Тургеневъ ничего своего не вложилъ въ нее, и, отправляясь отъ Соломина

дальше, мы никоимъ образомъ не прійдемъ къ такому observaціонному пункту, съ котораго мы могли-бы заглянуть въ субъективный міръ самого Тургенева. „Призраки“ и „Довольно“ хронологически и психологически слѣдуютъ за „Отцами и Дѣтьми“, за смертью Базарова. Ничего подобнаго этимъ въ своемъ родѣ эпилогамъ, этому добавочному творчеству не находимъ мы послѣ „Нови“. Творческая энергія, затраченная на „Новь“, была исчерпана вся съ послѣднимъ восклицаніемъ Паклина „безымянная Русь!“ — и то, что Тургеневъ создалъ послѣ „Нови“, принадлежитъ уже другимъ приливамъ творчества, не имѣющимъ психической связи, съ тѣмъ, которое дало бытъ послѣднему изъ „соціальныхъ“ романовъ Тургенева.

Весьма возможно, что дѣло обернулось-бы иначе, и вслѣдъ за „Новью“ Тургеневъ далъ-бы намъ что-нибудь — по идеѣ и настроенію — въ родѣ „Призраковъ“ и „Довольно“, если бы весь интересъ „Нови“ былъ сосредоточенъ на личности Нежданова. Это было-бы въ такомъ случаѣ новое повѣствованіе еще объ одномъ „лишнемъ“ человѣкѣ и новыя варіаціи на тему о тщетѣ и суетѣ вещей, о бренности всего человѣческаго, о торжествѣ смерти, о ничтожествѣ. Но Неждановъ — лицо не только не главное, не „герой“ романа, но все его назначеніе сводится къ тому, чтобы лучше отѣнить Соломина. Соломинъ дорисованъ противопоставленіемъ Нежданову. Нервный, неровный, безъ выдержки, съ подкошенной жизненной энергіей, эстетикъ, поэтъ, жертва рефлексіи, Неждановъ есть самый, быть можетъ, *типичнѣйшій* изъ всѣхъ тургеневскихъ „лишнихъ“ людей, — и, поставленный рядомъ съ Соломинымъ, онъ отлично отѣняетъ противоположныя черты послѣдняго. Благодаря этому сопоставленію, идея романа выступаетъ съ большой ясностью. Неждановъ есть какъ-бы комментарий къ Соломину, и все, что я на этихъ страницахъ говорю о главномъ героѣ „Нови“, о его умѣ, натурѣ, значеніи, призваніи, иначе уже сказано Тургеневымъ — созданіемъ фигуры Нежданова. Въ этомъ смыслѣ Неждановъ сближается съ Аркадіемъ Кирсановымъ, — не самъ по себѣ (это люди — разные), а именно какъ образы, главное назначеніе которыхъ отѣнять и дорисовывать личности

главныхъ героевъ. Аркадій помогаетъ Базарову, какъ Неждановъ—Соломину, ярче выступать въ воображеніи читателя.

Въ силу *такого* значенія Нежданова въ романѣ, этотъ образъ не могъ служить тѣмъ импульсомъ, который направлялъ-бы мысль художника въ сторону апперцепціи „лишнихъ“ людей, суеты суеть, „ничтожества“ и смерти. Движеніе пошло совсѣмъ въ другую сторону—отъ Соломина и ведетъ оно къ жизни, теплу и свѣту жизни, къ борьбѣ, труду, любви, идеалу. На этомъ пути лучезарной звѣздой свѣтитъ намъ чудный образъ Маріанны: не о самозаблани Джагернауту говоритъ онъ намъ, онъ говоритъ о бодромъ, о славномъ, о любвеобильномъ дѣлѣ жизни, лозунгомъ котораго являются слова того-же Соломина къ Маріаннѣ: „нѣтъ, живите... живите! это главное“, и посмертный завѣтъ Нежданова: „живите счастливо, живите съ пользою для другихъ...“

Итакъ, вотъ путь: чтобы „найти“ Соломина, художникъ долженъ былъ направить свою мысль въ сторону апперцепціи тѣхъ сторонъ жизни и тѣхъ элементовъ духа, которые менѣ всего могутъ быть названы *трагическими*. Нужно было закрыть глаза на *противорѣчія* жизни, дѣйствительныя или кажущіяся, и прежде всего на тѣ, которыя отмѣчены въ „Довольно“. Необходимымъ условіемъ созданія „Нови“ и въ особенности фигуры Соломина было то, чтобы „мысль о тщетѣ всего человѣческаго, всякой дѣятельности, ставящей себѣ болѣе высокую цѣль, чѣмъ добываніе насущнаго хлѣба“ („Довольно“, XXIII), не „закрадывалась въ голову“ художника. Необходимо было также, чтобы арена творчества была свободна отъ того настроенія, подъ властью котораго Базаровъ говорилъ: „...Я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лоцухъ расти будетъ, ну, а дальше?“ Очень важно было также не чувствовать того „коренного противорѣчія“, о которомъ говорится въ XVI гл. „Довольно“: „каждый изъ насъ болѣе или менѣ смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что онъ сродни чему-то высшему, вѣчному и живетъ, долженъ жить въ мгновеніи

и для мгновения. Сиди въ грязи, любезный, и тянись къ небу!“ Наконецъ, призракъ смерти, ужась передъ „ничтожествомъ“, содроганіе передъ стихійнымъ въ природѣ и жизни — все это должно было ступеваться, исчезнуть изъ поля художническаго зрѣнія, вся эта субъективная пелена должна была отпасть. И не мудрствуя лукаво, веселымъ и бодрымъ, немножко умиленнымъ, благодушно-насмѣшливымъ взоромъ художникъ взглянулъ на Божій міръ — все-таки, несмотря на бездну зла, ему присущаго, „прекрасный, какъ и въ первый день творенія“. И жизнь человѣческая явилась ему озаренная яркимъ свѣтомъ, согрѣтая теплотою молодыхъ надеждъ, молодыхъ стремленій, она открылась ему въ томъ видѣ, какъ чувствовали ее Неждановъ и Маріанна, когда, послѣ послѣдняго рѣшительнаго объясненія и взаимныхъ признаній, они шли „задумчивые, счастливые, — молодая трава ластилась подъ ихъ ногами, молодая листва шумѣла кругомъ; пятна свѣта и тѣни побѣжали, проворно скользя по ихъ одеждѣ — и оба они улыбались и тревожной ихъ игрѣ, и веселымъ ударамъ вѣтра, и свѣжему блистанью листьевъ, и собственной молодости и другъ другу“ (XXII).

На *такомъ* пути творчества, при *такомъ* освѣщеніи впечатлѣній, изъ мастерской художника изгоняются тревожные вопросы бытія, метафизическія тайны жизни, пессимистическій взглядъ на вещи. И вмѣстѣ съ ними исчезаетъ стихія *трагическаго*. Я разумѣю трагизмъ настоящій, психологическій, *базаровскій*. *Такого* въ „Нови“ нѣтъ. Соломинъ и Маріанна — лица не трагическія. Что же касается Нежданова и Маркелова, то трагична ихъ судьба, а не они сами. Смерть Нежданова не потрясаетъ читателя, не вызываетъ въ немъ тѣхъ думъ о роковой власти смерти, о бренности всего человѣческаго и т. д., какія вызываются смертью Базарова. Конечно, въ душѣ Нежданова, исполненной разлада и терзаемой внутренними противорѣчіями, совершается извѣстная драма, но не скрываемая иронія, съ которою художникъ эту драму воспроизвелъ, является, какъ капля яда, смертельнымъ для нея началомъ: драма, пожалуй, остается, но трагическое въ ней убито.

Объ остальныхъ лицахъ и говорить нечего. Остродумовъ и Машуринъ принадлежатъ къ области комичнаго (не въ томъ

смыслѣ, конечно, какъ Сипягинѣ, Колломѣйцевѣ и Голушкинѣ — типы рѣзко-отрицательные, предметъ сатиры). Остроумовъ и Машурина являютъ собою типичный образчикъ сочетанія ограниченности ума съ несомнѣнной честностью души, безкорыстіемъ побужденій, самоотверженіемъ, сочетанія, которое нерѣдко наблюдается въ дѣйствительности, проявляется и на исторической аренѣ, и въ искусствѣ со временъ Сервантеса совершенно правильно квалифицировано, какъ „комическое“. Въ дѣйствительности участь такихъ людей бываетъ часто трагична. Они нерѣдко страдаютъ и гибнутъ. Но если художникъ вздумаетъ изобразить ихъ, какъ героевъ трагическихъ, то выйдетъ мелодрама. По той-же причинѣ не трагиченъ и Маркеловъ. Но разница между нимъ съ одной стороны и Остроумовымъ и Машуриной съ другой въ томъ, что послѣдніе, хотя и носятъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе, но не сознаютъ его, и потому нѣтъ никакой „драмы“ въ ихъ душѣ, Маркеловъ-же несомнѣнно мучится сознаніемъ, что онъ неудачникъ, что счастье ему недоступно, вообще это фигура мрачная, почти злобѣщая, натура озлобленная и по-своему сильная. Но въ немъ, еще въ большей степени, чѣмъ у Нежданова, эта внутренняя драма развѣнчана и убита ироніей художника. Чтобы лицо вышло истинно-трагическимъ, художникъ, рисуя его, отнюдь не долженъ смотрѣть на него сверху внизъ.

Остается Паклинъ.-- Вотъ лицо, которое больше всѣхъ другихъ имѣло-бы права на трагизмъ: онъ уменъ и крѣпокъ мыслію, но слабъ духомъ; онъ все отлично понимаетъ и ничего не можетъ; въ немъ много интереса къ жизни — и никакой жизнеспособности. Строго говоря, то, что происходитъ въ душѣ Силы Самсоныча Паклина, — по существу трагично, но всѣ мы такъ уже устроены, что никакъ не можемъ признать это „трагедіей“, и съ жестокостью, свойственной всему живущему и пользующемуся жизнью, относимъ маленькаго, хроменькаго, слабенькаго Паклина, вмѣстѣ напр. со старой дѣвой, — къ области комическаго.

Итакъ, трагическій элементъ въ „Нови“ отсутствуетъ. Его бы не было тамъ и въ томъ случаѣ, если-бы Соломинъ и Маріанна были представлены гибнущими въ непосильной борьбѣ съ обстоя-

тельствами или напр. съ той темной силою, которая олицетворена въ образѣ Колломійцева. Въ такомъ случаѣ, мы сказали-бы о нихъ то самое, что только-что было сказано о Неждановѣ и Маркеловѣ: ихъ судьба печальна, трагична, но не они сами. Иное дѣло — Базаровъ: тотъ все-таки оставался-бы лицомъ трагическимъ — и безъ роковой преждевременной смерти; смерть, какъ говоритъ самъ Тургеневъ въ письмѣ къ Случевскому, кладетъ только послѣднюю черту на его трагическую личность. („Письма“. № 81).

Ни въ Соломинѣ, ни въ Маріаннѣ нѣтъ ничего трагическаго потому, что это натуры ясныя, уравновѣшенныя, чистыя души, золотыя сердца, — что ни въ запросахъ ихъ ума, ни въ глубинѣ ихъ души нѣтъ внутренняго разлада, нѣтъ ничего „самоломаннаго“. Цѣль жизни имъ ясна. Они знаютъ, чего хотятъ, что имъ нужно, и будутъ вполне счастливы, если имъ удастся устроить свою жизнь въ духѣ своихъ завѣтныхъ стремленій. Но они счастливы и въ самыхъ поискахъ, и если-бы имъ пришлось среди этихъ исканій погибнуть, они-бы умерли съ спокойной совѣстью, съ отраднымъ сознаніемъ, что хотѣли добра, стремились къ хорошему и — зла не дѣлали. Внутренній миръ — вотъ то, довольно рѣдкое для людей неограниченныхъ, счастье, которымъ, по самой натурѣ своей, обладаютъ и Соломинъ, и Маріанна, и котораго лишенъ Базаровъ.

И вотъ почему въ „прохладной“ и мужественной душѣ Соломина — нѣтъ трагедіи, какъ нѣтъ ея и въ страстной женственной душѣ Маріанны.

О Маріаннѣ у насъ будетъ еще рѣчь (въ главѣ о женскихъ типахъ Тургенева), а пока — имѣя въ виду одного Соломина — мы скажемъ, что созерцаніе этого художественнаго образа должно было доставлять Тургеневу большое душевное удовлетвореніе, все равно какъ если-бы онъ въ самомъ дѣлѣ встрѣтилъ такого чело-вѣка. Ибо это — тотъ самый чело-вѣкъ, котораго Тургеневъ искалъ и для себя лично, и для Россіи. Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что Тургеневъ въ самомъ дѣлѣ былъ убѣжденъ въ необходимости для Россіи дѣятелей соломинскаго типа, какъ это

между прочимъ видно изъ вышеприведенной выдержки изъ письма къ г-жѣ Ф — ой. Соломина нашель, полюбилъ и оцѣнилъ Тургеневъ — гражданинъ. Но и *лично*, какъ человекъ, Тургеневъ *нуждался* въ Соломинѣ; онъ находилъ въ немъ гармоническое восполненіе себѣ. Дворянинъ и баринъ, немножко баловень, немножко дилетантъ, Тургеневъ встрѣчалъ въ Соломинѣ лучшій образецъ „народнаго“ человекъ, закаленного въ суровой школѣ трудовой жизни. Самъ умница, но умница — художникъ, теоретикъ, идеалистъ, Тургеневъ находилъ въ Соломинѣ умницу-практика, реалиста, представителя прикладного — въ обширномъ смыслѣ — труда. Самъ лишенный инициативы и неспособный къ дѣйствию, натура по преимуществу созерцательная, художникъ видѣлъ въ Соломинѣ отрадный примѣръ дѣятеля-нефантазера, который не только знаетъ, что можно и должно дѣлать, но и умѣетъ дѣлать это. Наконецъ, художникъ-мыслитель съ душою, столь доступною міровой скорби, съ умомъ, терзаемымъ противорѣчіями бытія, находилъ душевное успокоеніе въ общеніи съ натурою, которая, при своеобразной возвышенности и глубинѣ, чужда этимъ вопросамъ и скорбямъ и беретъ жизнь, какъ она есть, не мудрствуя лукаво и сама ничуть не становясь оттого пошлою. Пессимисту отрадно было отдохнуть отъ своихъ душевныхъ мукъ на созерцаніи, — на усвоеніи себѣ здороваго, свѣтлаго оптимизма, представляемаго Соломинимъ.

Не знаю, имѣлъ-ли Тургеневъ для изображенія Соломина въ своемъ распоряженіи „натуру“ (какъ для Базарова), — встрѣчались ли онъ люди соломинскаго типа. Но несомнѣнно одно: отдѣльные, разрозненные черты этого типа хорошо были извѣстны ему: онъ ихъ неоднократно могъ наблюдать въ великорусскомъ народѣ. Такъ-называемая „сметка“ и „себѣ на умѣ“, характерная черта великорussa, немного идеализированная, расширенная, облагороженная образованіемъ, легко претворяется въ умъ Соломина. Способность и любовь ко всему прикладному, техническому, практическій смыслъ, наконецъ своеобразный дѣловой идеализмъ — все это народныя великорусскія черты, и Соломинъ — вѣрный ихъ представитель.

Первыя впечатлѣнія и наблюденія, которыя впоследствии должны были дать матеріалъ или отправныя точки для созданія Соломина, были собраны Тургеневымъ еще въ раннюю пору его творчества, когда онъ присматривался къ народнымъ типамъ и старался уловить характерную складку великорусскаго народнаго ума. Нѣкоторыя изъ этихъ наблюденій и пригодились ему — когда онъ впервые обдумывалъ типъ Соломина. Такимъ образомъ, я склоненъ думать, что между „Записками охотника“, этой по преимуществу народной великорусской книгою, и созданіемъ фигуры Соломина есть нѣкоторая связь, хотя, быть можетъ, самъ художникъ и не сознавалъ ея. Если бы у Тургенева было такое пристрастіе къ генеалогіямъ, какъ у Золя, и онъ, подобно послѣднему, устанавливалъ бы родственныя связи между своими героями съ цѣлью показать передачу наслѣдственныхъ чертъ, то онъ могъ бы смѣло вывести Соломина изъ рода однодворца Овсянникова, сдѣлавъ его напр. внукомъ его племянника — Мити.

„Записки охотника“ принадлежатъ къ числу наиболѣе *наивныхъ* произведеній Тургенева: здѣсь онъ — меньше всего „мыслитель“ и, немудруя лукаво, любопытными, внимательными, добрыми глазами всматривается въ явленія, которыя проходятъ передъ нимъ, — но онъ не равнодушный зритель — много теплоты душевной, много сочувствія, любви затрачено на эти наблюденія. И — въ преобразованномъ, конечно, видѣ, *mutatis mutandis* — тотъ-же характеръ наивности творчества чувствуется въ „Нови“, и все тѣ-же глаза, любопытные и добрые, съ сочувствіемъ, съ любовью всматриваются въ новыя явленія русской жизни.

Глава IV.

Перехожу къ разбору женскихъ типовъ Тургенева.

Здѣсь мы вступаемъ въ ту область Тургеневскаго творчества, гдѣ его *объективный* гевій обнаружился во всей своей мощи.

Прежде всего возникаетъ вопросъ: въ какомъ смыслѣ можетъ быть названо объективнымъ или субъективнымъ творчество художника, направленное на воспроизведеніе женскихъ натуръ?

Напомню читателю, что я называю *субъективнымъ* не только того художника, который рисуетъ прямо съ себя, но и того, который воспроизводитъ натуры, родственныя своей, характеры, представляющіе много общаго съ его собственнымъ характеромъ, типы *своей* среды, *своего* круга. Таковъ въ значительной мѣрѣ Л. Н. Толстой. И вотъ ежели художникъ воспроизводитъ въ своемъ созданіи натуру своей матери, сестры, кузины,—все образы, съ которыми у него, въ силу наслѣдственности и одинаковаго соціального положенія, есть много общаго, и если это именно и будутъ его шедевры, то я назову его субъективнымъ, не взирая на ту долю объективности, какою долженъ обладать всякій художникъ — *мужчина*, изображающій *женскую* натуру.

Обращаясь къ лучшимъ женскимъ типамъ Тургенева, мы прежде всего видимъ, что въ нихъ воспроизведены такія женскія натуры, умы, характеры, для созданія которыхъ художникъ не могъ найти отправныхъ точекъ въ предѣлахъ своей субъективной сферы, — ни въ себѣ самомъ, ни въ женщинахъ своей семьи, круга, среды.

Но этого мало: не только въ своей субъективной сферѣ, а и въ области объективнаго наблюденія Тургеневъ не могъ располагать — въ должномъ размѣрѣ — тѣмъ матеріаломъ, обобщеніемъ

котораго явились-бы Лиза въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ“ или Елена въ „Наканунѣ“. Онъ встрѣчалъ въ дѣйствительности только намеки на возможность такихъ женскихъ натуръ, можетъ быть, отдѣльные, рѣдкіе образчики ихъ, которые, конечно, онъ не могъ изучить хотя-бы приблизительно такъ, какъ изучилъ Толстой оригиналы Китти, Наташи и др. И вотъ на основаніи такихъ ничтожныхъ данныхъ дѣйствительности создаются идеальные женскіе образы, въ которыхъ нѣтъ и тѣни чего-либо дѣланнаго, сочиненнаго, — образы, выступающіе въ воображеніи читателя, какъ живые и, не взирая на то, что соотвѣтствующія имъ явленія въ самой дѣйствительности суть исключенія, а не правило, — открывающіе какую-то глубокую и несомнѣнную *правду*. Вотъ это и есть настоящее — объективное — *творчество*.

Чтобы составить себѣ понятіе о силѣ этого творческаго дара, необходимо обозрѣть важнѣйшіе женскіе образы, созданные Тургеневымъ. Мы сдѣлаемъ это обозрѣніе по извѣстному плану — раздѣливъ ихъ на двѣ большія группы. Въ первую группу войдутъ образы, которые мы назовемъ *относительно-раціональными*, во вторую тѣ, которые мы опредѣлимъ какъ *ирраціональные*. Смыслъ этихъ терминовъ будетъ выясненъ ниже. Образы, входящіе въ составъ первой группы, распадаются на нѣсколько разрядовъ или типовъ. Мы разсмотримъ эти типы въ порядкѣ убывающей пошлости или низменности и возрастающей положительной содержательности женской души. Съ этой точки зрѣнія, въ первый разрядъ войдутъ фигуры *комичныя*, воспроизводящія пошлые или вообще отрицательныя стороны женской натуры. Останавливаться на ихъ анализѣ я не буду и только напомнимъ читателю нѣкоторые образчики этого рода: княгиня Засѣкина („Первая Любовь“), старая княжна Х-ая въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“, Кукшина тамъ-же, Суханчикова въ „Дымѣ“, фигуры захолустныхъ дамъ и барышень въ „Двухъ Пріятеляхъ“ и т. д.

Второй разрядъ составляютъ образы также *отрицательные*, но *не пошлые* и *не комичные*. Наиболѣе видной представительницею этого разряда является г-жа Полозова въ „Вешнихъ водахъ“. Въ ней нѣтъ ничего „идеальнаго“, это натура низменная, грубая,

чувственная, но это — женщина не заурядная. Она — исключение, а не правило. Ея происхождение, воспитание, умъ, характеръ, самые ея пороки — все это не заурядно, не шаблонно, все это рѣзко выдѣляетъ ее изъ ряда обыкновенныхъ женщинъ, изъ женской толпы. И вотъ, несмотря на такую исключительность, она все-таки *типична*. Но въ какомъ смыслѣ? Какіе конкретные факты дѣйствительности въ ней обобщены? Въ умѣ и характерѣ Полозовой схвачены нѣкоторыя черты національныя (великорусскія) и сословныя (народныя, въ противоположность дворянскимъ), но отнюдь не въ этомъ состоитъ ея типичность, какъ художественнаго образа. Въ Полозовой дано обобщение *известныхъ сторонъ женской натуры вообще*, безъ различія національностей, сословій, положеній и т. д., сторонъ, скрытыхъ, подавленныхъ или ступенныхъ у многихъ, у большинства, если хотите, но тѣмъ не менѣе существующихъ и въ иныхъ женщинахъ — всѣхъ временъ и народовъ — выступающихъ зато съ особой рельефностью. Какія же это стороны? Женскую натуру — въ томъ ея укладѣ, который мы назвали относительно-раціональнымъ, — удобнѣ всего опредѣлять не *an sich*, а въ ея отношеніяхъ къ мужчинамъ. Имѣя въ виду этотъ критерій, мы опредѣлимъ типъ Полозовой такъ: *хитрый-уравновѣшенный*.

Стремление „сокрушать сердца“, поработать, овладѣвать волею мужчины составляетъ коренное свойство женской природы, какъ выработалась она тысячелѣтіями. Если женщина обладаетъ соотвѣтственными внѣшними ресурсами, это стремление усугубляется. Кокетство — настоящій инстинктъ. Но въ огромномъ большинствѣ случаевъ этотъ инстинктъ уже является въ формѣ переживания: онъ дѣйствуетъ почти безсознательно и не цѣлесообразно: большинство женщинъ кокетничаютъ безъ ясно поставленной цѣли — завоевать такого-то мужчину. Это нѣчто въ родѣ искусства для искусства, невольнаго упражненія врожденной способности. И — какъ всѣ переживания и „игры“ — это занятіе принадлежитъ къ числу не серьезныхъ и невинныхъ. Таково напр. кокетство Одинойцовой („Отцы и Дѣти“). Но не таково кокетство Полозовой: у этой оно вполне цѣлесообразно и систематически направлено

на полное порабощеніе мужчины, оно прямо бьетъ на его паденіе. При всемъ томъ—оно не очень опасно: только такіа дряблыя натуры, какъ Санинъ, герой „Вешнихъ Водъ“, становятся жертвой этой—уже не „игры“,—а настоящей женской хищности. Поставимъ на мѣсто Санина ну хотя-бы Аркадія Кирсанова: онъ—по молодости и слабости человѣческой—также увлекся бы Полозовой, но—только до грѣхопаденія, послѣ котораго несомнѣнно послѣдовало бы раскаяніе, отвращеніе, самобичеваніе и—возвращеніе къ Джеммѣ. А вѣдь онъ не принадлежитъ числу сильныхъ характеровъ.

Гораздо *опаснѣе* другая—и высшая—разновидность хищной женщины, представленная *Ириной* въ „Дымѣ“.

Въ „Дымѣ“ противопоставлены одна другой двѣ женскія натуры—Ирина и Татьяна,—какъ въ „Вешнихъ Водахъ“ противопоставлены Полозова и Джемма. Между Полозовой и Ириной есть кое-что общее, еще больше—между Татьяной и Джеммой.

Общее между Ириной и Полозовой—это то, что обѣ принадлежатъ къ одному и тому же разряду—*хищныхъ*. Но онѣ относятся не къ одной и той-же, а къ двумъ разновидностямъ этого типа, вслѣдствіе чего, кромѣ общихъ чертъ сходства или сродства, у нихъ усматриваются существенныя черты различія, такъ что онѣ никоимъ образомъ не могли бы замѣнить одна другую, какъ это могли-бы сдѣлать Татьяна и Джемма. Можно легко представить себѣ въ „Вешнихъ Водахъ“ Татьяну (изъ „Дыма“) вмѣсто итальянки Джеммы, а Джемму сдѣлать невѣстою Литвинова. Но поставить вмѣсто Ирины Полозову уже нельзя: Литвиновъ не вспылалъ бы къ ней такой страстью, какъ въ Ирину, и не бросилъ бы изъ за-нея невѣсту. Такой „экспериментъ“ наглядно показываетъ намъ разницу между этими двумя разновидностями одного и того же—хищнаго—женскаго типа.

Полозова—натура чувственная и холодная, Ирина—страстная и не чувственная. Это различіе темпераментовъ соединяется у нихъ съ другимъ, болѣе важнымъ, болѣе глубокимъ различіемъ: Полозова—душа уравновѣшенная, спокойная; она вполне довольна собою и своей жизнью: рѣшеніе личной задачи, которое она наш-

ла, представляется ей наилучшимъ, и полный миръ, полное самодовольствіе, какого никогда не знала и не узнаетъ Ирина, господствуетъ въ ея душѣ. Полозова — счастливая и спокойная, Ирина — несчастная и мятущаяся.

Типъ Ирины мы опредѣлимъ такъ: *хищный — неуравновѣшенный*.

Ирина, — неуравновѣшенная потому, что въ ея душѣ заключено коренное противорѣчіе элементовъ, ее образующихъ: одни изъ этихъ элементовъ ставятъ Ирину выше среды, въ которой она живетъ, а другіе, напротивъ, связываютъ ее со средою узами столь крѣпкими, что она даже не можетъ и представить себѣ существованія въ другой средѣ. Такой внутренній разладъ свойственъ многимъ, напр. тѣмъ, которые въ своемъ отечествѣ или родномъ городѣ чувствуютъ себя прескверно и въ то же время ни въ какомъ другомъ мѣстѣ жить не могутъ. Тутъ дѣйствуютъ между прочимъ унаслѣдованные инстинкты. Связь Ирины съ великосвѣтскимъ обществомъ — въ ея крови, а также въ своего рода „категорическомъ императивѣ“ ея красоты, которая требуетъ широкой и блестящей арены, гдѣ она могла бы себя показать въ настоящемъ свѣтѣ и дѣйствовать. Блескъ, роскошь, пышность, интриги, вліяніе, побѣды — все это для Ирины первая необходимость, какъ воздухъ. Внѣ этой атмосферы она зачахнетъ, затоскуетъ, и никакая любовь, никакое счастье не въ состояніи заполнить этого пробѣла.

Внутренній разладъ Ирины придаетъ ея личности своеобразную прелесть, дѣлаетъ ее „интересной“, обаятельной. Этимъ ореоломъ, когда нужно, она отлично умѣетъ пользоваться для цѣлей своей женской хищности: на такую именно удочку и поймался, во второй разъ, Литвиновъ ¹⁾.

Что Ирина принадлежитъ числу хищныхъ, это представляется мнѣ несомнѣннымъ. Правда, если мы будемъ судить о ней исключительно по ея *первой* любви къ Литвинову (въ Москвѣ), то принуждены будемъ отказаться отъ такого приговора. За то во вто-

¹⁾ Гл. XIII, въ концѣ.

ромъ ея романъ съ Литвиновымъ присущая ей хищность выступаетъ съ полной отчетливостью. Но эта хищность смягчена въ ней двумя чертами: во-первыхъ, она сама увлекается, сама въ известной мѣрѣ страдаетъ и даже способна на нѣкоторыя жертвы; во-вторыхъ, она, по выраженію Потугина, „горда, какъ бѣсъ“ и эта „гордость иногда мѣшаетъ ей лгать“ ¹⁾. Для большой хищности нужно много лукавства и много лжи. Въ общемъ, въ лицѣ Ирины Тургеневъ далъ намъ превосходный образчикъ великосвѣтской женщины — умной, гордой, страстной, надѣленной большими душевными силами, которыя однакоже подточены какой-то роковою порчей, — львицы „озлобленной“ и страдающей, а главное — сумѣвшей уберечься отъ всеисильной заразы пошлости.

Но, сама не зараженная, она однако терпитъ эту пошлость, мирится съ нею и даже не можетъ обойтись безъ нея. Поднимаясь ступенью выше въ направленіи убывающей пошлости и, скажемъ, также и хищности, мы встрѣчаемъ одну изъ интереснѣйшихъ женскихъ личностей Тургенева — *Анну Сергеевну Одинцову*, героиню „Отцовъ и Дѣтей“.

Если Ирине пошлое не претитъ, то у Одинцовой, напротивъ, одна изъ характерныхъ чертъ это именно — *отвращеніе къ пошлomu* ²⁾. Одинцова никогда не могла-бы выйти замужъ за пошляка или за сквернаго человѣка и терпѣть его возлѣ себя, какъ это дѣлаетъ Ирина (не говоря уже о Полозовой). Подобно Ирине, она вышла замужъ по расчету, но ея мужъ, Одинцовъ, далеко не былъ человѣкъ пошлый (хотя-бы уже потому, что это былъ „чудакъ и ипохондрикъ“, да къ тому-же человѣкъ хорошій и неглупый). Но и того она „едва выносила“. Второй ея мужъ и подавно не являетъ ничего пошлаго: это человѣкъ, повидимому, далеко не заурядный ³⁾. Живетъ Одинцова отшельницею, въ сторонѣ отъ общества, и ее даже и представить себѣ нельзя вращающеюся въ „свѣтѣ“, все равно — провинціальномъ или столичномъ, ведущею какія-нибудь сложныя интриги, сталкивающеюся

¹⁾ Гл. XIV.

²⁾ „Одно пошлое ее отталкивало...“, „Отцы и Дѣти“, гл. XV.

³⁾ Гл. XXVIII.

съ людьми, которые ей непріятны, вообще въ положеніи и роли Ирины она немислима. Это обусловливается, кромѣ отвращенія къ пошлomu, еще и другими чертами натуры Одинцовой, именно ея спокойствіемъ, душевной уравновѣшенностью, холодною и извѣстнымъ эгоизмомъ. На иной взглядъ, пожалуй, эти черты низведутъ ее съ пьедестала и заставятъ предпочесть ей страстную и грѣшную Ирину. Это ужъ будетъ дѣло субъективнаго взгляда и личнаго вкуса. Но насъ интересуютъ здѣсь эти женщины не сами по себѣ, какъ онѣ есть, съ ихъ сильными и слабыми сторонами, а въ качествѣ образовъ, открывающихъ намъ ту или другую стадію въ развитіи женственности, въ процессѣ облагороженія и возвышенія женской натуры. Съ этой, объективной, точки зрѣнія я и утверждаю, что стадія, представленная Одинцовой, выше той, которая дана въ Ирину. Критеріемъ служить мнѣ въ этомъ діагнозѣ принципъ убывающей пошлости и хищности. Ирина мирится съ пошлостью, Одинцова отъ нея бѣжитъ. Ирина — хищница, у Одинцовой хищность уже выродилась въ безвредную игру скучающей барыни (сравни „Письма“, № 81), и съ этой стороны героиня „Отцовъ и Дѣтей“ представляетъ собою переходную ступень къ слѣдующей стадіи въ развитіи женской натуры.

На этой стадіи мы находимъ *положительные* женскіе типы, образы, представляющіе намъ разновидности *хорошей* женщины, которой жизнь, дѣятельность и любовь служатъ источникомъ радости, счастья, свѣта, добра. Лучшими представительницами этого типа являются *Татьяна* въ „Дымѣ“ и *Джемма* въ „Вешнихъ водахъ“. Сюда-же мы отнесемъ напр. *Александру Павловну* въ „Рудинѣ“, *Оеничку* въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ и нѣкоторыхъ другихъ. На этой ступени уже нѣтъ даже и того перерожденнаго хищничества, которое въ формѣ кокетства отъ скуки такъ свойственно прекрасному полу. О пошлости тутъ нѣтъ и помину, а эгоизмъ является въ своихъ высшихъ формахъ, напр. въ видѣ семейнаго и материнскаго. Женщины этого типа способны на самоотверженные подвиги, напр. у постели больного ребенка, вообще въ сферѣ семейной. Это героини будней. Въ процессѣ все большаго облагороженія и возвышенія женской личности онѣ играютъ

важную роль, и лучшія изъ нихъ являютъ собою уже осуществленный въ дѣйствительности идеаль женственности, дадше котораго, по мнѣнію многихъ, женщина не пойдетъ и не должна стремиться. Но мы сейчасъ увидимъ, что среди женщинъ *того-же положительнаго типа* вполне возможны такія, у которыхъ къ его основнымъ чертамъ присоединяются еще нѣкоторыя другія черты, увеличивающія, такъ сказать, удѣльный вѣсъ женщины, преобразующія ея душу въ особую и очень значительную *силу*, способную дѣйствовать и проявляться, какъ это свойственно *силѣ*, а потому и влекущую въ сторону какого-то высшаго развитія. Вотъ именно эту разновидность „положительнаго“ типа мы и выдѣлимъ въ особую рубрику, которую назовемъ хотя-бы такъ: *сильныя духомъ*.

Это — тѣ, которыхъ такъ любилъ и умѣлъ рисовать Тургеневъ. Ихъ-то собственно и разумѣютъ подъ именемъ „тургеневскихъ женщинъ“.

Первое, что бросается въ глаза въ этихъ образахъ, что самимъ художникомъ подчеркнуто и выставлено на видъ, это, во-первыхъ, большая сила характера, почти мужского, способность къ инициативѣ и борьбѣ съ препятствіями, и, во-вторыхъ, напряженная работа мысли и чувства. Лучшими представительницами этого типа являются *Наталя* въ „Рудинѣ“ и *Елена* въ „Наканунѣ“.

Эти образы такъ хорошо знакомы читателю, что я считаю излишнимъ распространяться о нихъ. Я ограничусь указаніемъ лишь на тѣ особенности этихъ женщинъ, въ силу которыхъ я нахожу необходимымъ выдѣлить ихъ въ особую рубрику, но самую-то эту рубрику рассматриваю, какъ разновидность предыдущаго типа.

Черты, на которыя я только-что указалъ (сила характера и напряженная работа ума и чувства) могутъ быть свойственны и другимъ женскимъ типамъ. Для пониманія рассматриваемыхъ натуръ необходимо уловить самое содержаніе ихъ душевной дѣятельности, опредѣлить, какія именно мысли и чувства наполняютъ ихъ душу, куда и на что направлена сила ихъ характера. Сравнивая съ этой точки зрѣнія *Наталию* („Рудинъ“) и еще лучше *Елену* („Наканунъ“) съ лучшими представительницами предыду-

щей рубрики, напр. съ Татьяной („Дымъ“), мы сразу же видимъ, что, такъ сказать, діапазонъ душевныхъ стремленій у первыхъ гораздо шире, чѣмъ у Татьяны. Онѣ большаго хотятъ отъ жизни, ихъ мысль дальше хватаетъ, ихъ чувство, если не глубже, то шире. Женщины этого типа мечтаютъ не объ одномъ семейномъ счастьѣ,—онѣ лелѣютъ мысль о служеніи идеѣ, жаждутъ болѣе широкой дѣятельности, иногда возвышаются до настоящаго подвига. Тутъ читатель, вѣроятно, спроситъ: почему-же я не вспомнилъ здѣсь о *Маріаннѣ*, которую именно въ этомъ смыслѣ я охарактеризовалъ въ предыдущей главѣ? Отвѣчая на этотъ вопросъ, я и выясню окончательно мою мысль.

Только-что я сказалъ, что разсматриваемый типъ (Наталья, Елена) есть какъ-бы разновидность предыдущаго (Татьяна, Джемма),—*вотъ этого-то и нельзя сказать о Маріаннѣ*. Рѣшающимъ моментомъ въ этой классификаціи является *вопросъ личной задачи и любви*. Личная задача у женщинъ, какъ Татьяна и Джемма, ставится такъ: *любовь, счастье, семья*,—и это задача большая, трудная, требующая многихъ положительныхъ качествъ души. Личная задача Натальи и Елены въ сущности *та-же самая*, къ той-же формулѣ сводящаяся, но только съ одной прибавкой или осложненіемъ: онѣ мечтаютъ и стремятся, осуществляя свое личное счастье, „дѣлать благое дѣло среди царяющаго зла“. Эта прибавка затрудняетъ рѣшеніе задачи, но нисколько не измѣняетъ *психологической* сущности дѣла. Центръ тяжести душевныхъ стремленій у нихъ все тотъ-же—*любовь, любимый человѣкъ и счастье съ нимъ*. Разница только въ тѣхъ требованіяхъ, какія предъявляются любимому человѣку. Татьянѣ или Джеммѣ нуженъ просто хорошій человѣкъ, который-бы ихъ любилъ горячо и беззавѣтно; Натальѣ и Еленѣ нуженъ „герой“. Елена нашла своего героя въ лицѣ Инсарова, Натальѣ не посчастливилось найти своего; но если-бы ея романъ съ Рудинымъ разыгрался гдѣ-нибудь въ Парижѣ въ виду баррикадъ, она пошла-бы за нимъ на эти баррикады, какъ Елена ушла за Инсаровымъ въ Болгарію. Мы воздадимъ всяческую справедливость имъ, назовемъ ихъ героинями, даже если хотите, служительницами идеи,—а все-таки полюбопытствуемъ

узнать: почему-же Елена, эта чуткая, сострадательная, чистая душа, готовая на самоотверженный подвигъ, съ такимъ легкимъ сердцемъ ушла въ Болгарію, въ то время, когда Россія была *наканунъ* реформъ, когда общество пробуждалось къ живой дѣятельности, и такъ нужны были у насъ хорошіе, идейные люди? Потому, конечно, что она влюбилась въ Инсарова, что это была любовь всепоглощающая, любовь—страсть, любовь—гипнозъ. Почему, далѣе, послѣ смерти Инсарова она не вернулась въ Россію? Опять-таки потому, что гипнозъ продолжался, и она уже потеряла способность мыслить и чувствовать нормально и могла только продолжать любить и дѣлать то, что любилъ и дѣлалъ ея покойный гипнотизёръ. Въ этой любви нѣтъ уже и тѣни какого-либо хищничества, натурального или перерожденнаго, это любовь высшая, святая, безсмертная,—ну а все-таки она эгоистична, и Елена—въ развитіи женственности—не выходитъ изъ предѣловъ той стадіи, гдѣ надъ женскою натурою все еще тяготѣетъ *власть любви*.

Совсѣмъ другое дѣло—*Маріанна*. Въ ея жизни, въ ея душевной исторіи любовь не играетъ такой капитальной роли. Маленькій романъ съ Неждановымъ былъ лишь тѣмъ скоропреходящимъ влюбленіемъ, которое такъ свойственно молодости. Ея любовь къ Соломину—болѣе прочная, но это опять-таки не всепоглощающая страсть, не гипнозъ; это—любовь разсудительная, спокойная, можно сказать, дѣловая. Бракъ съ Соломинымъ—въ своемъ родѣ бракъ по убѣжденію, по „расчету“, но только, конечно, не матеріальнаго порядка, а нравственнаго: съ нимъ, Соломинымъ, ей легче и удобнѣе будетъ дѣлать то дѣло, которому она хочетъ посвятить свою жизнь. Итакъ, у Маріанны на первомъ планѣ ея собственныя идеи, стремленія, дѣло, а любовь—на второмъ. Любовь играетъ роль подчиненную и ничуть не слугитъ движущимъ мотивомъ, не опредѣляетъ собою дальнѣйшей дѣятельности и участи Маріанны. Въ Маріаннѣ мы впервые встрѣчаемъ женщину, *освободившуюся отъ власти любви* и дѣйствующую, движущуюся, чувствующую, мыслящую—какъ человекъ свободный, который хочетъ и можетъ жить полной жинью, а не одной „жизнью сердца“, въ чемъ иные полагаютъ все призваніе жен-

щины. Быть можетъ, скажутъ, что Маріанна — натура холодная, неспособная къ сильнымъ сердечнымъ увлеченіямъ — въ родѣ Одицовой. Но это будетъ очевидная неправда: Маріанна — душа и страстная, и увлекающаяся, и въ высокой степени женственная. Но только эта женственность не переходитъ у нея въ любовный гипнозъ, ея страстность направлена въ другую сторону, а не на „избранника сердца“.

Обозрѣвая всю эту серію — отъ Полозовой до Маріанны, мы наблюдаемъ процессъ облагороженія и освобожденія женской натуры, — облагороженія ея природной женской хищности и освобожденія ея ума и воли отъ власти любви. Это путь отъ внутренняго, душевнаго рабства къ внутренней, душевной свободѣ. Просмотримъ бѣгло, съ этой точки зрѣнія, весь рядъ.

Въ *Полозовой* человѣческая личность совершенно подавлена и искажена властью женскихъ страстей низшаго сорта, и грубый личный эгоизмъ является главнымъ двигателемъ.

Въ *Иринь* она уже освободилась отъ этого гнета, но все-таки остается порабощенною другими страстями, вытекающими изъ ложнаго и односторонняго развитія женственности. Личный эгоизмъ, но болѣе утонченный, все еще остается главнымъ движущимъ мотивомъ стремленій.

Въ *Одицовой* мы впервые видимъ относительное освобожденіе ума, чувства и воли отъ гнета односторонне-развитой женственности. И ея несомнѣнный эгоизмъ уже на перепутьи отъ чисто-личнаго къ семейному. Одицова образуетъ переходную ступень къ положительному женскому типу — дѣятельницы и героини будней.

Въ представительницахъ этого типа, *Татьянъ*, *Джеммъ*, и др., личность человѣческая уже достигла высокой степени внутренней свободы и повинуетъ не голосу страстей, а тому, что называется призваніемъ женщины, и сама женственность служить ей не средствомъ для достиженія цѣлей лично-эгоистическихъ, а могущественнымъ орудіемъ для осуществленія призванія женщины въ семьѣ и обществѣ.

Разновидность этого типа, данная въ *Еленѣ* и *Натальѣ*, указываетъ намъ на дальнѣйшее расширеніе женской личности, на ея развитіе въ направленіи широкой человѣчности, такъ что ея женскій эгоизмъ, оставаясь по существу все тѣмъ-же неличнымъ эгоизмомъ Татьяны и др., принимаетъ такую постановку — какъ будто онъ уже не эгоизмъ, а альтруизмъ.

Въ Маріаннѣ, наконецъ, осуществляется полное освобожденіе женской личности даже и отъ этого эгоизма. Въ героинѣ „Нови“ важенъ не самый фактъ, что она идетъ на „подвигъ“, а психологія этого факта. Елена, фанатически любя избранника сердца, во имя этой любви и силою ея идетъ на подвигъ, перенося на него весь фанатизмъ своей любви. Маріанна-же идетъ на самоотверженное дѣло — безъ всякой фанатической любви къ опредѣленному человѣку, идетъ не какъ влюбленная женщина, а какъ человѣкъ свободный, да и въ свои отношенія къ идеѣ вносить не слѣпой фанатизмъ, а ясный, трезвый умъ и большую внутреннюю свободу.

Въ Маріаннѣ женщина возвысилась до героини.

Какъ ни разнообразны эти женскіе типы, но въ нихъ есть одна общая черта, позволяющая соединить ихъ въ одну группу. Это именно ихъ относительная ясность, удобопонятность, *раціональность*. Внутренній міръ этихъ женщинъ, какъ-бы онъ ни былъ многосложенъ, всегда находитъ себѣ точное выраженіе въ ихъ жизни, во всѣхъ внѣшнихъ проявленіяхъ ихъ души, и наблюдатель по этимъ проявленіямъ легко составитъ себѣ ясное и вѣрное понятіе о ней. Это натуры, въ которыхъ чувствуется присутствіе внутренней логики, психологической послѣдовательности. Даже когда онѣ находятся подъ властью душевнаго процесса, по существу нелогичнаго, ирраціональнаго, на примѣръ, страсти, то и тогда общая раціональность ихъ природы обнаруживается въ томъ, что этотъ процессъ развивается и дѣйствуетъ въ согласіи съ остальными элементами ихъ души. На примѣръ, страсть Елены къ Инса-

рову, какъ всякая страсть, слѣпа и неразумна, но возникла она, если можно такъ выразиться, вполне разумно, логически-последовательно: Елена полюбила Инсарова потому, что онъ удовлетворялъ всѣмъ требованіямъ ея ума и сердца, — она нашла въ немъ воплощеніе своего идеала. И мы отлично понимаемъ, почему именно она полюбила Инсарова, а не Шубина или Берсенева. Или, напримѣръ, пристрастіе Ирины къ великосвѣтской жизни есть влеченіе слѣпое, стихійное и — какъ таковое — оно ирраціонально. Но, противорѣча нѣкоторымъ сторонамъ ея натуры, оно находится въ полной гармоніи съ другими и, благодаря этой гармоніи, внутренний міръ Ирины, при всей своей неуравновѣшенности, представляется въ достаточной мѣрѣ цѣльнымъ и последовательнымъ. Наблюдатель отмѣтитъ его противорѣчія, но не станетъ втупикъ передъ ними и не назоветъ Ирину натурой загадочной.

Въ началѣ этой главы я упомянулъ о томъ, что всѣ эти женскіе образы (въ противоположность другимъ, о которыхъ будетъ рѣчь ниже), могутъ быть опредѣлены какъ *относительно-раціональные*. Нѣтъ такого человѣка на свѣтѣ, который былъ-бы раціоналенъ вполне, безусловно. Въ душѣ человѣческой, рядомъ съ процессами раціональными, дѣйствуютъ процессы ирраціональные. Последніе мы найдемъ и въ сферѣ мысли, и въ области чувства. Такъ, напр., ирраціональны многіе бессознательные процессы мысли, нерѣдко — дѣятельность воображенія, всегда — страстные чувства, острые аффекты. Ирраціональность психическаго явленія состоитъ въ томъ, что оно не регулируется нормами сознательнаго логическаго мышленія. Если эти явленія не становятся въ явное противорѣчіе съ раціональной сферой духа, если ихъ дѣятельность не пріобрѣтаетъ чрезмѣрнаго развитія, то личность въ ея цѣломъ представляется относительно-раціональной, — и нужна извѣстная наблюдательность и сила психологическаго анализа, чтобы открыть въ ней дѣйствіе факторовъ ирраціональных. Такъ, болѣе подробный анализъ могъ-бы обнаружить присутствіе чертъ ирраціональности въ тѣхъ женскихъ типахъ, которые мы рассмотрѣли. Но мы не будемъ производить такого

анализа надъ типами Полозовой, Ирины и т. д. до Маріанны, потому что для изученія ирраціональнаго въ женской природѣ мы находимъ у Тургенева другой, лучшій матеріалъ. Этой сторонѣ женщины Тургеневъ посвятилъ значительную долю своего творчества и далъ намъ цѣлую серію типовъ, въ которыхъ изумительно воспроизведено все темное, странное, нелогичное, непоследовательное, внутренне-противорѣчивое въ женской психиѣ, а также—развитіе въ женской душѣ одной всепоглощающей страсти или одного начала, по существу ирраціональнаго.

Изъ числа этихъ образовъ (ихъ можно назвать *загадочными*) мы разсмотримъ съ нѣкоторой обстоятельностью только важнѣйшіе, именно тѣ, которые представляются наиболѣе типичными для извѣстныхъ видовъ ирраціональности женской природы.

Есть, напр., натуры, богато и разносторонне одаренныя, въ которыхъ однако различные элементы души недостаточно согласованы между собою; онѣ по необходимости являютъ зрѣлище внутреннихъ противорѣчій, и въ ихъ душѣ нѣтъ той психологической послѣдовательности, той внутренней логики, которая всегда сказывается въ натурахъ относительно-раціональныхъ. Этотъ видъ ирраціональности превосходно изображенъ въ одномъ изъ лучшихъ художественныхъ созданій Тургенева—въ *Зинаидѣ*, героинѣ „Первой любви“.

Есть другія натуры, въ которыхъ глухая работа слѣпыхъ силъ души подавлена до поры, до времени властью ея разумной силы. Стоитъ только этой власти поколебаться, — и стихійное, неразумное, нелогичное въ душѣ пробуждается и обнаруживается съ особой яркостью. Это представлено въ *Вьрьѣ*, героинѣ „Фауста“.

Наконецъ, есть и такія женскія натуры, которыхъ ирраціональность обнаруживается не въ отсутствіи послѣдовательности, не въ душевныхъ противорѣчіяхъ или борьбѣ слѣпыхъ силъ съ разумомъ, а, наоборотъ, въ полной послѣдовательности, въ совершенной согласованности элементовъ: эта внутренняя гармонія, какую трудно встрѣтить даже въ наиболѣе раціональныхъ натурахъ, осуществляется силою одной властной идеи, одного всепо-

глощающаго чувства, при чемъ эта идея или это чувство, по самой природѣ своей, ирраціональны. Это можетъ быть любовь (Клара Миличъ), религіозная экзальтація, соединенная съ внушеніемъ (Софи въ „Странной Исторіи“), политическая или иная идея, фанатически дѣйствующая (Машурина въ „Нови“) и т. д. Большею частью, если не всегда, это явленія патологическія, иногда настоящіе психозы, чаще — разныя переходныя формы отъ душевнаго здоровья къ психозу.

Особое и крайне рѣдкое явленіе представляетъ собою тотъ укладъ души, въ которомъ такое господство извѣстной мысли или чувства соединено не только съ полнымъ душевнымъ здоровьемъ, но и съ высшей душевной красотой. Заправляющая мысль не имѣетъ здѣсь характера *idée fixe*; она не внушена извнѣ; она не является началомъ, угнетающимъ душевную свободу. Она сама — не причина извѣстныхъ душевныхъ движеній, а слѣдствіе, вытекающее изъ общаго характера души, въ которой преобладаютъ высшія, идеальныя начала. Если такая душа проникнута глубоко религіознымъ чувствомъ, то господствующими въ ней стимулами, которые изъ нея-же и вытекаютъ, будутъ стремленіе къ мистическому, любовь къ Богу, культъ высшей чистоты и святости.

Тургеневъ далъ намъ чудный образъ этого рода въ *Лизѣ*, героинѣ „Дворянскаго Гнѣзда“.

Обратимся-же къ анализу этихъ — загадочныхъ — женскихъ образовъ. Начнемъ съ *Зинаиды*.

Глава V.

То, что въ женской натурѣ мы называемъ „сухо“ ирраціональностью и „не сухо“ загадочностью, можетъ обнаруживаться двояко: или—въ явной непослѣдовательности и противорѣчивости душевныхъ движеній, или наоборотъ—въ слишкомъ большой ихъ послѣдовательности.

Превосходный образчикъ первой категоріи представляетъ намъ *Зинаида*, героиня повѣсти „Первая любовь“.

Зинаида полна противорѣчій, о ней нельзя судить по отдѣльнымъ моментамъ: нужно дочитать повѣсть до конца, необходимо прослѣдить различныя душевныя состоянія героини, сопоставить различныя проявленія ея личности, и только тогда можно вынести окончательное сужденіе о ней, построенное, однако, не на примиреніи или сглаживаніи противорѣчій, а напротивъ—на рѣзкомъ ихъ опредѣленіи. Въ зависимости отъ этого характера натуры, сотканной изъ внутреннихъ противорѣчій, находится и самый способъ ея изображенія. Тургеневъ не могъ-бы нарисовать Зинаиду тѣмъ способомъ, какимъ изображенъ, напримѣръ, главный герой повѣсти (отецъ рассказчика) и также, какъ увидимъ ниже, Лиза въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“. Я упоминалъ объ этомъ приѣмѣ въ статьѣ о Базаровѣ („Харьк. Губ. Вѣдом.“), тамъ я назвалъ его въ своемъ родѣ „фигурой умолчанія“: „дѣйствующее лицо“ почти не „дѣйствуетъ“, говоритъ очень мало, появляется на сценѣ мелькомъ; оно изображено мелкими, какъ-бы невзначай брошенными штрихами, какъ герой „Первой любви“, или просто описано, какъ Лиза,—и все-таки выступаетъ въ воображеніи читателя съ полной отчетливостью. Такъ изобразить Зинаиду невозможно: ее нужно почаще выводить на сцену, заставлять подольше оставаться на

ней; ее нужно показать и смѣющеюся, и плачущею, и кокеткою, и натурою серьезною. Необходимо одно за другимъ вывести на свѣтъ всѣ ея противорѣчія, чтобъ читатель все это видѣлъ собственными глазами, чтобы онъ все это прочувствовалъ. А главное — не „описывать“, а заставлятъ ее самое дѣйствовать, обнаружиться. На такое обнаруживаніе Тургеневъ былъ большой мастеръ. Зинаида передъ нами, какъ живая. Она дѣйствуетъ на насъ почти какъ живой человѣкъ, мы невольно подчиняемся обаянію ея чарующей, умной, даровитой женской натуры, глубоко сочувствуемъ ей въ горѣ, въ страданіяхъ, мы ее даже понимаемъ, — насколько вообще можно понимать „непонятное“, ирраціональное, загадочное.

Прочитавъ сцену, гдѣ Зинаида впервые появляется (гл. II), мы въ самомъ дѣлѣ убѣждаемся или выносимъ ясное впечатлѣніе, что въ этой дѣвушкѣ есть „что-то такое очаровательное, ласкающее, насмѣшливое и милое...“

Читая дальше (гл. IX), мы уже готовы, вслѣдъ за докторомъ Лушинымъ, опредѣлить ее, какъ бездушную кокетку, „актерскую натуру“ и притомъ съ большими задатками женской хищности и жестокости. Для нея первое удовольствіе — „стукать людей другъ о друга“, какъ она сама выражается. Этотъ приговоръ, повидимому, подтверждается и дальнѣйшими сценами, гдѣ показано, какъ она умѣетъ мучить своихъ поклонниковъ. Она мучитъ ихъ всѣхъ, — и тѣхъ къ кому расположена, и тѣхъ, кто ей безразличенъ или даже непріятенъ. Эти истязанія доставляютъ ей настоящее наслажденіе. За вычетомъ этого послѣдняго, ея кокетство является упражненіемъ совершенно безкорыстнымъ, въ родѣ „искусства для искусства“, хотя Тургеневъ и говоритъ, что „каждый изъ ея поклонниковъ былъ ей нуженъ“ (гл. IX). Всѣ они ей нужны не для какихъ-нибудь постороннихъ цѣлей (она ихъ не эксплуатируетъ: вѣдь нельзя-же считать эксплуатаціей, что, напримѣръ, Бѣловзоровъ доставилъ ей лошадь и принесъ котенка), а именно, какъ матеріалъ, на которомъ она можетъ упражнять и проявлять свою хищность и жестокость кокетки. Эта сторона выставлена на видъ очень ярко: такую Зинаида является почти на всемъ протяженіи повѣсти, которая, съ этой точки зрѣнія, могла-бы

быть названа повѣствованіемъ о сердечныхъ мукахъ и жестокихъ душевныхъ истязаніяхъ рассказчика, Бѣловзорова, Лушина и др. И если мы будемъ имѣть въ виду лишь эту такъ хорошо очерченную художникомъ сторону въ натурѣ Зинаиды, то останется только вышеприведенное опредѣленіе видоизмѣнить такъ: „въ этой бездушной, пустой, злой, жестокой кокеткѣ было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмѣшливое, милое...“ Въ этомъ еще нѣтъ ничего „загадочнаго“, и пожалуй, сама Полозова подойдетъ подъ такое опредѣленіе. Но не трудно видѣть, что, если-бы мы окончательно остановились на этомъ приговорѣ, то мы такъ же жестоко ошиблись бы, какъ докторъ Лушинъ, которому въ концѣ концовъ пришлось воскликнуть, „ударивъ себя по лбу: а я, дуракъ, думалъ, что она кокетка!“ (гл. XV).

„Во всемъ ея существѣ“ — читаемъ въ гл. IX — „живучемъ и красивомъ была какая-то особенно обаятельная смѣсь *хитрости и безпечности, искусственности и простоты, тишины и рѣзвости...*“ Эта смѣсь, свидѣтельствующая именно объ ирраціональности натуры, въ самомъ дѣлѣ проявляется съ большой наглядностью во всей исторіи Зинаиды, въ ея отношеніяхъ къ окружающимъ, въ ея поступкахъ. Держится она, повидимому, очень „просто“, безыскусственно, не прикидывается, не играетъ роли, и однакоже въ ея отношеніяхъ къ людямъ не трудно уловить нѣкоторое „себѣ на умѣ“, заднюю мысль, женское лукавство. Взять хотя-бы сцену съ котенкомъ въ гл. IV-й: всю эту сцену Зинаида „разыграла“, — она проявила здѣсь кокетство преднамѣренное, не то, которое присуще всякой хорошенькой женщинѣ и сказывается непроизвольно, а именно кокетство искусственное. И въ другихъ сценахъ она „рѣзвится“ не совсѣмъ просто, а съ расчетомъ, она ведетъ сложную игру. И за всѣмъ тѣмъ она несомнѣнно безпечна, и во всемъ ея существѣ даетъ себя чувствовать та ясность души, которую Тургеневъ назвалъ „тишиною“. Опредѣлить происхожденіе этой „тишины“ очень важно для выясненія натуры Зинаиды. Эта натура такова, что для нея величайшимъ благомъ представляется сохраненіе внутренней свободы. И пока Зинаида сохраняетъ свою внутреннюю свободу, она счастлива, спо-

койна, ясна. Во всѣхъ проявленіяхъ ея кокетства, ея „хищности“ отчетливо сказывается такой душевный мотивъ: „вотъ я васъ всѣхъ покорила и мучу, а сама—свободна, не мучусь, не раболопствую“. — „Нѣтъ,—говорить она,—я такихъ любить не могу, на которыхъ мнѣ приходится глядѣть сверху внизъ. Мнѣ надобно такого, который самъ-бы меня сломилъ... Да я на такого не наткнулась, Богъ милостивъ! Не попадусь никому въ лапы, ни-ни!“ (гл. IX). Въ этомъ отношеніи натура Зинаиды сходится съ натурою героя повѣсти (отца рассказчика), который говоритъ сыну: „самъ бери, что можешь, а въ руки не давайся, самому себѣ принадлежать—въ этомъ вся штука жизни“ (гл. VIII). Это сильная мужская натура, страстная и спокойная, деспотическая, самоувѣренная, и душа Зинаиды гармонически ритмуетъ съ нею своею женскою силою, страстностью и спокойствіемъ, — „тишиною“, женскою властностью и самобытностью.

Когда она полюбила этого человѣка, ея тишина сразу нарушилась. Чувствовать себя покоренною, потерять внутреннюю свободу, власть надъ собою—это для нея жестокий ударъ, хотя-бы это была любовь счастливая, взаимная. Ясному и сильному уму, каковъ Зинаидинъ, тяжело сознавать, что онъ теряетъ свою ясность и независимость. Гордой женскою натурѣ Зинаиды мучительно поступиться своей самостоятельностью. Вотъ почему первое открытіе серьезнаго чувства принесло ей страданія, а не радости. Она мучилась и негодовала, почти такъ, какъ Базаровъ, когда онъ протестовалъ противъ своего чувства къ Одинцовой. Вотъ между прочимъ одно мѣсто, гдѣ сказался подобный протестъ въ душѣ Зинаиды:

„Зинаида становилась все страннѣй, все непонятнѣй. Однажды я вошелъ къ ней и увидѣлъ ее сидящей на соломенномъ стулѣ, съ головой прижатой къ острому краю стола. Она выпрямилась... все лицо ея было обито слезами. „А! вы!—сказала она съ жестокой усмѣшкой. — Подите-ка сюда“. Я подошелъ къ ней: она положила мнѣ руку на голову и, внезапно ухвативъ меня за волосы, начала крутить ихъ. „Больно...“ — проговорилъ я наконецъ. „А! больно! а мнѣ не больно? не больно?—повторила она...“ (XII).

По такимъ намекамъ мы заключаемъ, что въ душѣ Зинаиды происходила жестокая борьба; эта душа какъ-бы раздвоилась на два враждебныхъ лагеря: въ одномъ сгруппировались всѣ силы ея свѣтлаго ума, ея гордой натуры, любовь къ независимости, къ внутренней свободѣ, въ другомъ-же было одно, новое чувство, страсть. И какъ ни протестовали элементы перваго лагеря, эта страсть все росла и росла, и надвигалась, какъ слѣпая сила, какъ нѣчто стихійное, неразумное, какъ ураганъ, который все сокрушаетъ на пути своемъ. Борьба окончилась полнымъ торжествомъ страсти, и Зинаида, эта своевольная, умная, гордая, самоувѣренная и сильная всѣми чарами женственности дѣвушка, превратилась въ рабу—своей страсти и любимаго человѣка, который въ концѣ-концовъ даже бьетъ ее. Вы скажете, что такое ослабленіе страстью и такое раболопство случаются весьма нерѣдко. Конечно, нерѣдко, но темное и неразумное явленіе отъ частаго повторенія не становится понятнѣе и разумнѣе. Страсть всегда нелогична, ирраціональна, загадочна, но въ иныхъ натурахъ ея появленіе, ея теченіе находится все-таки въ извѣстной гармоніи съ другими элементами души. При наличности такой гармоніи, весь процессъ пріобрѣтаетъ оттънокъ кажущейся рациональности. Въ силу такой иллюзіи, мы не находимъ ничего удивительнаго или загадочнаго въ томъ, что напр. сильное чувство любви овладѣло всею душою, парализовало всѣ ея силы въ женщинѣ страстной, мечтательной, живущей исключительно чувствомъ и слабой умомъ и волею. Характеръ загадочности становится замѣтенъ въ развитіи страсти не въ такихъ, а въ другихъ, болѣе рѣдкихъ, случаяхъ, къ числу которыхъ принадлежитъ и любовь Зинаиды. Героиня „Первой любви“ представляетъ собою превосходный образчикъ женской натуры, въ которой страсть не можетъ гармонировать съ другими элементами души и развивается непременно въ процессъ мучительной борьбы съ ними. Сильный, ясный и саркастическій умъ Зинаиды самъ по себѣ уже является большой душевной силою, враждебною страсти, какъ свѣтъ враждебенъ мраку. Иронія дѣйствуетъ отрезвляющимъ образомъ. Подмѣтитъ смѣшную или пошлую сторону человѣка и развѣнчаетъ его

однимъ мѣтимъ опредѣленіемъ, сдѣлать его смѣшнымъ въ своихъ глазахъ — это уже много значить, этимъ можетъ быть выиграно сраженіе. Зинаида, какъ мы знаемъ, отлично вооружена въ этомъ смыслѣ. Куда-же дѣвалась ея иронія, почему исчезла ея насмѣшка въ борьбѣ съ героемъ, которому она „попалась въ лапы?“ Да и помимо ироніи, вообще разносторонность и даровитость натуры это — сила, которая не даромъ присутствуетъ въ душѣ, это не балластъ, и всякому новому элементу, возникающему въ душѣ, будь это сильнѣйшая страсть, приходится такъ или иначе считаться съ тѣмъ, чего хочетъ большой, изящный умъ, къ чему влечетъ талантъ, что подсказываетъ воображеніе. Эти силы души всегда стремятся упорно отстаивать свои права, свою свободную дѣятельность, и для человѣка, ими одареннаго, нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ попасть въ такое положеніе, при которомъ эти силы упраздняются. Это равносильно потерѣ своей личности, своего „я“. А мы знаемъ, какъ дорожитъ и гордится Зинаида неприкосновенностью своего „я“, своей внутренней свободой. Къ тому-же нужно не забывать, что Зинаида — не ребенокъ. Ей 21 годъ, она хорошо знаетъ жизнь и людей, и обойти ее не легко. Она вполне сознаетъ, что ея любовь къ герою повѣсти счастья ей не дастъ, а принесетъ одни страданія, можетъ быть, гибель. Во всякомъ случаѣ, это будетъ любовь — мука. Она не хочетъ идти на эти мученія, она хотѣла-бы вырвать изъ сердца роковую страсть и не можетъ (см. напр. въ концѣ гл. IX). Конечно, страсть и нельзя „вырвать изъ сердца“. Но, казалось-бы, для такой богато-одаренной натуры, какъ Зинаида, возможенъ былъ-бы другой исходъ: подождать, пока страсть совершитъ свой циклъ и сама погаснетъ. Для такого, конечно, не легкаго душевнаго рѣшенія у Зинаиды есть достаточно душевныхъ данныхъ, и ума, и воли, и знанія людей, и гордости. Однакоже, такое рѣшеніе не было принято на внутреннемъ совѣтѣ душевныхъ элементовъ, и вотъ тутъ-то и сказала вся ирраціональность Зинаидиной натуры. Тотъ исходъ душевной драмы, на который мы указываемъ, непремѣнно осуществился-бы, если бы на мѣстѣ Зинаиды была Маріанна, самая „раціональная“ изъ всѣхъ тургеневскихъ женщинъ. Не трудно

было-бы принять и выполнить указанное рѣшеніе также Иринѣ или Еленѣ. Для Зинаиды оно оказывается невозможнымъ. Почему?

А вотъ почему. Страсть, прежде чѣмъ свершить свой цѣль и погаснуть, производитъ нѣкоторую революцію въ душѣ, нарушаетъ ея равновѣсіе, перетасовываетъ ея элементы. Такая пертурбація, производимая страстью, въ натурахъ болѣе рациональных не искажаетъ однакоже основного уклада души: ея устои остаются неприкосновенными, и всѣ существенныя черты характера, ума, нравственныхъ началъ, воли не подвергаются видимымъ измѣненіямъ. Ирина, напр., или Елена въ самый разгаръ страсти остаются все тѣми-же Ириной и Еленой, какими были до страсти и будутъ послѣ нея, — Ирина со всѣми своими недостатками, Елена со всѣми своими достоинствами. Въ періодъ страсти онѣ только живутъ болѣе напряженной, болѣе интенсивной жизнью. Бура проходитъ по верхамъ, не захватывая глубинъ. Совсѣмъ другое дѣло — Зинаида: она, подъ игомъ любви, радикально измѣняется, — она уже не та, она другая. Эта метаморфоза (какъ и вообще все содержаніе „Первой Любви“), превосходно изображена Тургеневымъ посредствомъ очень труднаго, но отлично удавшегося приѣма: безъ ума влюбленный въ Зинаиду юноша, отъ лица котораго ведется разсказъ, замѣчаетъ странную переѣмъ въ ней, и на каждомъ шагѣ ему приходится изумляться: онъ не узнаетъ прежнюю Зинаиду ¹⁾. Послѣ разныхъ перипетій и неожиданностей въ настроеніи Зинаиды, дѣло приняло наконецъ такой оборотъ, что молодому наблюдателю пришлось окончательно стать втупикъ. Зинаида вдругъ преобразилась въ тихую,

¹⁾ Трудность этого приѣма состоитъ въ слѣдующемъ: наблюденія юноши въ одно и то же время рисуютъ и его самого, и Зинаиду (не говоря уже о другихъ лицахъ). Взявъ форму разсказа отъ перваго лица, Тургеневъ отнялъ у себя возможность изображать Зинаиду независимо отъ субъективныхъ впечатлѣній разсказчика. Послѣдній въ свою очередь какъ-бы двоятся: онъ повѣствуетъ исторію своей первой любви много лѣтъ спустя, уже пожилымъ человѣкомъ. И такъ, Зинаида (и другія лица) представлены отраженными призмой личныхъ впечатлѣній юноши, а эти послѣднія пропущены сквозь призму воспоминаній и ума пожилого человѣка. Все это превосходно выдержано, и по мастерству исполненія „Первая Любовь“ есть одно изъ самыхъ совершенныхъ созданій Тургенева, который, если не ошибаюсь, и самъ выражалъ такое мнѣніе.

спокойную, чуждую кокетства дѣвушку, — какъ будто та бойкая, шумная, искрящаяся жизнь, которая ключемъ была въ ней, вдругъ угомонилась, и отъ той „смѣси хитрости и безпечности, искусственности и простоты, тишины и рѣзвости“ осталась только тишина да простота. Юноша недоумѣвалъ. „Неужели, думалъ онъ, эта кроткая, разсудительная дѣвушка — та самая Зинаида, которую я зналъ?“ (гл. XV). Эта коренная перемѣна произошла вскорѣ послѣ того, какъ Лушину пришлось воскликнуть: „а я, дуракъ, думалъ, что она кокетка! Видно — жертвовать собою сладко — для иныхъ“ (гл. XV), — а это признаніе Лушина въ свою очередь хронологически слѣдовало за прогулкой верхомъ (Зинаиды съ Петромъ Васильевичемъ, отцомъ рассказчика), переданной въ гл. XIV. И такъ, вотъ прецедентъ метаморфозы, — кульминаціонный пунктъ въ развитіи страсти, который не могъ не произвести извѣстной, болѣе или менѣе рѣзкой перемѣны въ душевной экономіи Зинаиды. Но почему онъ привелъ именно къ „тишинѣ“, къ „кротости и разсудительности“, а не напр. къ отчаянію, къ апатіи, или-же наоборотъ — къ разгулу страсти? Отвѣта на этотъ вопросъ нужно искать въ особенностяхъ натуры Зинаиды. Вообразимъ опять на ея мѣстѣ, въ тѣхъ-же условіяхъ, Ирину, Елену, Маріанну, вообще любую изъ тѣхъ женщинъ, которыхъ мы называли „относительно-раціональными“, — и нѣтъ сомнѣнія, — мы не найдемъ возможнымъ допустить, чтобы у нихъ явилась — при данныхъ обстоятельствахъ — такая перемѣна въ духѣ „кротости и разсудительности“. Дѣло въ томъ, что мы видимъ здѣсь не только смѣну настроеній, но и нѣкоторое измѣненіе личности. Оно, конечно, не доходитъ до предѣловъ патологическаго *раздвоенія* личности, но и не удерживается въ границахъ нормальной смѣны настроенія. Оно все-таки захватываетъ самую натуру, являя ее въ новомъ, необычномъ видѣ; оно какъ будто коснулось даже темперамента и вообще представляется процессомъ, который приходится помѣстить гдѣ-то посрединѣ, на перепутьи между явленіями здоровой и больной психи. Если это такъ, то метаморфоза въ направленіи „кротости и разсудительности“ произошла потому, что подъ воздѣйствіемъ душевнаго

кризиса въ натурѣ Зинаиды должна была послѣдовать перетасовка элементовъ, такъ что тѣ, которые прежде были на виду и являлись заправляющими, принуждены были стушеваться, а тѣ, которые были заслонены и оставались на второмъ планѣ, теперь выступили наружу. Душа Зинаиды, какъ мы знаемъ, соткана изъ противорѣчій. Въ ней заслоняють, подавляютъ другъ друга, чередуются, борются или совмѣщаются не однородные, а разнородные, взаимно-противорѣчивые элементы. И вотъ, если прежде преобладающими, задающими тонъ всей душѣ были рѣзвость, кокетство, хищность, женское лукавство и пр., то теперь выступать въ той же роли простота, кротость, разсудительность. Теперь ихъ очередь. Налетѣлъ ураганъ, взбаламутилъ душу, и то, что было на поверхности, опустилось вглубь, а то, что таилось въ глубинѣ, поднялось наверхъ. Это психическій процессъ — столь же ирраціональный, какъ и процессы физическіе или химическіе.

Такое, говоря метафорически, перемѣщеніе психическихъ элементовъ не нанесло ущерба тому началу, которое было чуть-ли не важнѣйшимъ источникомъ чаръ и обаянія Зинаиды. Я имѣю въ виду ея необыкновенный умъ, ея исключительную даровитость. Эти силы остались нетронутыми, психологическій фактъ, имѣющій огромное значеніе для правильнаго пониманія не только Зинаиды, какъ индивидуальнаго образа, но и вообще тѣхъ сторонъ женской души, которыхъ обобщеніемъ является этотъ образъ.

Зинаида въ видѣ „кроткой и разсудительной дѣвушки“ это уже—не та, прежняя Зинаида, но эта другая Зинаида однакоже унаслѣдовала отъ прежней весь ея умъ, всю силу ея воображенія, всѣ ея таланты. И вотъ, сознавая это, чувствуя себя попрежнему обладательницей этихъ сокровищъ, Зинаида поддается весьма понятной иллюзіи, будто ея внутренняя свобода, индивидуальное „я“, остались ненарушенными, будто-бы новое чувство, противъ котораго она вначалѣ такъ возмущалась, такъ протестовала, стало наконецъ неотъемлемой принадлежностью ея души. Она, наконецъ, примирилась съ этимъ чувствомъ и занесла его не въ расходъ, а въ приходъ своей душевной бухгалтеріи. И ей теперь кажется, что оно ничуть не нарушило независимости и само-

стоятельности ея личности, а только послужило къ ея обогащенію. Оттуда между прочимъ внутренній міръ, отлично гармонирующій съ той тишиною и простотою, которая молодой ея обожатель принялъ за „кротость и разсудительность“. Молодой обожатель по-своему правъ: Зинаида теперь не „дурачится“, не шалить, не кокетничаетъ напропалую — какъ прежде, даже совсѣмъ не кокетничаетъ; она держится просто, стала серьезна, словно прислушивается къ какому-то внутреннему голосу, старается понять себя самое, подвести итогъ и дать санкцію тому, что она чувствуетъ. Въ чудномъ разсказѣ Зинаиды про королеву (гл. XVI) мы слышимъ изъ ея устъ этотъ итогъ и эту санкцію. „Представьте себѣ — фантазируетъ она — великолѣпный чертогъ, лѣтнюю ночь и удивительный балъ. Балъ этотъ даетъ молодая королева... Мужчины всѣ влюблены въ королеву. Она высока и стройна; у ней маленькая діадема на черныхъ волосахъ...“ Тутъ рассказчикъ взглянулъ на Зинаиду — „и въ это мгновеніе (говоритъ онъ) она мнѣ показалась настолько выше всѣхъ насъ, отъ ея бѣлаго лба, отъ ея недвижимыхъ бровей вѣяло такимъ свѣтлымъ умомъ и такою властью, что я подумалъ: ты сама эта королева“. „Королева думаетъ (продолжаетъ свой разсказъ Зинаида): вы всѣ, господа, благородны, умны, богаты, вы окружили меня, вы дорожите каждымъ моимъ словомъ, вы всѣ готовы умереть у моихъ ногъ, я владѣю вами... а тамъ, возлѣ фонтана, возлѣ этой плещущей воды, стоитъ и ждетъ меня тотъ, кого я люблю, кто мною владѣетъ. На немъ нѣтъ ни богатаго платья, ни драгоценныхъ камней, никто его не знаетъ, но онъ ждетъ меня и увѣренъ, что я прийду — и я прийду, и нѣтъ такой власти, которая-бы остановила меня, когда я захочу пойти къ нему, и остаться съ нимъ, и потеряться съ нимъ тамъ, въ темнотѣ сада, подъ шорохъ деревьевъ, подъ плескъ фонтана...“

Такъ санкціонировала Зинаида свое новое чувство, — это былъ апоѳеозъ ея любви. Но эта санкція и апоѳеозъ были основаны на иллюзіи, на самообманѣ, о которомъ я упомянулъ выше. Оказалось, что Зинаида въ своемъ внутреннемъ мірѣ вовсе не королева, а раба, — и ея рабству суждено было продолжаться до

тѣхъ поръ, пока наконецъ страсть окончательно не перегорѣла. Въ концѣ повѣсти мы узнаемъ, что Зинаида оправилась ото всѣхъ этихъ душевныхъ потрясеній, освободилась отъ ига страсти, вышла замужъ, и для нея, повидимому, начиналась новая — лучшая — жизнь. Случайная смерть прерываетъ это богатое существованіе, которому, быть можетъ, предстояло... развернуться на болѣе широкомъ поприщѣ... блистать въ салонахъ и... попрежнему „стучать людей другъ о друга“...

Если такая именно будущность предстояла ей, то она отлично сдѣлала, что умерла заранѣе. Я говорю это о Зинаидѣ, какъ художественномъ образѣ. Для цѣлей художественности преждевременная смерть Зинаиды такъ-же необходима, какъ и безвременная кончина Базарова.

Подведемъ итогъ. Что такое въ концѣ концовъ Зинаида, какъ художественный образъ? Въ чемъ состоитъ главный интересъ этого образа? Для апперцепціи какихъ идей, какого порядка мыслей можетъ онъ служить?

Въ Зинаидѣ прежде всего данъ образецъ тѣхъ сторонъ или свойствъ женской души, на которыхъ основано обаяніе женственности. Но на ряду съ этимъ умъ и общая даровитость натуры являются столь-же существенными въ ней чертами, какъ и ея женское обаяніе. Въ соединеніи этихъ двухъ началъ и въ ихъ интимномъ соотношеніи и заключенъ главный интересъ психологическаго типа Зинаиды. Вотъ и посмотримъ, какъ именно они соединяются и въ какихъ отношеніяхъ стоятъ другъ къ другу.

Умъ и даровитость натуры — это такая душевная сила, которая, при всей своей рѣзко-выраженной индивидуальности, всегда стремится выйти за предѣлы личности. Большому уму и таланту тѣсно и душно въ замкнутомъ, маленькомъ мірѣ личной жизни, — имъ нужны разнообразныя внѣшнія впечатлѣнія, имъ необходимы живыя связи съ людьми и широкіе общечеловѣческіе интересы. Чѣмъ больше умъ, чѣмъ разностороннѣе дарованія человѣка, тѣмъ вреднѣе для него, какъ существа мыслящаго и чувствующаго, замыкаться въ самомъ себѣ — тѣмъ необходимѣе для

него — „жизни вольнымъ впечатлѣніямъ душу вольную отдать, человѣческимъ стремленіямъ въ ней проснуться не мѣшать“.

И если мы назовемъ индивидуальное „я“, эту точку, въ которой совершается координація разнообразныхъ составныхъ элементовъ психи, — *центромъ* личности, то сила умственная представится намъ силой *центробѣжной*: ея личность расширяется, отвлекается отъ своего „я“, ея она перевоплощается и становится въ широкомъ смыслѣ человѣчной. Само собою разумѣется, съ тѣмъ вмѣстѣ возвышается абсолютная *цѣнность* личности, и создаются внутреннія условія, въ силу которыхъ *можетъ* осуществиться ея *общественная стоимость*. Не трудно видѣть, что это и есть прямой и вѣрный путь къ достиженію того, что мы называли *раціональностью* въ душевномъ укладѣ личности. Но раціональность натуръ богато одаренныхъ должна быть отличаема отъ той, какая свойственна людямъ ограниченнымъ, — во всякомъ случаѣ она труднѣе достигается. Сами по себѣ умственные силы въ значительной долѣ ирраціональны, *можетъ* быть, — не меньше чувствъ и страстей. Память и воображеніе, эти важнѣйшія основы мысли, а равно талантъ и геній отмѣчены всѣми признаками слѣпой, стихійной силы, и только логическая сторона ума вноситъ порядокъ и разумность въ дѣятельность этой душевной сферы. Но логическая мысль *можетъ* вносить сюда этотъ порядокъ лишь при условіи, чтобы ирраціональнымъ силамъ ума данъ былъ надлежащій исходъ, чтобы онѣ не оставались на привязи индивидуального „я“, а развивались въ томъ центробѣжномъ направленіи, о которомъ я говорю. При наличности этихъ условій создается устойчивость умственного равновѣсія личности, — та крѣпость, та ясность духа, та властность мысли, которыя и производятъ раціональный укладъ природы и съ тѣмъ вмѣстѣ служатъ главнымъ основаніемъ правильнаго функціонированія *волевого* аппарата. А здоровье воли является для сферы желаній, чувствъ и страстей такимъ-же регулирующимъ и вносящимъ порядокъ началомъ, какъ здоровая и власть имѣющая логика для ума, таланта и генія. Такъ создается раціональность и душевное равновѣсіе богато одаренной природы, мыслящей и чувствующей.

Прямо-противоположныя явленія будутъ имѣть мѣсто, если выдающіяся умственные силы человѣка, вмѣсто центробѣжнаго, получаютъ направленіе центростремительное, — если онѣ будутъ дѣйствовать не иначе какъ постоянно оглядываясь на собственное „я“ данной личности. Это бываетъ у натуръ очень эгоистическихъ въ собственномъ смыслѣ этого слова, а также — у тѣхъ, которыхъ правильнѣе было бы назвать „эгоцентрическими“. Эти послѣднія могутъ и не быть эгоистами въ грубомъ смыслѣ, но о чемъ бы онѣ ни думали, къ чему бы ни стремились, чѣмъ бы ни были заняты, — всегда у нихъ къ этимъ думамъ, стремленіямъ, дѣламъ примѣшивается неотвязчивая мысль о собственной особѣ. Такая неспособность отдѣлаться отъ самого себя проявляется въ формахъ весьма разнообразныхъ, — смотря по человѣку. У лицъ съ призваніемъ общественнаго или политическаго дѣятеля она выражается обыкновенно въ чрезмѣрномъ честолюбіи и авторитарности. У художниковъ она сказывается въ пристрастіи къ изображенію самого себя, т. е. въ субъективномъ направленіи творчества. У мыслителей и ученыхъ она ведетъ нерѣдко къ упорному отстаиванію quand même своихъ теорій, потому только что онѣ *свои*. — Само собой разумѣется, эгоцентрическій человѣкъ можетъ быть надѣленъ и добрымъ сердцемъ, и всевозможными доблестями, — его слабая сторона не здѣсь, а въ неправильномъ функціонированіи умственныхъ силъ, не пользующихся столь необходимой для нихъ внутренней свободой: она нарушается назойливымъ внѣшательствомъ центрального „я“ человѣка въ дѣятельность его мысли. — Конечно, весьма различны бываютъ степени эгоцентризма, такъ что далеко не всегда онъ ведетъ къ видимому нарушенію раціональности и душевнаго равновѣсія съ возможными послѣдствіями этого нарушенія. Чтобы рѣзко обозначились эти проявленія ненормальныхъ путей ума, необходима болѣе или менѣе высокая степень эгоцентризма, какая наблюдается напр. у лицъ, одержимыхъ маніей величія.

Но совсѣмъ особую разновидность представляетъ собою эгоцентризмъ *женскій*. Въ *Зинаидѣ* мы находимъ воплощеніе его типичныхъ чертъ.

Прежде всего замѣтимъ, что у мужчинъ, даже наиболѣе эгоцентричныхъ, умъ и талантъ все-таки *обязываютъ* мыслить и творить или по крайней мѣрѣ стремиться къ мысли и творчеству, и такъ или иначе они выходятъ за предѣлы личности, хотя и обузданные постояннымъ обращеніемъ къ ней. У женщинъ сплошь и рядомъ умъ и талантъ ровно ни къ чему не обязываютъ и остаются мертвымъ капиталомъ, однимъ изъ случайныхъ украшеній личности. Вотъ, напр., у Зинаиды весь ея умъ и вся ея даровитость служатъ только для вящаго обаянія ея очаровательнаго образа. Они идутъ на усиленіе ея женственности, — безъ нихъ Зинаида была бы не такъ обворожительна. Иначе говоря, эти силы души направлены внутрь, а не на внѣшній міръ, и — достойныя лучшей участи — обречены служить дѣлу, несвойственному ихъ природѣ. Онѣ поработены началомъ женственности и низведены на степень одного изъ украшеній женской личности. Вслѣдствіе этого увеличивается, конечно, обаятельность *женщины*, но очень мало повышается безотносительная цѣнность человѣка. Съ тѣмъ вмѣстѣ не становится возможнымъ созданіе его общественной стоимости. — Зинаида остается прежде всего женщиной, чѣмъ съ успѣхомъ можно быть и съ умомъ курицы. Нравится, покорять сердца, „стучать людей другъ о друга“, любить и быть любимой, потомъ болѣе или менѣе благополучно выйти замужъ — для всего этого нѣтъ надобности обладать умственными дарами Зинаиды, и напр. хотя-бы Зоя въ „Наканунѣ“, Сипягина въ „Нови“ и многія другія не хуже Зинаиды осуществляютъ такое „призваніе“ женщины. И съ точки зрѣнія подобнаго „призванія“ умственные силы Зинаиды оказываются ненужной роскошью, въ противорѣчіе съ самой природой этихъ силъ. Это внутреннее противорѣчіе выступить въ своемъ настоящемъ свѣтѣ, если вспомнимъ, что выдающіяся качества ума, воображенія, таланта представляютъ собою нѣчто очень цѣнное, какъ само по себѣ, такъ и по своей рѣдкости, и вотъ это самоцѣнное и рѣдкое въ сущности обезцѣнивается, теряетъ свою самобытность и, вмѣсто того, чтобы сіять своимъ собственнымъ свѣтомъ, блистаетъ заемными, отраженными лучами женскихъ чаръ. Выходитъ такъ, что Зинаида

умна и даровита для того только, чтобы быть еще женственнѣе. Это такъ-же нелогично, такъ-же внутренне-противорѣчиво, какъ если-бы напр. мужчина захотѣлъ быть умнымъ, даровитымъ, нравственно-чистымъ и т. д. для того только, чтобы быть еще „мужественнѣе“. Умъ данъ для мысли, а не для „женственности“ или „мужественности“, талантъ—для творчества, нравственный укладъ—для душевной чистоты и добрыхъ дѣлъ. Всѣ три высшія стороны духа въ самихъ себѣ заключаютъ свою цѣль и вовсе не призваны содѣйствовать поддержанію или вящему изощренію такихъ біо-психическихъ формацій, какъ „женственность“ и „мужественность“.

Подчиненіе умственныхъ силъ біо-психическому началу, въ высокой степени ирраціональному, не можетъ не оказывать подавляющаго вліянія на раціональную сторону мысли. Оттуда — у женщинъ — такъ называемая „женская логика“.

Итакъ, на вопросъ: что собственно апперцепировано художественнымъ типомъ Зинаиды? — мы отвѣтимъ такъ: 1) психологія богато и разнообразно одаренной женской души, подчиненіе ума власти женственности и вытекающая отсюда общая ирраціональность натуры; 2) порядокъ мыслей, основанныхъ на анализѣ этихъ психологическихъ явленій и 3) извѣстное отношеніе къ женщинѣ, къ вопросу о ея призваніи, положеніи, умѣ и т. д. Второе и третье могутъ быть весьма различны — смотря по человѣку. Художественные образы, какъ извѣстно, не суть неподвижныя нормы: ихъ обобщающая сила, размѣры ихъ примѣняемости, ихъ способность возбуждать извѣстный порядокъ идей измѣняются отъ человѣка къ человѣку и во времени. Для одного данный художественный образъ служитъ орудіемъ апперцепціи извѣстнаго, болѣе или менѣе ограниченнаго круга явленій; для другого, человѣка съ большимъ опытомъ жизни, съ большей вдумчивостью, тотъ же образъ будетъ служить обобщеніемъ и объясненіемъ болѣе широкаго круга явленій, и вызоветъ рядъ мыслей, какихъ не вызывалъ у перваго. Съ лѣтами, съ развитіемъ ума и жизненнымъ опытомъ человѣка увеличивается для него апперцепирующая сила художественнаго образа. Также точно — и для человѣчества. Шекспировскій Гамлетъ намъ, людямъ XIX вѣка, говоритъ несравненно

больше, чѣмъ говорилъ онъ современникамъ Шекспира. Въ этомъ и состоитъ живучесть или, что то же, безсмертіе художественныхъ типовъ. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что образъ Зинаиды съ вѣками будетъ расти, т. е. лѣтъ черезъ сто онъ будетъ говорить людямъ мыслящимъ больше, чѣмъ говорить намъ.

Намъ же онъ внушаетъ разное: тѣмъ изъ насъ, которые стоятъ на точкѣ зрѣнія обожателей Зинаиды, онъ служитъ преимущественно воплощеніемъ чаръ женственности и говоритъ весьма немного. Для пишущаго эти строки онъ является стимуломъ, побуждающимъ мыслить въ направленіи необходимости освобожденія ума женщины изъ-подъ власти женственности. Пусть эта власть пока есть *правило*. Но мы не имѣемъ никакихъ основаній, мы не имѣемъ ни логическаго, ни нравственнаго *права* возводить это *правило* въ *законъ*. Изъ изученія психологической природы женщины подобнаго закона вывести нельзя. Такое изученіе приводитъ къ выводу, что слабыя стороны женскаго ума коренятся не въ немъ самомъ, а зависятъ отъ его подчиненія гнету женственности, и что онъ можетъ быть освобожденъ систематической (изъ поколѣнія въ поколѣніе) культурою мысли, при помощи широкой постановки высшаго женскаго образованія. Это освобожденіе необходимо, хотя бы потому, что

Надъ вольной мыслью Богу не угодно
Насиліе и гнеть...

Мысль есть высшее, совершеннѣйшее начало духа. „Женственность“, какъ и „мужественность“, — одно изъ низшихъ, биопсихическихъ, его укладовъ. Гнетъ этого низшаго, коренящагося въ порядкѣ явленій физиологическихъ, надъ высшимъ, психическимъ по преимуществу, есть явленіе уродливое, внутренне противорѣчивое: въ себѣ самомъ оно носитъ свое осужденіе.

Теперь намъ предстоитъ рассмотреть иное проявленіе подчиненности женскаго ума, иной „гнетъ надъ мыслью“, — и мы это сдѣлаемъ при помощи анализа другого типа ирраціональной женской натуры, — типа, воплощеннаго Тургеневымъ въ образъ *Веры*, героини „Фауста“.

Глава VI.

I.

Вѣра, героиня тургеневскаго „Фауста“, представляет собою любопытный образчикъ ирраціональной женской натуры, во многомъ противоположной натурѣ героини „Первой любви“.

Отличительныя особенности душевнаго уклада Вѣры сводятся къ слѣдующему. Во-первыхъ, это—женщина, получившая путемъ наслѣдственной передачи, большой запасъ скрытыхъ страстей. Во-вторыхъ, Вѣра—личность не заурядная: она надѣлена выдающимися дарами ума, чувства и характера. Наконецъ, въ третьихъ, необходимо отмѣтить тотъ фактъ, что почти всѣ эти элементы ея души (кромѣ характера и стороны нравственной) находятся въ состояніи недѣятельномъ, связанномъ, какъ бы загнаны внутрь, но однакоже отнюдь не изъятые изъ душевнаго обихода. Страсти напр. были долго подавлены въ душѣ Вѣры, онѣ безмолвствовали, но Вѣра никогда не переставала быть натурой страстной, и въ любви ея къ герою повѣсти такой укладъ ея души обнаружился съ полной очевидностью.

Онъ былъ *наслѣдственнымъ*. Тургеневъ, повидимому, придавалъ большое значеніе этой чертѣ и потому говорить съ нѣкоторой подробностью о предкахъ героини, выставляя на видъ ту роль, большею частью трагическую, какую играли въ ихъ жизни и судьбѣ страстные чувства и страстный темпераментъ. Сюда относятся въ письмѣ второмъ подробности о дѣдѣ Вѣры (отцѣ ея матери) Ладановѣ, долго жившемъ въ Италіи, гдѣ и родилась его дочь, мать Вѣры, „отъ простой крестьянки изъ Албано, которую, на другой день послѣ ея родовъ, убилъ транстеверинецъ, ея женихъ, у котораго Ладановъ ее похитилъ“. Объ этой итальян-

янкѣ мы можемъ составить опредѣленное понятіе по описанію ея портрета (въ концѣ письма 6-го): „...Что за лицо было у итальянки! сладострастное, раскрытое, какъ расцвѣтшая роза, съ большими влажными глазами на выкатѣ и самодовольно-улыбавшимися, румяными губами! Тонкія чувственные ноздри, казалось, дрожали и расширялись, какъ послѣ недавнихъ поцѣлуевъ; отъ смуглыхъ щекъ такъ и вѣяло зноемъ и здоровьемъ, роскошью молодости и женской силы... Этотъ лобъ не мыслилъ никогда, да и слава Богу!...“ Описаніе оканчивается такъ: „И что всего удивительнѣе: глядя на этотъ портретъ, я вспомнилъ, что у Вѣры, несмотря на совершенное несходство очертаній, мелькаетъ иногда что-то похожее на эту улыбку, на этотъ взглядъ... Да, повторяю: ни она сама (Вѣра), ни другой кто на свѣтѣ не знаетъ еще всего, что таится въ ней...“ Безъ сомнѣнія, Вѣра, въ жилахъ которой текла эта итальянская кровь крестьянки изъ Албано, унаслѣдовала и часть этихъ жгучихъ страстей, этого южнаго темперамента. Но только у Вѣры они скрыты и подавлены, обузданы, и съ тѣмъ вмѣстѣ „ея лобъ“ мыслить — и слава Богу!

Мать Вѣры, Ельцова, судя по всему, была натура очень страстная, способная, какъ и ея отецъ, къ безумнымъ увлеченіямъ; но она боялась собственныхъ своихъ страстей и обуздавала ихъ силою ума, далеко не заурядного, и характера, очень сильного. Разсказчикъ характеризуетъ ее такъ: „Я боюсь жизни, — сказала она мнѣ однажды. И точно, она ея боялась, боялась тѣхъ тайныхъ силъ, на которыхъ построена жизнь, и которыя изрѣдка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, надъ кѣмъ онѣ разыграются! Страшно сказались эти силы Ельцовой: вспомни смерть ея матери, ея мужа, ея отца...“ (Письмо 2-е).

Итакъ, страстность чувствъ (въ томъ числѣ и отцовскихъ и материнскихъ ¹⁾) и темперамента была наслѣдственной, фамиліной чертою въ родѣ Вѣры, и этотъ укладъ души, если онъ не урав-

¹⁾ Ладановъ безумно любилъ свою дочь и возненавидѣлъ ее, когда она бѣжала съ Ельцовымъ. Онъ умеръ, не простивъ ее. Ельцова также страстно любила свою дочь и посвятила себя ея воспитанію.

новѣшенъ другими силами, уже самъ по себѣ способенъ сообщать всей натурѣ характеръ ирраціональности.

Но этимъ не исчерпывается еще содержаніе того душевнаго наслѣдія, которое досталось Вѣрѣ отъ матери и дѣда. Въ его составъ входили еще два элемента: стремленіе къ самообузданію и предрасположеніе ко всему таинственному. Ладановъ, вернувшись въ Россію, послѣ трагической смерти итальянки, „не только изъ дома, изъ кабинета своего не выходилъ, занимался химіей, анатоміей, кабалистикой, хотѣлъ продлить жизнь человѣческую, воображалъ, что можно вступать въ сношенія съ духами, вызывать умершихъ“. Въ свою очередь, Ельцова, овдовѣвъ, „посвятила весь свой досугъ на воспитаніе дочери и почти никого не принимала...“ „Все у ней дѣлалось по системѣ...“ „...Она до того приучила себя не давать воли своимъ чувствамъ, что даже стыдилась выказать страстную любовь свою къ дочери... Помню одно ея слово: я какъ-то сказалъ ей, что всѣ мы, современные люди, надломленные...—Надламывать себя не для чего, промолвила она,—надо всего себя переломить, или ужъ не трогать...“ (Письмо 2-е). Что Ельцова не была чужда тѣхъ-же предрасположеній, во власти которыхъ былъ ея отецъ, это видно хотя-бы изъ того, отчасти суевѣрнаго, страха передъ „тайными силами жизни“, о которомъ только что была рѣчь.

Не трудно видѣть, что эти два душевныхъ стремленія (къ самообузданію и къ таинственному) въ данномъ случаѣ столь-же ирраціональны, какъ и та страстность, противъ которой они направлены. Они явились какъ реакція противъ этой послѣдней, какъ сила, которая, будучи вызвана другою силою, носитъ въ себѣ всѣ основныя черты ея. Оба стремленія, о которыхъ идетъ рѣчь, суть *чувства*, и притомъ—страстныя. Ладановъ запирается въ кабинетъ и погружается въ химію и анатомію—движимый вовсе не безстрастными стремленіями ума, не въ качествѣ ученаго и мыслителя, а—какъ аскетъ, вдохновляемый страстнымъ желаніемъ спастись отъ страстей и тревоженій жизни. Сама „химія“ и „анатомія“, которыми онъ занимается, конечно, весьма далеки отъ трезвой и точной науки, способной въ самомъ дѣлѣ

дать ходъ и преобладаніе раціональнымъ силамъ ума, вѣдь Ладановъ не отдѣляетъ эти „науки“ отъ кабалистики и вызыванія духовъ. Ладановъ—это въ нѣкоторомъ родѣ Фаустъ, съ той только разницею, что гетевскій Фаустъ отъ алхиміи, вызыванія духовъ и тщетныхъ усилій проникнуть въ тайну бытія переходитъ въ страстямъ и „тайнымъ силамъ жизни“, жертвою которыхъ и падаетъ, Ладановъ же, наоборотъ, отъ страстей, отъ жизни, отъ любви спасается въ алхимию и кабалистику. Вообще Ладановъ, если можно такъ выразиться, написанъ на мотивъ Фауста, какъ и вся повѣсть. Этотъ мотивъ, въ видѣ увертюры, звучитъ уже въ самомъ началѣ разсказа, когда герой находитъ въ своей библіотекѣ старое изданіе гетевского Фауста и принимается перечитывать давно знакомыя сцены. „Какъ подѣйствовала на меня,—пишетъ онъ,—великолѣпная первая сцена! Появленіе Духа Земли, его слова, помнишь: „на жизненныхъ волнахъ, въ вихрѣ творенія“, возбудили во мнѣ давно-неизвѣданный трепетъ и холодъ восторга...“ (Письмо 1-е). Вся повѣсть представляетъ собою какъ-бы провѣрку и разработку психологической темы „Фауста“ на иныхъ натурахъ, другой среды и эпохи, и прежде всего на женской натурѣ, олицетворенной въ образѣ Вѣры.

Въ связи съ этимъ осложняется и наша задача: намъ придется для освѣщенія натуры Вѣры обратиться къ психологіи гетевского „Фауста“. Мы это сдѣлаемъ ниже, а теперь у насъ на очереди вопросъ о *воспитаніи* Вѣры.

Этотъ вопросъ столь-же важенъ, какъ и вопросъ о психологическомъ наслѣдіи. Послѣднее, какъ мы знаемъ уже, состояло изъ задатковъ страстности чувствъ, стремленія или склонности къ самообузданію и предрасположенія къ таинственному (Вѣра подвержена галлюцинаціямъ и необъяснимымъ страхамъ и вообще суевѣрна). Излишне пояснять, что такіе устои души совершенно *ирраціональны*. Вотъ и посмотримъ, что именно было внесено въ эту ирраціональную душу своеобразнымъ воспитаніемъ, которое получила Вѣра.

Ельцова знала, что ея дочь получила задатки натуры страстной, бурной, увлекающейся, и поставила себѣ задачей во что-

бы то ни стало парализовать эти задатки, предупредить возможный въ будущемъ взрывъ чувствъ. Съ этою цѣлью она старалась устранять все, что такъ или иначе дѣйствуетъ на воображеніе, „а потому ея дочь до 17-лѣтняго возраста не прочла ни одной повѣсти, ни одного стихотворенія“. Взамѣнъ того, она старалась развить умъ дочери изученіемъ такихъ безстрастныхъ и не волнующихъ воображеніе „предметовъ“, какъ естественная исторія и географія. На ряду съ этимъ она оказывала огромное нравственное вліяніе на Вѣру: „дочь любила ее и вѣрила ей слѣпо. Стоило г-жѣ Ельцовой дать ей книжку и сказать: вотъ этой страницы не читай—она скорѣе предыдущую страницу пропустить, а ужъ не заглянетъ въ запрещенную“. (Письмо 2-е).

Не трудно показать, что такая система воспитанія и образованія была основана на вопіющихъ психологическихъ ошибкахъ и только кажущимся образомъ приводила къ предположеннымъ результатамъ. Вѣра, подѣ вліяніемъ матери и полученнаго воспитанія, казалось, въ самомъ дѣлѣ стала дѣвушкою и потомъ женщиною безстрастной, спокойной, разсудительной, ясной и уравновѣшенной. Но это только такъ казалось. Въ дѣйствительности она вышла не безстрастной, а только не знающей скрытыхъ въ себѣ самой страстей; воспитаніе, ей данное, не устранило, а напротивъ увеличило грозящую съ этой стороны опасность, развѣвивъ невѣдѣніе ея. Спокойствіе, ясность души Вѣры, основанныя на этомъ блаженномъ невѣдѣніи, были, по необходимости, обманчивыми и временными, а ея душевное равновѣсіе оказалось крайне неустойчивымъ.

Вотъ и посмотримъ, въ чемъ именно состояли эти роковыя ошибки матери.

Прежде всего Ельцова сдѣлала грубую ошибку въ области элементарной психологіи. Она хотѣла развить умъ дочери на счетъ страстныхъ чувствъ, а *потому* устраняла все, что дѣйствуетъ на *воображеніе*: очевидно, Ельцова думала, что воображеніе или цѣликомъ принадлежитъ къ сферѣ чувствованій, или, по крайней мѣрѣ, есть душевная сила, находящаяся въ преимущественномъ соотношеніи, въ особой близости съ этою сферой. Ельцова не подозрѣ-

вала, что воображеніе есть неотъемлемая часть ума, и что нѣтъ никакой возможности развивать умъ, подавляя воображеніе. Она не знала, что упражняя, хотя-бы при помощи географіи и зоологій, *память*, эту психическую основу воображенія, она ео ipso даетъ пищу и этому послѣднему, и что, развившись и окрѣпнувъ, сперва на описательномъ естествознаніи, оно впослѣдствіи можетъ перенести свою дѣятельность и въ другія сферы. Вторая ошибка состояла въ ложномъ взглядѣ, будто можно потушить страсти путемъ суженія и ограниченія сферы мысли, искусственно отвлекаемой отъ всѣхъ вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ страстямъ человѣческимъ, и питаемой исключительно „сухими“ географическими и естественно-историческими свѣдѣніями. Кажется удивительнымъ, какъ такая умная и мыслящая женщина, какъ Ельцова, не сообразила, что ни чтеніе путешествій, ни знаніе географическихъ именъ, ни умѣніе отличать ядовитыхъ пауковъ отъ неядовитыхъ не имѣютъ ровно никакого отношенія къ человѣческимъ чувствамъ и страстямъ, къ потребности любви, къ мечтамъ о счастьѣ, что наконецъ эти душевныя стремленія нельзя, да и не нужно тушить, но можно облагородить, просвѣтить, очистить отъ грубыхъ инстинктовъ, отъ эгоистическихъ примѣсей—путемъ разносторонней культуры ума и гармоническаго развитія всей личности человѣка. Не сознавая этой простой и не требующей доказательствъ истины, Ельцова сдѣлала и третью ошибку,—не оцѣнила значенія *поэзій въ дѣль облагороженія ума и чувства и ихъ подготовленія къ дѣйствительной жизни*. Въ интересахъ выясненія этого важнаго пункта, намъ придется сдѣлать здѣсь отступленіе—въ область психологій искусства (въ частности поэзій).

II.

Вліяніе поэзій (и вообще искусства) на развивающуюся человѣческую личность можетъ быть разнообразно—смотря по человѣку, по характеру душевной организаціи, по степени воспримчивости и т. д.—Мы будемъ имѣть въ виду преимущественно натуры—въ родѣ Вѣры, чуткія, тонкія, богато-одаренныя, способ-

ныя къ большому душевному развитію, призванныя къ яркому проявленію въ жизни чувства или въ дѣятельности мысли и воли.

И прежде всего постараемся обратить должное вниманіе на двѣ стороны вопроса, часто упускаемыя изъ виду: это, во-первыхъ, свойство поэзіи *умиротворять, успокаивать душевныя волненія* и, во-вторыхъ, это ея значеніе—какъ своего рода „прививки яда“, въ извѣстной мѣрѣ предохраняющей отъ возможной душевной заразы.

Для удобства анализа и самого изложенія, мы сперва рассмотримъ эти двѣ стороны или свойства поэзіи (и вообще искусства) внѣ ихъ значенія для цѣлей педагогическихъ. Представимъ себѣ, что мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ взрослымъ, сложившимся, развитымъ, способнымъ понимать и цѣнить поэзію. Спрашивается: Шекспиръ, Байронъ, Гете, Шиллеръ, Гейне, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Толстой, Тургеневъ, Гончаровъ и т. д. чего больше дадутъ ему, — волненій, терзаній, мечтаній, соблазновъ, восторговъ и т. д. съ одной стороны, или-же—душевнаго умиротворенія, успокоенія, спокойныхъ созерцаній—съ другой? Отвѣчаю категорически: послѣднихъ гораздо больше, чѣмъ первыхъ. Это вытекаетъ прямо изъ самой природы поэзіи. Предупреждаю читателя, что я имѣю въ виду настоящую, несомнѣнную поэзію, а не тѣ произведенія, которыя имѣютъ только форму поэтическую, но, по самой психологической своей основѣ, къ поэзіи не относятся. Всякое истинно-поэтическое произведеніе есть прежде всего попытка поставить и рѣшить какой-нибудь общечеловѣческій вопросъ. Творческая сила, которая тутъ дѣйствуетъ, есть *сила мысли* (а не чувства): это все тотъ-же синтезъ и анализъ, которые являются основами и научной, и философской мысли. Художественные образы суть умственные продукты явно *индуктивного* характера. Весь, стало быть, процессъ относится цѣликомъ къ области мысли. Но, конечно, онъ не отдѣленъ китайской стѣною отъ сферы чувствъ. Послѣднія въ него входятъ вмѣстѣ съ тѣмъ жизненнымъ матеріаломъ, на изученіе и объясненіе котораго направлено творчество художника. *Творя*, художникъ испытываетъ массу соотвѣтственныхъ движеній чувствующей души: онъ скор-

бить, радуется, плачетъ, смѣется, негодуешь, жалѣешь, любишь, ненавидишь, прощаешь — все, что угодно. Спрашивается: тождественны-ли эти чувства съ тѣми скорбями, радостями, негодованіемъ, сожалѣніемъ и т. д., которыя тотъ-же художникъ испытываетъ внѣ творчества, не какъ художникъ, а какъ всякій человѣкъ? Тождества быть не можетъ, а есть только аналогія. Почему? По той простой причинѣ, что самъ воспринимающій субъектъ при творествѣ — не таковъ, каковъ онъ внѣ творчества. При творествѣ въ немъ работаетъ мысль, совершается анализъ и синтезъ, и работа эта — сложная, трудная, всегда — высшаго сорта, и тогда, когда она освѣщена сознаніемъ, и тогда, когда проходитъ въ душѣ безсознательной, — и, разумѣется, наличность этихъ умственныхъ процессовъ не можетъ не вліять на всю психію, на постановку въ ней и взаимныя отношенія всѣхъ ея элементовъ, въ томъ числѣ и чувствъ. Центръ тяжести всей души переносится въ умственную сферу, и что-бы ни происходило въ этотъ мигъ въ области чувства, какое-бы негодованіе тамъ ни кипѣло, какія-бы скорби или радости тамъ ни были, — всѣ они не могутъ не подчиниться такъ или иначе измѣняющему воздѣйствію процессовъ мысли. И чувства безспорно измѣняются подъ этимъ воздѣйствіемъ, — измѣняются и количественно, и качественно. Говорю „количественно“ — въ смыслѣ большей силы, интенсивности. Гоголь напр., конечно, негодовалъ, скорбѣлъ, смѣялся и пр. несравненно больше — когда творилъ типы Сквозника-Дмухановскаго, Чичикова, Собакевича, чѣмъ когда встрѣчалъ въ самой дѣйствительности разрозненные оригиналы этихъ типовъ. Художникъ въ моментъ творчества долженъ чувствовать сильнѣе уже потому, что онъ сосредоточивается мыслью на извѣстномъ явленіи, устраняя тѣмъ самымъ разсѣивающее и парализующее дѣйствіе на соотвѣтственное чувство различныхъ впечатлѣній обыденной жизни. Но онъ не только сосредоточиваетъ свою мысль на извѣстномъ явленіи, напр. возбуждающемъ негодованіе и скорбь, онъ обобщаетъ множество фактовъ этого рода и собираетъ въ одномъ образѣ, какъ фокусъ, всѣ негодованія и скорби этихъ фактовъ, вмѣстѣ взятыхъ. Теперь уяснимъ себѣ *качественное* измѣ-

неніе чувства. Умственная дѣятельность, въ томъ числѣ и художественная, имѣетъ свои — умственные — чувства, порождаемыя самимъ процессомъ мысли, и это чувства пріятныя, доставляющія извѣстное, часто очень высокое, всегда очень чистое, наслажденіе. Въ искусствѣ оно извѣстно подъ именемъ „эстетическаго наслажденія“. Часто называютъ его также „чувствомъ красоты“. Я-бы охотно употреблялъ этотъ послѣдній терминъ, если-бы я зналъ, что такое „красота“, т.-е.—какой именно психическій процессъ нужно разумѣть подъ „красотою“. Чувствовалъ-ли Гоголь *красоту*, когда создавалъ безобразный, но несомнѣнно высокохудожественный типъ Плюшкина,—этого рѣшать не берусь. Но что онъ испытывалъ специфическую *радость творчества*, это несомнѣнно. Несомнѣнно также, что эта радость не могла остаться не у дѣлъ: она должна была такъ или иначе сказываться въ наличномъ душевномъ обиходѣ и прежде всего—вызывать *качественное* измѣненіе тѣхъ чувствъ (негодованія, отвращенія и проч.), какія внушались аперцепціей даннаго образа (Плюшкина). Примѣсь этой творческой радости не можетъ, конечно, уменьшать *силу* чувства, (иначе Плюшкинъ не вышелъ-бы такимъ яркимъ, Донъ-Кихотъ—такимъ жалкимъ, смѣшнымъ и симпатичнымъ, родители Базарова—такими трогательными и т. д.)—она только измѣняетъ его качество, т.-е. превращаетъ его въ другое чувство или въ другую разновидность того-же чувства. Въ какую, именно? Въ такую, что, не теряя своей силы, чувство присутствуетъ въ душѣ, не какъ диссонансъ, а какъ моментъ, звучащій въ унисонъ съ другими струнами души, сотрудничающій съ другими моментами въ дѣлѣ установленія той гармоніи, того душевнаго равновѣсія, которыя являются характерными спутниками художественнаго творчества. Это равновѣсіе ощущается какъ внутреннее удовлетвореніе, какъ миръ души, какъ спокойствіе сознанія, въ родѣ спокойствія совѣсти послѣ произнесенія справедливаго вердикта,—наконецъ, какъ тихая и самодовлѣющая радость гуманныхъ созерцаній—съ высоты душевнаго подъема, откуда видны далекіе горизонты и гдѣ такъ легко дышится — въ чистой атмосферѣ общечеловѣческихъ идеаловъ.

Вотъ именно въ этомъ смыслѣ я и говорю, что поэзія умиротворяетъ, а не возбуждаетъ, успокоиваетъ, а не раздражаетъ, — и въ этомъ-же, чисто-психологическомъ смыслѣ, понимаю (вслѣдъ за Потебней) извѣстное стихотвореніе Тютчева, въ которомъ поэзія характеризуется такъ:

Среди громовъ, среди огней,
Среди клокочущихъ зыбей,
Въ стихійномъ, пламенномъ раздорѣ,
Она съ небесъ слетаетъ къ намъ,
Небесная къ земнымъ сынамъ,
Съ лазурной ясностью во взорѣ,
И на бунтующее море —
Льетъ примирительный елей...

Все это я говорилъ о самомъ художникѣ, о поэтѣ. Но то же самое нужно сказать и о всякомъ — взросломъ, образованномъ, развитомъ — человѣкѣ, воспринимающемъ художественное произведение, ибо читатель, скажемъ, Шекспира повторяетъ — въ извѣстномъ смыслѣ — творчество самого Шекспира и переживаетъ въ сокращенномъ видѣ тѣ-же душевныя состоянія, какія переживалъ поэтъ, когда творилъ. Вслѣдъ за поэтомъ читатель продѣлываетъ тѣ-же синтезы и анализы, вновь воссоздаетъ въ своемъ умѣ, индуктивнымъ путемъ, образъ, данный художникомъ, ставитъ вопросъ, рѣшаетъ задачу, переиспытываетъ тѣ-же чувства и обрѣтаетъ соотвѣтственныя художественныя созерцанія и съ ними связанное душевное умиротвореніе.

Вотъ теперь, послѣ этихъ соображеній, мы можемъ вернуться къ вопросу педагогическому, т. е. къ вопросу о томъ, какое значеніе можетъ имѣть поэзія для правильнаго развитія еще не сложившагося человѣка.

Дѣти, подростки, юноши, какъ не имѣющіе необходимаго для воспріятія искусства опыта жизни, запаса впечатлѣній, наблюденій и мыслей, не могутъ понимать ни Шекспира, ни Пушкина, ни Гоголя, ни Гете, ни Тургенева, ни Толстого. Имъ лишь *кажется*, что они понимаютъ; въ дѣйствительности, *ихъ* Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ и т. д. — это сочинители болѣе или менѣе занимательные, въ родѣ Загоскина, Лажечникова и т. д. Отсюда

слѣдуетъ, что для юношества поэзія не можетъ служить источникомъ того душевнаго умиротворенія и успокоенія, той гармоніи духа, о которыхъ мы говорили выше. Но въ *такомъ* воздѣйствіи искусства юношество и не нуждается. Потребность въ освѣженіи, обновленіи, оздоровленіи души скажется позже, когда юноши перестанутъ быть юношами и вступятъ въ жизнь, и жизнь начнетъ ихъ трепать, раздражать, угнетать, энервировать. Вотъ именно въ виду и въ ожиданіи этой грядущей и неизбежной—по основнымъ условіямъ всего строя жизни—отравы духа и необходимо заблаговременно озаботиться, чтобы въ распоряженіи человѣка были оздоравлиющія психическія начала, въ ряду которыхъ поэзія, по силѣ ея воздѣйствія и по ея общедоступности, принадлежитъ первое мѣсто. Это одна изъ важныхъ задачъ воспитанія и образованія—подготавливать юношество къ будущему пониманію поэзіи, къ будущей ея утилизаціи въ вышеуказанномъ смыслѣ. Не трудно видѣть, къ чему собственно сводится эта поэтическая подготовка. Какъ въ музыкѣ и пѣніи нужно развить слухъ, „поставить голосъ“ и изощрить музыкальную сторону духа, такъ и здѣсь необходимо развить поэтическія стремленія души и въ своемъ родѣ „поставить мысль“, направивъ ее въ сторону апперцепціи художественныхъ образовъ. Пусть цѣлое поэтическое произведеніе, его идея, его концепція, заключенныя въ немъ высшія созерцанія остаются пока недоступны юному уму, — зато отдѣльные образы могутъ быть въ извѣстной мѣрѣ понимаемы, хотя-бы только какъ конкретныя, и ихъ усвоеніе не можетъ не вліять на развитіе *симпатическаго воображенія*, безъ котораго нельзя ни понимать искусства, ни быть гуманнымъ человѣкомъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ исподоволь развивается *чувство правды и чутье дѣйствительности*, — послѣднее—тѣмъ легче, что самыя то образы поэзіи воспринимаются юнымъ умомъ не какъ отвлеченія, а какъ фигуры конкретныя, т. е. — копія дѣйствительности, и развивающемуся сознанію юноши въ поэтическихъ произведеніяхъ открывается сама жизнь, какъ она есть. Вотъ именно отсюда и вытекаетъ второе свойство искусства вообще и поэзіи въ особенности—служить въ своемъ родѣ „предохранительной прививкой“ разнообразныхъ душевныхъ ядовъ жизни.

Что современная жизнь во всемъ цивилизованномъ мірѣ ядовита, — это не можетъ подлежать сомнѣнію. Не нужно только, какъ это дѣлаютъ пессимисты, преувеличивать бѣду и все сваливать на „цивилизацию“ съ ея будто-бы разлагающимъ и переутомляющимъ „прогрессомъ“. Современная цивилизация съ ея устоями, общимъ духомъ и направлениемъ есть только моментъ въ исторіи развивающагося человѣчества, пришедшій на смѣну другихъ историческихъ моментовъ, другихъ типовъ культуры и таящій въ себѣ корни иного, болѣе гуманнаго, болѣе справедливаго уклада общественныхъ отношеній.

Каждой эпохѣ въ исторіи цивилизации, каждому укладу общест-венности присущи свои психическіе яды, такъ или иначе отравляющіе душевное благополучіе личности. На вопросъ: въ чемъ собственно состоитъ специфическій ядъ того фазиса общественности, который переживается нынѣ всѣмъ цивилизованнымъ чело-вѣчествомъ? — мы отвѣтимъ такъ:

Личность достигла небывалаго развитія, какого не вѣдали предшествующіе вѣка. Наша эпоха есть эпоха *индивидуализма* по преимуществу, и притомъ — приближающаяся къ своему кри-тическому моменту, когда воочію обнаружатся всѣ изъяны и вну-тренніа противорѣчія общественности, основанной на антагонизмѣ, на борьбѣ интересовъ, когда сама личность почувствуетъ мучитель-ную жажду иного, высшаго самоопредѣленія, иныхъ, болѣе гармо-ническихъ отношеній къ цѣлому.

Развитіе личности ведетъ къ осложненію душевной органи-зации, къ изощренію мысли и чувства, а стало быть — и къ повы-шеннымъ, труднѣе удовлетворимымъ запросамъ и требованіямъ. Найти свое душевное счастье, достичь внутренняго удовлетворенія, мира чувствъ и радости мысли современному чело-вѣку несрав-ненно труднѣе, чѣмъ это было въ старину. Оттуда вѣчное не-довольство собою, своею жизнью, другими людьми, разочарованность, пессимизмъ, болѣзненная раздражительность самолюбія и многое другое. Естественнымъ плодомъ крайняго индивидуализма въ обще-ственномъ укладѣ и въ самоопредѣленіи личности является *миражъ личнаго счастья* и безнадежная погоня за нимъ, — откуда одинъ

шагъ къ отчаянію, къ сознанію недостижимости этого эгоистическаго идеала. И при отсутствіи другого идеала, личность роковымъ образомъ становится въ положеніе Фауста, попадаетъ въ ту безотрадную психологическую коллизію, которая сказалась въ знаменитомъ восклицаніи героя гетевской драмы: *entbehren sollst du, sollst entbehren!* Эти то слова и взялъ Тургеневъ эпиграфомъ своей повѣсти.

Вотъ именно въ роковой необходимости „entbehren“ и въ упорномъ, эгоистическомъ нежеланіи личности примириться съ этимъ, въ ея неспособности найти высшее — *неличное* — счастье въ идеальныхъ стремленіяхъ мысли, въ альтруистическихъ движеніяхъ чувства и лежитъ источникъ всѣхъ психическихъ ядовъ современной жизни. — *Искусство* вообще и *поэзія* въ особенности обладаютъ благодѣтельной силою исподоволь прививать эти яды — тѣмъ, во первыхъ, что заблаговременно приучаютъ мысль и чувство апперцепировать несовершенство, бѣды, страданія людей, трагическое въ жизни, пошлое въ человѣкѣ, смѣсь добра и зла въ природѣ и въ человѣчествѣ, — во вторыхъ, тѣмъ, что отвлекаютъ душу человѣческую отъ эгоистическихъ помысловъ о себѣ самой и переносятъ ее въ сферу другихъ, болѣе широкихъ интересовъ, заставляютъ „реинкарнировать“, мыслить и чувствовать за другихъ, радоваться и страдать вмѣстѣ съ другими людьми. На этой почвѣ и вырастаетъ противоядіе крайнему индивидуализму и эгоизму — сочувствіе, состраданіе, гуманность, общечеловѣческій идеалъ. Все это душевныя явленія, даромъ не дающіяся; ихъ нужно воспитать, взлелѣвать; сама жизнь, полная случайностей, противорѣчій, бѣдъ, дурныхъ вліяній, ихъ не дастъ; удаленіе отъ жизни, устраненіе живыхъ впечатлѣній еще менѣе способно ихъ развить. Ихъ разовьетъ жизнь, возведенная въ „перль созданія“, облагороженная и просвѣтленная творчествомъ, — жизнь, отраженная въ искусствѣ.

III.

Теперь намъ будетъ понятно, какую огромную и непростительную ошибку сдѣлала Ельцова, устранивъ поэзію въ воспитаніи дочери. Ядъ не былъ привить Вѣрѣ, и ея чуткая, богато-одаренная, страстная натура осталась непродохраненной отъ всегда возможной заразы, отъ рокового проявленія „тайныхъ силъ“ жизни. Для Вѣры ужъ одно пробужденіе ея спящей души, ея усыпленной мысли, ея такъ долго безмолвствовавшей мечты не могло не быть фатально. Вотъ и постараемся проникнуть въ психологію этого пробужденія.

Герой повѣсти, взявъ на себя задачу пробудить эту спящую душу, средствомъ для этого избралъ поэзію и на первый разъ остановился на „Фаустѣ“. Удаченъ ли былъ этотъ выборъ? А вотъ посмотримъ. Самъ герой, повидимому, чувствовалъ, что Гетевская трагедія едва ли годится для начала. „...Я раскаивался (пишетъ онъ въ письмѣ 4-мъ), что называлъ именно „Фауста“; для перваго раза Шиллеръ гораздо бы лучше годился, ужъ коли дѣло шло на нѣмцевъ. Особенно пугали меня первыя сцены, до знакомства съ Гретхенъ; насчетъ Мефистофеля я тоже не былъ покоенъ. Но я находился подъ вліяніемъ „Фауста“ и ничего другого не могъ бы прочесть съ охотой...“ Какъ видно изъ этихъ словъ, онъ опасался, будетъ ли „Фаустъ“ понятенъ, не покажется ли скучнымъ — въ особенности въ философскихъ монологахъ и діалогахъ. Но онъ надѣялся на Гретхенъ... Надежда эта, какъ извѣстно, не обманула его. „Фаустъ“ произвелъ на Вѣру впечатлѣніе потрясающее — и это главнымъ образомъ благодаря Гретхенъ. Чтець торжествовалъ и былъ въ восторгѣ, что началъ именно съ „Фауста“. Вотъ на этомъ то пунктѣ я и расхожусь съ героемъ повѣсти: я утверждаю, что въ этомъ первомъ опытѣ, на этомъ чтеніи „Фауста“, долженствовавшемъ приобщить душу Вѣры тайнамъ поэзіи, чарамъ искусства, — несмотря на полное торжество „старика Гете“, „Фауста“, Гретхенъ и самого чтеца, искусство и поэзія, со всѣми ихъ чарами и тайнами, потерпѣли полное фіаско. *Поэзія и не коснулась души Вѣры.* Ея душа дѣйстви-

тельно пробудилась, но только не для поэзии, не для того просвѣтлѣнія и расширенія мысли и чувства, о которомъ мы только что говорили, а для совѣсьмъ иныхъ „чаръ и тайнъ“, аналогичныхъ тѣмъ, силою которыхъ Фаустъ запродалъ душу Мефистофелю и ринулся въ водоворотъ страстей и эгоистическихъ стремлений — къ миражу любви и счастья. — Сперва прочтемъ слѣдующія строки изъ разсказа (въ письмѣ 4-мъ) о самомъ чтеніи „Фауста“: „Вѣра Николаевна не шевелилась; два раза я украдкой взглянулъ на нее: глаза ея внимательно и прямо были устремлены на меня; ея лицо мнѣ показалось блѣднымъ. *Послѣ первой встрѣчи Фауста съ Гретхенъ она отодѣлилась отъ спинки креселъ, сложила руки и въ такомъ положеніи осталась неподвижной до конца...*“ Очевидно, эта сцена поразила воображеніе Вѣры въ большей степени, чѣмъ предшествующія сцены, и съ этого момента она начинаетъ съ захватывающимъ интересомъ слѣдить за развитіемъ жестокой драмы Гете. Что же именно такъ поразило Вѣру, какія струны ея души дрогнули и зазвучали, и о чемъ собственно пѣли онѣ? Вѣра еще не знала любви (она никогда не была влюблена, — за скучнаго и ограниченнаго Пріимкова вышла по совѣту матери), она не вѣдала того, что называется влюбленностью, не испытала поэтической стороны этого чувства, его восторговъ, его мечты. Но не сознаваемая душевная потребность любви не была устранена этимъ невѣдѣніемъ. Рано или поздно она должна была заявить о себѣ. Она то и заговорила — властно и внезапно, въ тотъ моментъ, когда на сценѣ философской трагедіи появилась Гретхенъ.

Вы ожидаете, что съ этимъ появленіемъ Вѣра почувствуетъ чистую идеальную мечту любви, что ей откроется прежде всего неизвѣданная дотоѣ поэзія этого чувства... А вотъ, посмотримъ.

Герой повѣсти читалъ:

Strasse. Faust. Margarete vorübergehend.

Faust.

Mein schönes Fräulein, darf ich wagen,
Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?

Margarete.

Bin weder Fräulein, weder schön,
Kann ungeleitet nach Hause gehn.
(Sie macht sich los und ab.)

Faust.

Beim Himmel, dieses Kind ist schön!
So etwas hab'ich nie gesehn.
Sie ist so sitt—und tugendreich
Und etwas schnippisch doch zugleich.
Der Lippe Rot, der Wange Licht,
Die Tage der Welt vergess'ich's nicht!
Wie sie die Augen niederschlägt,
Hat tief sich in mein Herz geprägt;
Wie sie kurz angebunden war,
Das ist nun zum Entzücken gar!
(Mephistopheles tritt auf.)

Faust.

Hör', du musst mir die Dirne schaffen!

Такъ вотъ именно при чтеніи этой циничной сцены, гдѣ нѣтъ и намека на поэзію любви, гдѣ Фаустъ является просто пшютомъ, преслѣдующимъ на улицѣ хорошенькую и глупенькую мѣщаночку, — Вѣра „отдѣлилась отъ спинки кресель, сложила руки“ — и вся обратилась въ слухъ и вниманіе. Можетъ быть, ее заинтересовала такъ фабула? Или — помимо интереса къ фабулѣ — ее захватило открытіе одной изъ „тайныхъ силъ жизни“? Но какъ могла она не почувствовать отвращенія?

Что бы она ни чувствовала въ эту минуту, несомнѣнно одно: ей прежде всего хотѣлось заглянуть въ душу Гретхенъ, прочесть тамъ эту таинственную повѣсть о зарождающейся любви, — подслушать первое, стыдливое признаніе чистой души... Она жадно слушаетъ — и слышитъ:

Abend.

Ein kleines reinliches Zimmer.

Margarete (ihre Zöpfe flechtend und aufbindend).

Ich gäb' was drum, wenn ich nur wüsst',

Wer heut der Herr gewesen ist!

Er sah gewiss recht wacker aus

Und ist aus einem edlen Haus;

Das konnt' ich ihm an der Stirne lesen—

Er wär' auch sonst nicht so keck gewesen (ab.).

Немного тайнъ повѣдала Вѣрѣ Гретхенъ! Входятъ Фаустъ и Мефистофель. Послѣдній, осмотрѣвъ комнату, замѣчаетъ: Nicht jedes Mädchen hält so rein. И уходитъ. Фаустъ остается одинъ и передается сладостнымъ мечтамъ на тему:

Willkommen, süßer Dämmerchein,

Der du dies Heiligtum durchwebst!

Ergreif, mein Herz, du süsse Liebespein,

Die du vom Thau der Hoffnung schmachtend lebst! и т. д.

„Благородный господинъ“ расчувствовался. Пшютъ сентиментальничаетъ. О liebe Hand! so göttergleich! восклицаетъ онъ. Приподымаетъ завѣсу передъ кроватью и заявляетъ:

Hier möcht' ich volle Stunden säumen.

И тутъ же—немножко философн:

Natur! Hier bildetest in leichten Träumen

Den eingebornen Engel aus... и т. д.

Все это блаженство любовныхъ предвкушеній прерывается появленіемъ Мефистофеля, который принесъ ящикъ съ дорогимъ ожерельемъ и серьгами. Ich that euch Säckelchen hinein, um eine andre zu gewinnen, поясняетъ онъ. Спрятавъ ящикъ въ комодъ Маргариты, онъ уговариваетъ Фауста уйти и не торчать тутъ съ такимъ видомъ, какъ будто онъ собирается войти въ аудиторию, гдѣ его ожидаютъ Физика и Метафизика.

Входитъ Маргарита. Ей что-то не-по-себѣ. Ей душно. Она томится. Какой-то страхъ овладѣваетъ ею. Она открываетъ окно, раздѣвается и поетъ пѣсенку: Es war ein König in Thule. Потомъ находитъ въ шкапу ящикъ Мефистофеля и приходитъ въ неописуемый восторгъ. Надѣваетъ ожерелье и серьги, смотрится въ зеркало и — заканчиваетъ свой монологъ сентенціей:

Wenn nur die Ohrring' meine wären!

Man sieht doch gleich ganz anders drein.

Was hilft euch Schönheit, junges Blut? и т. д.

.....

Nach Golde drängt,

Am Golde hängt

Doch alles. Ach, wir Armen!

Во всѣхъ этихъ сценахъ нѣтъ поэзіи, ни въ самомъ сюжетѣ, ни въ его литературномъ воспроизведеніи. Психологія дѣйствующихъ лицъ мелка и неинтересна. Мефистофель, конечно, золь и остроумецъ, но все-таки это — „мелкій бѣсъ, изъ самыхъ печинныхъ ¹⁾“. Онъ отлично умѣетъ вліять только на очень низменные, очень пошлыя, прямо — животныя стороны человѣческой природы, и нѣтъ въ немъ ничего истинно-демоническаго, гордаго и прекраснаго — въ самомъ пороцѣ. Едва-ли эта фигура могла сильно поразить воображеніе Вѣры. Ужъ если дѣло пошло на демоновъ, на искусителей, то скорѣе лермонтовскій демонъ могъ бы очаровать умъ Вѣры и вызвать въ немъ игру соотвѣтственныхъ поэтическихъ струнъ. Самъ Фаустъ въ этихъ и послѣдующихъ сценахъ выставленъ натурой мелкой, поверхностной и грубо-эгоистической. Съ легкимъ сердцемъ кидается онъ въ омутъ низкихъ страстей, — совершаетъ рядъ гнусныхъ преступленій, являетъ собою картину полного нравственнаго паденія, — и все это такъ, какъ будто онъ никогда и не былъ мудрецомъ-затворникомъ, какъ будто онъ — нравственный уродъ и герой — не философской и психологической драмы, а самой обыкновенной уголовной хроники. Мы не видимъ въ немъ проявленій душевной драмы, борьбы противоположныхъ чувствъ, мучительныхъ терзаній совѣсти и слѣдимъ за исторіей его грѣхопаденія безъ того участія, того сожалѣнія „по человѣчеству“, какое всегда возбуждаютъ даже настоящіе злодѣи въ истинно художественномъ воспроизведеніи. Маргарита, конечно, вызываетъ сожалѣніе, какъ жертва, но она такъ проста и наивна, она — такая неинтересная дурочка, что читателю приходится самому идеализировать и поэтизировать ее, чему очень помогаютъ, конечно, превосходные стихи Гете. Образъ чистой и поэтической Гретхенъ въ гетевскомъ „Фаустѣ“ есть одинъ изъ литературныхъ мѣтовъ, возникшій на почвѣ „культа Гете“: его нѣтъ въ знаменитой трагедіи великаго мыслителя, — тамъ на его мѣстѣ находится нѣчто совсѣмъ другое, — фигура, въ которой пѣтъ и тѣни поэзіи, и которая годится

¹⁾ Такъ отзывался о немъ самъ Тургеневъ въ статьѣ о „Фаустѣ“ Гете, написанной еще 1844 г. (томъ I, изд. 1883 г.).

опять таки только для мѣщанской мелодрамы или для уголовной хроники ¹⁾. Таковы главные герои. Настоящаго художественнаго эффекта они не производятъ, и чтеніе „Фауста“ не даетъ въ результатѣ того душевнаго подъема, того гармоническаго состоянія духа, о которомъ я говорилъ выше, какъ о неотъемлемой принадлежности и характерной чертѣ художественнаго процесса мысли.

Но въ цѣломъ вся первая часть „Фауста“ и многія мѣста второй, невзирая на нехудожественность образовъ, производятъ все-таки очень сильное, иногда потрясающее впечатлѣніе и на мысль, и на чувство,—впечатлѣніе, которое въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ походить на художественное и можетъ легко быть смѣшано съ этимъ послѣднимъ. „Фаустъ“ — это прежде всего одна изъ самыхъ умныхъ, самыхъ злыхъ, самыхъ жестокихъ книгъ, которыя когда либо были написаны. Это книга, развѣнчивающая человѣка, обнажающая скрытое въ немъ животное начало; эта книга, которая, съ сатанинскимъ хохотомъ Мефистофеля, злорадно утверждаетъ, что человѣкъ прежде всего — звѣрь, жестокій, злой, эгоистическій, что всѣ его высшія стремленія — къ истинѣ, къ нравственной чистотѣ, къ идеалу — являются лишь пустыми претензіями, безсильными поползновеніями подняться надъ юдолью зла и страданий. Удѣлъ человѣка — говоритъ эта ужасная книга — постоянно разочаровываться въ себѣ самомъ, какъ существѣ разумномъ и моральномъ, вѣчно падать въ погонѣ за счастьемъ, которое недоступно, за наслажденіями, которыя только ведутъ къ по-

¹⁾ Въ вышеупомянутой статьѣ о „Фаустѣ“ Тургеневъ отзывается о Гретхенъ такъ: „она мила—какъ цвѣтокъ, прозрачна—какъ стаканъ воды, понятна—какъ дважды два—четыре; она безстрастная, добрая нѣмецкая дѣвушка; она дышетъ стыдливой прелестью невинности и молодости; она, впрочемъ, нѣсколько глупа“. Мой отзывъ отличается отъ тургеневскаго не по существу, а, такъ сказать, въ количественномъ отношеніи. Вмѣсто „нѣсколько глупа“, я скажу: „непроехимо глупа“. Впрочемъ, у Тургенева мы видимъ ту идеализацію Гретхенъ, которая была свойственна нашей романтической молодежи 30-хъ и 40-хъ гг., и если приведенный отзывъ не слишкомъ восторженъ и свидѣтельствуетъ о трезвости взгляда, то это шло въ разрѣзъ съ общимъ взглядомъ на „Фауста“ и культъ Гете какъ художника, оставшимся у Тургенева до конца жизни, и было проявленіемъ силы и ясности ума нашего поэта, умѣвшаго критически отнестись къ предмету въ самый разгаръ увлеченій.

вымъ вождѣніямъ и никогда не удовлетворяютъ ¹⁾. Но это еще не все. Пессимизмъ этого рода есть явленіе очень старое (вспомнимъ буддизмъ и Экклезіаста) и способное сочетаться съ весьма разнообразными ученіями или стремленіями, философскими, религіозными, этическими и иными. Вотъ именно въ „Фаустѣ“ Гете мы находимъ его въ сочетаніи съ такими идеями и стремленіями, въ союзъ съ которыми раньше онъ не вступалъ. Этотъ неожиданный союзникъ — не кто иной, какъ духъ XVIII вѣка, освободительныя идеи и разрушительныя стремленія котораго ярко сказываются не только въ сарказмахъ Мефистофеля, но и во всей концепціи произведенія, въ основномъ замыслѣ этой необыкновенной книги, въ самомъ ея тонѣ, даже въ языкѣ и стилѣ. Среди непроглядной мрачности и безотрадности пессимистическаго воззрѣнія на человѣка чувствуется трепетаніе новой жизни, молодой и смѣлой, не боящейся отрицать и разрушать, ибо она увѣрена, что таитъ въ себѣ неоскудѣвающій запасъ творческихъ, созидających силъ. Оба начала перепутаны самымъ причудливымъ образомъ, при чемъ никакъ не разберешь, сами ли они такъ перепутались — въ бессознательно творившей гениальной головѣ Гете, или же великій писатель сознательно и преднамѣренно все время держитъ читателя въ невѣдѣніи насчетъ настоящаго призванія отрицающей силы: призвана ли она обновлять жизнь, освобождать, расчищать пути человѣчества, или же ея удѣлъ — только губить, развращать, разнуздывать животныя инстинкты въ человѣкѣ? Въ великолѣпномъ „Прологѣ на небѣ“, который самъ по себѣ есть законченная, гениально задуманная и до дерзости смѣлая вещь, ясно указано первое призваніе отрицающей силы, олицетворенной въ Мефистофелѣ. Der Herr къ нему благоволяетъ и даже поощряетъ дѣйствовать. Онъ говоритъ этому представителю ада:

Ich habe Deinesgleichen nie gehasst,
Von allen Geistern, die verneinen,
Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.
Des Menschen Thätigkeit kann allzuleicht erschlaffen,

¹⁾ So taumlich von Begierde zu Genuss, und im Genuss verschmachtet nach Begierde, говоритъ Фаустъ.

Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;
Drum geb'ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen.

И читатель въ правѣ ожидать, что ему въ самомъ дѣлѣ покажутъ, какъ отрицающее начало reizt, wirkt и schafft, какъ оно разрушаетъ дряхлыя формы и тѣмъ расчищаетъ путь новой жизни; читатель ждетъ, что ему покажутъ благотворное дѣйствіе хотя бы и дурныхъ, эгоистическихъ, но высшихъ человѣчныхъ страстей, заставляющихъ лѣниваго смертнаго стремиться къ лучшему, бороться, мыслить, заблуждаться, падать и — въ концѣ концовъ совершенствоваться. Однимъ словомъ, читатель склоненъ искать въ загадочной книгѣ оправданія положеній, высказанныхъ въ „Прологѣ“ и гласящихъ, что

Es irrt der Mensch, so lang'er sterbt,
но что — въ концѣ концовъ —

Ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst.

Вотъ именно съ такими то ожиданіями и упованіями, совершенно законными, вызванными самимъ Гете, читатель и встрѣчаетъ первое появленіе Мефистофеля въ самой трагедіи; на первыхъ порахъ эти ожиданія какъ будто бы начинаютъ оправдываться. Мефистофель рекомендуетъ Фаусту, говоря о себѣ, что онъ есть

Ein Theil von jener Kraft,

Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.

Это является прямымъ продолженіемъ мысли „Пролога“. —

Ich bin der Geist, der stets verneint! —

продолжаетъ Мефистофель, — и затѣмъ въ этой сценѣ съ Фаустомъ и слѣдующей — съ ученикомъ обнаруживаетъ всю силу и весь ядъ своихъ отрицаній и дерзновеній, — въ удивительныхъ, полныхъ сарказма и адскаго хохота, рѣчахъ, гдѣ безпощадно развѣнчиваются старые идолы, разрушаются старыя иллюзіи и гдѣ чувствуются вѣянія вѣка энциклопедистовъ и Вольтера. — Фаустъ продаетъ свою душу Мефистофелю и идетъ за нимъ, чтобы начать новый „Lebenslauf“.

Вотъ тутъ то и конецъ всѣмъ ожиданіямъ читателя. Философская и психологическая трагедія на этомъ заканчивается. Но вѣдь читатель не предупрежденъ на этотъ счетъ и естественно ожидаетъ продолженія той же темы, а потому, читая дальше, всѣми силами старается прозрѣть въ сценахъ и образахъ, которые ему даны, какой то глубокой и сокровенный смыслъ, не замѣчая или не догадываясь, что такового тамъ и въ поминѣ нѣтъ. А есть тамъ только та уголовная мелодрама, о которой была рѣчь выше, да еще фантастическія сцены, нарочито туманныя и переполненныя разной чертовщиной и, собственно говоря, — лишнія. Суть всего этого — обнаруженіе звѣря въ человѣкѣ, полное развѣнчаніе Фауста, низведеніе Мефистофеля на ступень „мелкаго бѣса“, который только умѣетъ пробуждать животныя инстинкты и вовсе не „творитъ добро, желая зла“, не является дѣятелемъ, возбуждающимъ какія бы то ни было высшія стремленія. Онъ вовсе не „wirkt“ и не „schafft“. Фаустъ въ свою очередь оказывается вовсе не тѣмъ „хорошимъ человѣкомъ“, который въ своихъ темныхъ стремленіяхъ все-таки сознаетъ, гдѣ правильный путь“, — отнюдь не тѣмъ дѣятелемъ, который „стремится и заблуждается“: погоня за грубыми наслажденіями — это не „стремленія“, и паденіе да уголовныя дѣянія это не тѣ „заблужденія“, которыя подразумеваются въ „Прологѣ“. Читатель обманутъ въ своихъ ожиданіяхъ, ошеломленъ этимъ непрерывнымъ калейдоскопомъ глубокихъ мыслей, мѣткихъ словъ, злыхъ рѣчей, сарказмовъ, отдѣльныхъ дѣйствительно поэтическихъ строфъ, всякаго рода фантастикой и чертовщиной, высокимъ идеализмомъ и грубымъ реализмомъ, идущимъ вплоть до употребленія непечатныхъ словъ, смѣшеніемъ драмы и мелодрамы, — и это ошеломленіе такъ велико, что читатель готовъ забыть и простить, — что его обманули, привели не туда, куда обѣщали привести. Ему трудно даже разобраться сразу въ своихъ ощущеніяхъ, и на первыхъ порахъ одно лишь ясно ему: книга, которую онъ прочиталъ, есть книга, во первыхъ, жестокая, злая, беспощадная, а во вторыхъ, въ одно и тоже время и геніальная, и какая-то *ирраціональная*. Не разобравшись и не давъ себѣ отчета во всѣхъ этихъ впечатлѣ-

ніяхъ, читатель ошибочно принимаетъ ихъ за художественныя. Только послѣ тщательной провѣрки окажется, что они не были художественными и поэтическими въ собственномъ смыслѣ, что они были совсѣмъ иныя. Какія именно, т. е. какова ихъ природа, это мы уяснимъ себѣ, если обратимъ должное вниманіе на только что указанную сторону „Фауста“, — на *ирраціональное* въ немъ.

Безсмертная книга, во первыхъ, трактуетъ объ ирраціональномъ въ природѣ человѣка: это ея сюжетъ, ея тема, ея задача; во вторыхъ, она сама ирраціональна — по духу, характеру творчества, по исполненію.

Постараемся уяснить себѣ и то, и другое.

На вопросъ: что собственно аперцепировано образами „Фауста“? — я бы отвѣтилъ такъ: ирраціональное въ душѣ человѣческой, какъ мыслящей, такъ и чувствующей, и при томъ рассматриваемое преимущественно въ его отношеніяхъ къ эгоистической и животной сторонѣ въ натурѣ человѣка.

Сперва взглянемъ на это ирраціональное въ мыслящей душѣ, т. е. въ умѣ познающемъ и творящемъ. Фаустъ — ученый и мыслитель. Но этого мало: нужно знать, *какъ* онъ мыслить, какого рода умственные процессы скрываются подъ той *наукою*, представителемъ которой является Фаустъ. Это — наука схоластическая, наука того фазиса въ исторіи мысли, когда химія еще не была отдѣлена отъ алхиміи, когда движущимъ мотивомъ познающаго ума было не стремленіе къ истинѣ, чистое и безкорыстное, а желаніе овладѣть тайными силами природы въ видахъ эгоистическихъ. Это было странное, фантастическое состояніе мысли, въ которомъ уживались несогласимыя противорѣчія; умъ въ своей познавательной дѣятельности еще не владѣлъ главнымъ орудіемъ, которымъ такъ сильна наука новаго времени, — орудіемъ, благодаря которому она и есть — наука, а не что нибудь другое. Я разумѣю *методъ*. Въ зависимости отъ этого признака, отсутствія правильного научнаго метода, находился и другой — относительная слабость логической силы ума, не способной еще подчинить себѣ дѣятельность памяти, воображенія и другихъ безсознательныхъ

процессовъ мысли. А эти процессы по существу ирраціональны, — въ противоположность логикѣ и методу, являющимся истинными носителями раціональнаго въ нашемъ умѣ. При слабости, невыработанности послѣднихъ, ирраціональные процессы не находили узды и удержу, дѣйствовали стихійно, слѣпо, творили неразумно и, главное, бесплодно. Вотъ именно такое состояніе и воспроизведено въ первыхъ сценахъ „Фауста“. Здѣсь отмѣчена пустота и бесплодность схоластическаго и алхимическаго знанія, указаны эгоистическіе мотивы въ познавательныхъ стремленіяхъ ума, наконецъ превосходно воспроизведенъ весь душевный укладъ средневѣковаго мыслителя, характеризуемый неуравновѣшенностью духа, рѣзкими переходами отъ восторговъ къ отчаянію, отъ смѣлыхъ запросовъ ума къ малодушнымъ страхамъ. Вы видите передъ собою „ученаго“, который не умѣетъ мыслить спокойно, объективно, котораго умъ поработенъ различными чувствами, болѣе или менѣе страстными, а мысль, всегда окрашенная субъективными настроеніями, не въ силахъ сосредоточиться на изслѣдованіи или созерцаніи *явленія* и ежеминутно перескакиваетъ изъ объективной сѣры въ субъективную; она словно — на привязи чувствъ и бьется, и мечется въ тщетныхъ усиліяхъ освободиться и воспарить въ ту, высшую, сферу умственнаго творчества, гдѣ ей привольно витать, гдѣ, безстрастная и свободная, она могла-бы развернуть свою творческую силу и — „was in schwankender Erscheinung schwebt, — befestigen mit dauernden Gedanken“.

Фаусту недостаетъ прежде всего *внутренней свободы*, безъ которой немислима никакая плодотворная работа мысли, никакое творчество, ни философское, ни ученое, ни художественное. Но у него уже есть какъ-бы предчувствіе этой свободы, тоска по ней, смутное чаяніе, что она возможна, что съ ея приходомъ должна взойти заря новой, лучшей, жизни. Оттуда та раздвоенность въ душѣ Фауста, которая превосходно выражена въ знаменитыхъ словахъ его, обращенныхъ къ Вагнеру:

Du bist dir nur des *einen* Triebs bewusst,
O lerne nie den andern kennen!
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,

Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine hält in derber Liebeslust
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen.
O giebt es Geister in der Luft,
Die zwischen Erd'und Himmel herrschend weben,
So steigt nieder aus dem goldnen Duft
Und führt mich weg zu neuem, buntem Leben!

Среди этой душевной разорванности, въ этомъ мятущемся состояніи духа, Фаустъ послѣдовательно переживаетъ цѣлый рядъ различныхъ душевныхъ состояній, цѣлую гамму чувствъ, въ ряду которыхъ громче и рѣзче звучать ноты мрачныя, ноты разочарованія и отчаянія, но между ними порою пробиваются и звуки примиренія, смиренія, любви. И вы замѣчаете, что между тѣми и другими идетъ глухая борьба, которой исходъ остается — победа — неизвѣстенъ; но вамъ отъ времени до времени даютъ понять, что какъ ни слабы эти проблески тихихъ и свѣтлыхъ ощущеній, эти приливы состраданія и любви къ бѣдному, темному, страждущему человѣчеству, — все таки они способны одержать верхъ, внести миръ въ душу Фауста, возродить его къ новой жизни. Это нѣкоторымъ образомъ было *объяснено* знаменитой тирадой „Was sucht ihr, mächtig und gelind, Ihr Himmelstöne, mich am Staube“, въ которой Фаустъ отказывается отъ мысли о самоубійствѣ:

O tönet fort (воскликаетъ онъ), ihr süßen Himmelslieder!
Die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder!

Далѣе это „объясненіе“ было подтверждено великолѣпнымъ монологомъ „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche“, оканчивающимся такъ:

Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein.

Наконецъ въ сценѣ съ пуделемъ, непосредственно предшествующей появленію Мефистофеля, вы чуть-чуть не увѣровали въ исполненіе этихъ обѣщаній; возрожденіе Фауста, побѣда въ немъ человѣческихъ, альтруистическихъ чувствъ надъ эгоистическими и вмѣстѣ просвѣтленіе и освобожденіе его мысли казались вамъ

почти совершившимся фактомъ: вы слышали изъ устъ Фауста признанія такого рода:

Entschlafen sind nun wilde Triebe
Mit jedem ungestümen Thun;
Es reget sich die Menschenliebe,
Die Liebe Gottes regt sich nun.

.....

Vernunft fängt wieder an zu sprechen,
Und Hoffnung wieder an zu blühen;
Man sehnt sich nach des Lebens Bächen,
Ach! nach der Lebens Quelle hin.

Правда, васъ нѣсколько беспокоило присутствіе Пуделя; въ немъ чудилось вамъ знаменіе животныхъ началъ, — животной души, совсѣмъ ужъ ирраціональной, которой слѣпыя влеченія, стихійныя, неразумныя силы способны — пожалуй — нарушить и омрачить ясность духа и мысли, съ такимъ трудомъ возобладавшую въ душѣ Фауста. И вы вполне понимаете ощущенія Фауста и сочувствуете ему, когда онъ старается успокоить Пуделя и говорить ему:

Knurre nicht, Pudel! Zu den heiligen Tönen,
Die jetzt meine ganze Seel' umfassen,
Will der tierische Laut nicht passen...

Но миръ души уже нарушенъ. „Schon fühl'ich“ — говоритъ Фаустъ — „bei dem besten Willen, Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen“. Онъ прибѣгаетъ тогда къ послѣднему средству: онъ обращается къ откровенію и углубляется въ истолкованіе священнаго текста — „въ началѣ бѣ Слово“...

А тѣмъ часомъ Пудель не дремлетъ. Онъ все бунтуетъ, воетъ, лаетъ, онъ точно бѣшеный, и вотъ ужъ онъ преображается въ какое то ужасное чудище, противъ котораго безсильны всѣ чары и заклинанія Фауста. Это чувства, чувства эгоистическія, это страсти, страсти животныя, приливаютъ и надвигаются и заполняютъ душу Фауста, вытѣсняя изъ нея все лучшее и разумное, все человѣчное, омрачая его сознаніе туманомъ слѣпыхъ влеченій, вожделѣній и соблазновъ, парализуя его волю. Разсѣется ли этотъ туманъ, прояснится ли эта мгла души? Будетъ ли укрощено чудовище?

Повидимому, къ тому дѣло и клонится: туманъ разсѣивается, чудовище исчезаетъ — чтобы дать мѣсто представителю отрицанія, Мефистофелю. „Das also war des Pudels Kern!“ восклицаетъ успокоенный Фаустъ.

Что жъ, — это не бѣда, это путь правильный: вѣдь душа Фауста, терзаемая и влекомая въ противоположныя стороны ирраціональными силами ума и слѣпыми влеченіями страстей, не могла подняться на ту умственную и нравственную высоту, къ которой она призвана стремиться, и уже готова была впасть въ отчаяніе. Теперь къ ея услугамъ является новая и большая сила: сила отрицанія, сомнѣнія, скептицизма, — лучшее орудіе для расчистки путей мысли, для освѣженія ума, а, стало быть, и первый шагъ къ достиженію внутренней свободы. И для страстей это начало не лишено значенія: духъ, который все и всегда отрицаетъ, можетъ направить свою разлагающую критику и на эту сферу, способенъ сорвать маску, часто прикрывающую эгоистическія влеченія, отравить сентиментализмъ грубыхъ желаній и „поэзію“ низменныхъ чувствъ ядомъ рефлексіи и, если нужно, циническимъ хохотомъ. Для освобожденія человѣчества отъ темноты и безпомощности, не только умственной, но и нравственной, необходимъ и этотъ ядъ, и этотъ хохотъ, — безъ рефлексіи, безъ критики, безъ отрицанія человѣчество остановилось бы въ своемъ развитіи, не вышло бы изъ „блаженного“ невѣдѣнія своей умственной темноты и нравственной наготы.

Итакъ, казалось бы, съ появленіемъ Мефистофеля для Фауста должна была бы наступить „новая жизнь“ — въ смыслѣ выхода изъ душевной тьмы на этотъ психологическій путь, который мы назовемъ развитіемъ *раціональных* силъ духа. Но этого то Гете намъ и не далъ: „новая жизнь“ Фауста оказалась той уголовной мелодрамою, о которой была рѣчь выше. Раціональныя силы не возобладали и „картина“ души Фауста остается до конца „картиною“ той болѣзни, которую можно было бы назвать „умственнымъ и нравственнымъ изможденіемъ“, обусловленнымъ исключительнымъ господствомъ недисциплинированныхъ ирраціональных силъ духа.

Впечатлѣніе, производимое этой „картиною“, само по себѣ гнетущее, еще усугубляется тѣмъ обстоятельствомъ, что самая трагедія Гете носитъ на себѣ явные слѣды ирраціональности творчества. „*Фаустъ*“ Гете художественъ по творческому замыслу и не художественъ по самому ходу творческой работы: задумавъ „Фауста“, Гете стремился къ обобщенію извѣстныхъ явленій духа человѣческаго и къ воплощенію полученныхъ выводовъ въ конкретныхъ образахъ, — стремленія, слѣдовательно, были чисто-художественныя; но эти обобщенія и ихъ конкретныя изображенія были найдены не тѣмъ путемъ, который является единственно-раціональнымъ въ искусствѣ, т. е. не путемъ *синтеза*. Путь мысли, *методъ* въ искусствѣ есть вещь столь же первостепенная, какъ и въ наукѣ. Это огромное заблужденіе — думать, что, напримѣръ, истина все равно остается истиной, какимъ бы способомъ она ни была получена. Въ наукахъ индуктивныхъ самая удачная, самая вѣрная мысль, выведенная апріорнымъ путемъ, не будетъ имѣть *психологическаго значенія научной истины* до тѣхъ поръ, пока не будетъ вновь найдена синтетической работой мысли, — индуктивно. Такъ и въ искусствѣ: поэтическое обобщеніе, чтобы имѣть значеніе художественнаго и производить соотвѣтственное воздѣйствіе на мысль, должно быть результатомъ *синтеза*, какъ основного, руководящаго процесса мысли, *анализъ* же служить только помощникомъ, является дѣятелемъ второстепеннымъ. Это — раціональный путь творчества. Обратный же путь — съ анализомъ на первомъ планѣ — не даетъ въ результатѣ образовъ, способныхъ быть истинно-художественными. Не трудно видѣть, что главные образы трагедіи Гете, въ особенности же самъ Фаустъ и Мефистофель, суть образы *аналитическіе*, а не *синтетическіе*. Это не мѣшаетъ имъ быть обобщеніями. Гете анализировалъ душу человѣческую, выдѣливъ изъ ея содержанія въ одну сторону одни элементы, въ другую — другіе. Одни онъ воплотилъ въ образѣ Фауста, другіе въ образѣ Мефистофеля. Путемъ того же анализа устраняя изъ этихъ образовъ все, что могло бы сдѣлать ихъ живыми личностями, что налагало бы на нихъ печать индивидуальности, Гете превратилъ ихъ въ блѣдныя схемы, въ говорящія абстракціи, а это то и даетъ

имъ обобщающую силу. Здѣсь мы видимъ, стало быть, нѣчто діа-метрально противоположное тому, что представляютъ намъ настоя-щія созданія искусства: въ этихъ послѣднихъ обобщающая сила образа вполне совмѣщается съ его полной конкретностью, съ его рѣзко выраженной индивидуальностью. Настоящему художнику, напримѣръ, Шекспиру, нѣтъ никакой надобности дѣлать фигуру блѣдной, схематичной, безжизненной, чтобы придать ей значеніе обобщающей. Но Гете, не художникъ въ тѣсномъ смыслѣ, а поэтъ-мыслитель, не могъ въ своемъ творествѣ итти по этому един-ственно-раціональному пути искусства, пути синтеза, и создать индуктивные образы,—онъ могъ получить свои *поэтическія* обоб-щенія только вышеуказаннымъ путемъ анализа, созданіемъ анали-тическихъ образовъ, которые обобщаютъ только потому, что сами абстрактны. Это—не настоящее искусство, или—если угодно—это—*искусство ирраціональное* ¹⁾.

Такой характеръ творчества сказывается не только въ самой природѣ образовъ, въ ихъ блѣдности, схематичности, условности, но и во многомъ другомъ. Выбитая изъ своего естественнаго русла, фантазія поэта создаетъ картины въ одно и то же время и при-хотливыя, какъ будто безсознательныя, повидимому лишеныя цѣлесообразности, и въ то же время явно „сочиненныя“, искус-ственныя, головоломныя. Почти вся вторая часть „Фауста“ яв-ляется доказательствомъ такой именно работы воображенія. Но и въ первой части уже замѣтны признаки этой ирраціональности творческой мысли.

Выводъ изъ всего вышесказаннаго о „Фаустѣ“ Гете ясенъ: это великое произведеніе великаго ума не можетъ дѣйствовать на мысль и чувство такъ, какъ это свойственно настоящимъ худо-жественнымъ произведеніямъ,—созданіямъ искусства раціональ-наго, а должно дѣйствовать какъ нибудь иначе. Какъ же именно?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, лучше всего прослѣдить дѣйствіе „Фауста“ на душу нетронутую, не искушенную въ

¹⁾ Такъ точно, напримѣръ, средневѣковую науку мы можемъ опредѣлить и какъ—не *настоящую*, и какъ ирраціональную.

жизни чувства и мысли, на душу свѣжую, чуткую, впечатлительную, какова Вѣра, героиня Тургеневскаго „Фауста“, къ которой и возвратимся теперь.

IV.

Сперва взглянемъ на симптомы.

Вѣра подавлена новыми ощущеніями, не въ силахъ разобратъся въ нихъ и только просить чтеца оставить ей „эту книгу“. Она видимо уклоняется отъ разговора о прочитанномъ и уходитъ въ свою комнату. Оттуда она возвращается смущенная и съ красными глазами. „Вообразите“, говоритъ ей мужъ, Пріимковъ — „я пришелъ къ ней наверхъ и застаю ее: она плачетъ. Этого съ ней давно не случалось. Я вамъ могу сказать, когда она въ послѣдній разъ плакала: когда Саша у насъ скончалась. Вотъ, что вы надѣлали съ вашимъ „Фаустомъ...“ — „Стало быть“ — замѣчаетъ рассказчикъ Вѣрѣ — „вы теперь видите, что я былъ правъ, когда...“ — „Я этого не ожидала — перебиваетъ она: — но Богъ еще знаетъ, правы ли вы. Можетъ быть, оттого матушка и запрещала мнѣ читать подобныя книги, что она знала...“ — „Что знала? Говорите“. — „Къ чему? Мнѣ и такъ совѣстно: о чемъ это я плакала? Впрочемъ, мы еще съ вами потолкуемъ. Я многое не совсемъ поняла...“ — „Отчего же вы меня не остановили?“ — Слова то я всѣ поняла, и смыслъ ихъ, но...“ На другой день утромъ рассказчикъ встрѣчаетъ ее въ саду и узнаетъ, что она всю ночь не спала. „Неужели отъ вчерашняго чтенія?“ спрашиваетъ онъ. — „Конечно (отвѣчаетъ она): я къ этому не привыкла. Въ этой вашей книгѣ есть вещи, отъ которыхъ я никакъ отдѣлаться не могу; мнѣ кажется, это онѣ такъ жгутъ голову...“ — „Пойдемте, сядемте въ эту бесѣдку — продолжала она — и, пожалуйста, до тѣхъ поръ, пока я не заговорю съ вами сама, не упоминайте мнѣ... объ этой книгѣ“. Она — замѣчаетъ рассказчикъ — какъ будто боялась произнести имя „Фауста“. (Письмо 4-е).

Такими намеками и „умолчаніями“ Тургеневъ превосходно изобразилъ тотъ процессъ, который совершался въ душѣ Вѣры, —

вызванный чтением „Фауста“. Это был процесс темный, неясный для нея самой, это была глухая работа въ глубинѣ души, стихійное движеніе чувствъ, тревожное скопленіе мыслей. Если бы Тургеневъ, вмѣсто намековъ и краткаго указанія на симптомы, вдался въ подробный психологическій анализъ, — онъ не далъ бы художественно-правдивой картины душевнаго состоянія Вѣры: неясное, темное, глухое, несознанное казалось бы яснымъ, понятнымъ, отчетливымъ. Раскрыть, истолковать процессъ, дать ему психологическое опредѣленіе — это уже дѣло критика или комментатора. Я говорю это только примѣнительно къ данному случаю, а не вообще. Чутье художника подсказало Тургеневу, что на душу Вѣры въ ея новомъ состояніи необходимо набросить покровъ, что темное ея броженіе такъ и слѣдуетъ оставить въ темнотѣ: пусть самъ читатель сниметъ покровъ, — пусть онъ самъ внесетъ свѣтъ въ эту темноту душевную: вѣдь свѣточъ ему данъ, это — Гетевскій „Фаустъ“. Вотъ почему мы и остановились нѣсколько дольше на изложеніи своего взгляда на знаменитую трагедію Гете: тамъ ключъ и къ психологій Вѣры, и вообще къ пониманію художественнаго значенія этого образа.

Вѣра и поняла, и не поняла „Фауста“. Это значитъ: она глубоко прочувствовала трагедію Гете и даже проникла въ смыслъ ея образовъ (вспомнимъ, напр. ея отзывъ о Мефистофелѣ въ Письмѣ пятомъ), но ея собственное душевное состояніе послѣ чтенія было ей непонятно. Чего не поняла она въ „Фаустѣ“, — такъ это — *самое себя*. Всякое произведеніе, раскрывающее намъ тайники души человѣческой (при чемъ все равно: будетъ ли это вещь художественная, или иная), непременно ведетъ къ самоанализу, къ самопознанію. Читатель оглядывается на себя, узнаетъ въ психологическихъ данныхъ, предъявляемыхъ авторомъ, свои собственные душевные состоянія, уясняетъ себѣ многое, что прежде онъ лишь смутно ощущалъ въ себѣ. И если послѣ чтенія его собственная натура и душа стала ему яснѣе, чѣмъ была прежде, онъ говоритъ, что онъ понималъ автора. Вотъ именно этотъ психологическій мотивъ у Вѣры проявился совсѣмъ особеннымъ образомъ. Вѣра всѣми фибрами своей души чувствовала, что загадоч-

ная книга открываетъ какую то глубокую и страшную правду о душѣ человѣческой, и что эти загадочныя стороны души и натуры, такъ ярко воспроизведенныя поэтомъ, находятся и въ ней самой, въ Вѣрѣ. Она слушала чтеніе съ какимъ то несознаннымъ, но упорнымъ внутреннимъ убѣжденіемъ, что это о ней рѣчь идетъ, что вотъ сейчасъ она узнаетъ о себѣ что то такое, чего раньше и не подозрѣвала. Ей казалось, что вотъ сейчасъ будетъ разоблачена какая то тайна, какой то вопросъ будетъ поставленъ, какія то скрытыя силы уже просыпаются въ душѣ, и нѣчто стихійное и роковое шевелится и бродитъ въ крови ли, въ чувствѣ ли, въ мозгу ли,—не разберешь и не поймешь, но ей ясно, что она уже не та, прежняя, спокойная, свѣтлая, чистая Вѣра, а какая то другая, съ какими то новыми помыслами и желаніями. И—воспитанная и до сихъ поръ жившая въ невѣдѣніи себя самой и „тайныхъ силъ жизни“—она, въ своемъ новомъ состояніи, не понимаетъ самое себя. Блаженное невѣдѣніе разрушено, но самопониманіе не дано, ибо вновь открытыя и пробужденныя силы души суть силы *ирраціональныя*, и—ихъ не поймешь, пока онѣ не скажутся болѣе опредѣленнымъ образомъ, пока не выйдутъ изъ этого состоянія глухого броженія и не претворятся въ извѣстныя, доступныя сознанію и подлежащія нравственной и иной квалификации чувства, помыслы, влеченія или страсти.

Вотъ именно эта невозможность понять себя и вытекающее отсюда смущеніе или даже ошеломленіе и было основнымъ элементомъ въ новомъ душевномъ состояніи Вѣры, или исходной точкой въ развитіи психологической драмы, изображенной Тургеневымъ въ *pendant* къ той, которую создалъ Гете. До сихъ поръ Вѣрѣ казалось, что она отлично себя знаетъ и понимаетъ. Это была женщина—не чета гетевской Гретхенъ. Послѣдняя, во-первыхъ, глупа и невѣжественна, во-вторыхъ, какая-то загнипнотизированная, безъ проблеска воли, мысли, инициативы. Вѣра—человѣкъ мыслящій, съ сильною волею, съ правилами, съ рѣзко-выраженной нравственной индивидуальностью. Ея невѣдѣніе—искусственно, плодъ педагогической ошибки матери и подъ нимъ скрывается огромная способность глубоко чувствовать и тонко

понимать многое, что для такихъ, какъ Гретхенъ, навсегда останется недоступнымъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ у Вѣры — большіе задатки къ самоопредѣленію, къ самосознанію. Она привыкла анализировать себя, задумываться надъ тѣмъ, что она такое, къ чему призвана, что должна дѣлать и т. д. И вотъ теперь ей приходится передѣлывать заново это свое, казалось, установившееся самопониманіе, приходится считаться съ какими-то новыми данными, которыя раньше въ расчетъ не принимались, искать новой формулы самоопредѣленія, пожалуй, тронуть, и въ очень чувствительныхъ мѣстахъ, всю систему своихъ давно сложившихся нравственныхъ понятій. И она чувствовала, что для нея начинается новая полоса жизни, и Богъ вѣсть, что сулитъ эта полоса. Ей было ясно, что она наканунѣ какихъ-то переменъ, а, можетъ быть, и катастрофы, въ своемъ внутреннемъ мірѣ... Къ чему приводятъ, какъ скажутся онѣ?

Она вспомнила завѣты и запреты матери. Мелькнула мысль: а вѣдь не даромъ она запрещала мнѣ это, — она знала...

Къ непониманію себя, къ смущенію передъ своей собственной загадочностью присоединились еще *ожиданіе* и родъ суевѣрнаго страха, что это неизвѣстное, опасное, страшное, о чемъ знала и отъ чего хотѣла уберечь ее мать, вотъ вотъ объявится... и найдетъ-ли она, Вѣра, силу, чтобы бороться съ нимъ?

И еще чувство: опасеніе, что этой силы не найти ей въ себѣ.

Съ развитіемъ (какъ извѣстно, очень быстрымъ) страстнаго чувства къ рассказчику, герою повѣсти, это опасеніе Вѣры все росло и вскорѣ превратилось въ увѣренность.

Но почему-же, однако? Вѣдь Вѣра — не дѣвочка. Это женщина сложившаяся, серьезная, съ нравственными устоями, къ тому-же мать семейства. А „культъ“ покойной матери? Неужели во всемъ этомъ не могла она почерпнуть силы для борьбы съ роковой страстью? Не могла. Вотъ и постараемся прослѣдить тотъ душевный процессъ, въ силу котораго Вѣра была приведена къ этой психологической невозможности противостоять страсти, къ роковому для нея сознанію своей обезоруженности.

Сперва прочтемъ слѣдующія строки въ Письмѣ пятомъ: „О „Фаустѣ“ мы съ ней разсуждали не однажды: но — странное дѣло! — о Гретхенъ она ничего сама не говоритъ, а только слушаетъ, что я ей скажу. Мефистофель ее пугаетъ не какъ чортъ, а какъ „что-то такое, что въ каждомъ человѣкѣ можетъ быть“.... Это ея собственные слова. Я началъ было толковать ей, что это „что-то“ мы называемъ рефлексіей; но она не поняла слова рефлексія въ нѣмецкомъ смыслѣ: она только знаетъ одну французскую „réflexion“ и привыкла почитать ее полезной“.

Кто, читая тургеневскаго „Фауста“, не обратилъ вниманія на эти слова, не оцѣнилъ ихъ значенія, тотъ не понялъ этого классическаго произведенія, которое, со всей своей содержательностью, всей сложностью и тонкостью психологической темы, уместилось на какихъ-нибудь 60-ти страницахъ: сжатость и экономія художественныхъ приемовъ — необыкновенныя, и ежели на что-нибудь тамъ обращено вниманіе и на это потрачено строкъ 10, то несомнѣнно это пунктъ — важный, и читателю необходимо вникнуть въ него. Вотъ и вникнемъ.

Вѣра избѣгаетъ говорить о Гретхенъ, т. е. высказывать свое о ней сужденіе, свое впечатлѣніе, но за то охотно слушаетъ то, что говоритъ о Гретхенъ герой повѣсти: это — психологическій симптомъ огромной важности. При всемъ своемъ отличіи отъ Гретхенъ, — вполне сознавая, что между нею и гетевской героиней — цѣлая пропасть, Вѣра съ какимъ-то внутреннимъ содроганіемъ чувствуетъ въ себѣ что-то такое — сближающее ее съ несчастной жертвой Фауста. Тотъ смутный процессъ, который развертывается въ душѣ Вѣры, преобразуетъ все ея существо въ извѣстномъ направленіи и тихо, но властно, неудержимо, какъ потокъ, влечетъ ее къ новому, невѣдомому, пугающему и чарующему душевному существованію, въ которомъ она — такъ ей чувствуется — съ ужасомъ, съ отчаяніемъ узнаетъ въ себѣ ту-же Гретхенъ. Поэтому говорить о Гретхенъ значитъ для нея говорить о себѣ, выдавать преждевременно тайну своего душевнаго броженія, своего смущенія. Наоборотъ, слушать о Гретхенъ ей любопытно и, слушая,

она ждетъ, не скажутъ-ли ей что-нибудь такое, что прольетъ нѣкоторый свѣтъ на ея собственныя душевныя движенія, поможетъ ей разобраться въ себѣ самой, понять именно то, чего она не понимаетъ въ „Фаустѣ“, себя самое.

Вотъ именно въ этомъ процессѣ пробужденія *другой* души въ Вѣрѣ, приближающемъ ее къ Гретхенъ, есть одинъ психологическій пунктъ, неясный для самой Вѣры, темный и загадочный самъ по себѣ. Это именно—тотъ внутренній Мефистофель, котораго Вѣра боится не какъ чорта, а какъ что-то такое, что можетъ быть въ каждомъ человѣкѣ. Гретхенъ—та боится Мефистофеля именно какъ чорта,—какъ соблазнителя, совратителя. Вѣрѣ на первыхъ порахъ такой Мефистофель не казался страшнымъ или опаснымъ. Тутъ между прочимъ и сказывается рѣзкое, коренное различіе между непосредственностью, ограниченностью, душевной простотою и пустою Гретхенъ съ одной стороны и умственнымъ и нравственнымъ превосходствомъ, сложностью и содержательностью натуры Вѣры—съ другой. Ну, а все-таки Мефистофель пугаетъ Вѣру. Она его боится потому, во-первыхъ, что онъ ей непонятенъ, теменъ и представляется чѣмъ-то зловѣщимъ, и—во-вторыхъ—потому, что это темное и зловѣщее, какъ она знаетъ, находится внутри человѣка, а не внѣ его. Однакоже, имѣть въ своемъ душевномъ обиходѣ Мефистофеля не представляется ей обязательнымъ, необходимымъ: она говоритъ: „можетъ находится въ каждомъ человѣкѣ“,—стало быть, можетъ и не находится,—какъ у кого, смотря по человѣку. Вотъ напр. имѣется-ли онъ въ ней самой, въ Вѣрѣ? Она въ этомъ не увѣрена, но, очевидно, допускаетъ возможность этого, а потому—и боится. Когда рассказчикъ объяснилъ ей, что этотъ внутренній Мефистофель есть *рефлексія*, то она не поняла этого, смѣшавъ понятіе рефлексіи съ французской *réflexion*. Ясное дѣло, что за этимъ непониманіемъ скрывается не только смѣшеніе терминовъ и незнакомство съ специальнымъ значеніемъ слова „рефлексія“ въ нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ, но также нѣчто болѣе важное: Вѣрѣ по самому существу ея душевной организаціи чужда и недоступна *рефлексія*—какъ извѣстный психическій моментъ. Вѣра принад-

лежитъ къ числу тѣхъ цѣльныхъ и глубоко-искреннихъ натуръ, въ которыхъ всякое чувство или движеніе душевное проникнуто необыкновенной жизненностью, свѣжестью, пылкостью, — и въ душевномъ обиходѣ которыхъ нѣтъ ни капли умственного яда, способнаго дѣйствовать на чувство охлаждающимъ и разлагающимъ образомъ. Поэтому, сколько ни объясняй Вѣрѣ, что такое рефлексія, она этого не *пойметъ*, т. е. не почувствуетъ. Но допустимъ, что рассказчику удалось какъ-нибудь разъяснить ей это, а равно и то, что въ ней *этого* Мефистофеля нѣтъ, и, стало быть, бояться его нечего, — спрашивается: какое значеніе имѣло-бы это разъясненіе для Вѣры, для дальнѣйшаго развитія совершающагося въ ней душевнаго процесса, для ея личнаго отношенія къ этому процессу? А вотъ какое.

Вѣра съ ужасомъ узнала-бы, что она гораздо ближе къ Гретхенъ, чѣмъ сама предполагала, что пропасть между ними вдругъ исчезаетъ. Вѣдь Гретхенъ также безъ рефлексіи, — а вѣдь, будь въ ея распоряженіи эта отравя чувствъ и страстей, она бы не была такая безпомощная, такая загипнотизированная; у нея была-бы нѣкоторая возможность борьбы и сопротивленія. Правда, у Вѣры есть умъ, воля, принципы, идеалы, а у Гретхенъ — ничего этого нѣтъ. Но она сейчасъ-бы почувствовала, что всѣ эти ея преимущества, и умъ, и воля, и принципы, и идеалы, и даже образъ матери въ рѣшительную минуту могутъ оказаться безсильными въ борьбѣ съ ея чувствующей и страстной душою, пробуждающейся, послѣ долгой спячки, къ жизни тѣмъ болѣе кипучей, къ дѣятельности тѣмъ болѣе неудержимой. Вотъ тутъ-то и была-бы неопѣненна помощь рефлексіи, — вотъ тутъ-то и сказалось-бы огромное преимущество — имѣть своего Мефистофеля, который со своей ироніей, сарказмомъ, способностью ополчить, развѣнчать, даже со своимъ циническимъ хохотомъ, — былъ-бы тутъ какъ разъ кстати. И Вѣра искренно пожалѣла-бы объ отсутствіи *такого* Мефистофеля и поняла-бы роковую формулу своего душевнаго перерожденія: чѣмъ меньше Мефистофеля, какъ рефлексіи, тѣмъ больше Гретхенъ, какъ гипноза страсти, — Мефистофель и Гретхенъ обратно пропорціональны.

Но Вѣра, какъ натура, которой совершенно чужда рефлексія, какъ „наивная и страстная“ душа, неспособная выдѣлять разлагающіе яды Мефистофеля, такъ и осталась до конца въ невѣдѣніи своей безпомощности, своей обезоруженности въ этомъ отношеніи. Конечно, тутъ, кромѣ натуры, много виновато и нелѣпое воспитаніе Вѣры. Какъ-бы то ни было, но Вѣра, не сознавая, что Мефистофель могъ-бы быть ей полезенъ, въ смыслѣ рефлексіи, но къ сожалѣнію отсутствуетъ, — вскорѣ съ ужасомъ убѣдилась въ другомъ, — что у нея, какъ и у Гретхенъ, тотъ же Мефистофель присутствуетъ самой опасной и отвратительной стороной своей — какъ чортъ, какъ искушитель.

Разъ она убѣдилась въ этомъ, — ей стало ясно, что дѣло зашло ужъ очень далеко, что ея душа быстро и неудержимо стремится къ тому ужасному, роковому, стихійному, ирраціональному, что воплощено въ Гретхенъ.

Это приближеніе Вѣры къ Гретхенъ должно быть психологически понимаемо, какъ пробужденіе въ душѣ Вѣры, очень сложной, какъ бы состоящей изъ напластованія нѣсколькихъ душъ, — той, которая глубоко была погребена въ самыхъ нѣдрахъ, — души ея бабки итальянки, этой Гретхенъ съ итальянской кровью въ жилахъ. Вспомнимъ здѣсь ея портретъ, описаніе котораго было приведено выше. Вспомнимъ также и замѣчаніе рассказчика, что „у Вѣры, несмотря на совершенное несходство очертаній, мелькаетъ иногда что то похожее на эту улыбку, на этотъ взглядъ“... Но тутъ же мы читаемъ слѣдующее: „Кстати! Ельцова, передъ свадьбой своей дочери, рассказала ей всю свою жизнь, смерть своей матери и т. д., вѣроятно, съ поучительною цѣлью. На Вѣру особенно подѣйствовало то, что она услышала о дѣдѣ, объ этомъ таинственномъ Ладаповѣ. Не отъ этого ли она вѣритъ въ привидѣнія? Странно! сама она такая чистая и свѣтлая, а боится всего мрачнаго, подземнаго, и вѣритъ въ него“...

Такъ вотъ онъ — Мефистофель Вѣры. Посмотримъ-ка на него поближе: что онъ, кто — онъ и — was will er an dem heiligen Ort?

Прежде всего, въ противоположность гетевскому, онъ не смѣется, не хохочетъ, онъ не циниченъ, не сквернословитъ и не

буфонить. Онъ, очевидно, не только — не духъ рефлексіи (это мы уже знаемъ), но и не — духъ отрицанія вообще.

Вѣра, какъ мы знаемъ, была воспитана на естественныхъ наукахъ. Но это не было высшее научное — въ настоящемъ смыслѣ этого слова — образованіе, воспитывающее духъ человѣческій въ сознаніи законосообразности явленій, развивающее мысль строгой дисциплиной методовъ науки и на этой почвѣ вырабатывающее цѣльное, законченное міросозерцаніе. Вѣра не шла дальше элементарнаго описательнаго естествознанія. Тѣмъ не менѣе, и такое образованіе, при всей его недостаточности, элементарности, незаконченности, все таки должно было дѣйствовать благотворно на живой, воспріимчивый умъ Вѣры, но оно было безсильно противодѣйствовать нѣкоторымъ врожденнымъ наклонностямъ ея души, парализовать которыя (вмѣстѣ со страстями), повидимому, и хотѣла Ельцова путемъ принятой ею программы образованія. Эти наклонности были: суевѣріе, страхъ передъ таинственнымъ, „подземнымъ“, адскимъ, боязнь „тайныхъ силъ“ жизни (какъ у матери), наконецъ прямо вѣра въ чорта, предрасположенность къ галлюцинаціямъ, принимаемымъ за дѣйствительныя „видѣнія“, увѣренность въ возможности общенія съ умершими. Все это у Вѣры было наслѣдственнымъ, оно шло отъ дѣда, Ладанова, — и, конечно, являлось душевнымъ началомъ въ высокой степени ирраціональнымъ. Въ средніе вѣка такія вѣрованія и суевѣрія были, психологически говоря, раціональны, ибо логически вытекали изъ общаго міросозерцанія, находились въ согласіи съ умственнымъ достояніемъ эпохи и строемъ мысли людей того времени. Но въ настоящее время, когда этого соотвѣтствія уже нѣтъ, по крайней мѣрѣ въ образованныхъ классахъ, когда всѣ эти суевѣрія находятся въ вопіющемъ противорѣчьи и съ общимъ міросозерцаніемъ, и съ развившимся на почвѣ научныхъ знаній и методовъ новымъ укладомъ умовъ, — эти въ своемъ родѣ рецидивы мысли должны быть признаны психологическимъ явленіемъ совершенно ирраціональнымъ и даже патологическимъ. Предрасположеніе къ такимъ рецидивамъ все еще сохраняется въ силу психологической наслѣдственности, дѣйствующей въ данномъ случаѣ черезъ посред-

ство *чувствъ*. Въ свое время всѣ вышеуказанныя вѣрованія и суевѣрія были связаны съ извѣстными, и очень сильными, чувствами, главнымъ образомъ — съ чувствомъ *страха* и еще съ другимъ, неяснымъ чувствомъ, въ которомъ совмѣщались особаго рода любопытство, влеченіе къ таинственному, жуткое ощущеніе близости этого таинственнаго, заманчивость дерзновенныхъ экскурсій въ эту область и т. п. (въ родѣ какъ у дѣтей, которыя и боятся войти въ темную комнату, и тянетъ ихъ туда). Чувства консервативнѣе мысли: извѣстныя формы или устои ея давно разложились и замѣнены новыми, а старыя чувства, раціонально сочетавшіяся съ прежними, нынѣ упраздненными достояніями ума, продолжаютъ сохраняться, хотя бы въ скрытомъ видѣ, какъ предрасположеніе, какъ стихійная, унаслѣдованная наклонность души, и — оживая — сочетаются совсѣмъ ужъ ирраціонально съ новыми нормами мысли. Современный спиритизмъ и медиумизмъ представляютъ собою яркій примѣръ такого сочетанія.

У Вѣры этотъ порядокъ средневѣковыхъ чувствъ и идей составлялъ неотъемлемую часть ея унаслѣдованной души, убаюканной „трезвымъ“ воспитаніемъ и монотонной жизнью, вдали отъ какихъ бы то ни было сильныхъ впечатлѣній, — души, другую половину которой составляли спящія страсти. Стоило проснуться одной половинѣ, или хотя бы одному элементу въ ней, и фатально — въ силу психологической ассоціаціи — должна была пробудиться и другая. Заговорила потребность любви, загорѣлась страсть, и ео ipso воскресли суевѣрные страхи, явились галлюцинаціи, — голоса и видѣнія. Но это пробужденіе, вѣроятно, не было бы такъ внезапно и фатально, если бы оно совершилось безъ помощи того искусственнаго и очень сильнаго средства, которымъ послужило чтеніе гетевского „Фауста“. Это чтеніе сразу перенесло воображеніе Вѣры въ родственную ей по духу средневѣковую сферу, въ пугающую и манящую сферу видѣній, духовъ, тайныхъ силъ, заклинаній, исчадій ада. Первые сцены должны были вызвать въ ея памяти образъ дѣда, Ладанова, который занимался химіей и кабалистикой и вызывалъ духовъ. И въ другой „памяти“ — унаслѣдованныхъ чувствъ не могли не воскреснуть до-

тѣхъ поръ спавшія ощущенія—страхъ, глубокое влеченіе къ таинственному и содроганіе передъ нимъ, ожиданіе, что „а вдругъ“ явится духъ дѣда или матери... Все это, разумѣется, проходило въ душѣ пока въ видѣ смутныхъ предчувствій, неясныхъ и тревожныхъ ожиданій, невыясненныхъ опасеній. Но вотъ является на сцену Гретхенъ, и съ нею во внутреннемъ мірѣ Вѣры выступаютъ изъ мрака влеченія и стремленія, которыя кажутся ей въ одно и то же время и чуждыми, и своими собственными, и новыми, невѣдомыми, и старыми, искони заложенными въ ея душу.

И въ душѣ Вѣры между этими двумя порядками представлений и чувствъ установилась тѣсная психологическая ассоціація. Таинственное, адское, „подземное“ предстало ея сознанію въ союзѣ съ пробуждающимся чувствомъ—любви. Любовь явилась ей не какъ идеальное, мечтательное, чистое движеніе души, а въ видѣ адской силы, мрачной и гнетущей. И Вѣра знала, что не будетъ въ состояніи противостоять этой роковой силѣ, этому „дьявольскому навожденію“.

Чтобы уяснить себѣ вытекавшее отсюда душевное состояніе Вѣры, нужно вспомнить, что не только натурамъ съ такими задатками и суетвѣрными предрасположеніями, какъ у Вѣры, но и людямъ съ умомъ трезвымъ и скептическимъ, не знающимъ суетвѣрныхъ страховъ, любовь (т. е. состояніе страстной влюбленности) представляется какою то роковою силою, слѣпою, темной, непонятной, дѣйствующей стихійно, передъ которою пасуетъ и воля, и разумъ. Въ такомъ представленіи еще нѣтъ ничего суетвѣрнаго, но уже есть нѣкоторый проблескъ ирраціональнаго настроенія. И оно вполне законосообразно, ибо та любовь, которую мы здѣсь имѣемъ въ виду, есть чуть-ли не самое *ирраціональное* изъ всѣхъ чувствъ человѣческихъ: его корни глубоко лежатъ въ животной основѣ нашей природы, оно—въ своей простѣйшей психологической формѣ—уже было „до человѣка“, его психологическая эволюція, его высшія проявленія до сихъ поръ ограничены и стѣснены закономъ біологическимъ. Вотъ именно сознаніе ирраціональности, стихійности этого чувства, его значенія—какъ общаго закона, его, такъ сказать, принудительности, неумолимости и вы-

зываетъ въ насъ нѣкоторый страхъ по отношенію къ нему. А затѣмъ уже, смотря по человѣку, по складу его ума, по культурѣ его мысли, это отношеніе можетъ развиваться или преобразоваться въ разныхъ направленіяхъ: у одного оно перейдетъ въ тотъ рациональный, агностическій, уравновѣшенный, спокойный, свѣтлый мистицизмъ, который сопутствуетъ научному міропониманію, другой усмотритъ въ немъ какое-то загадочное начало; третій, не мудрствуя лукаво, найдетъ его источникъ въ небесахъ; четвертый, столь-же немудрствующій,—въ преисподней.

Для Вѣры оно было именно исчадіемъ ада, и у нея сильнѣе, чѣмъ у кого-либо, должно было сказаться иррациональное отношеніе къ любви, доведенное до настоящаго суевѣрія, осложненное дѣтскими страхами и галлюцинаціями.

Эти осложненія убили въ ней *поэзію* любви, все то освѣжающее, возрождающее, свѣтлое, что несомнѣнно есть въ любви. Пусть въ своей основѣ любовь біологична, но вѣдь съ тѣмъ вмѣстѣ она—источникъ жизни и вѣчный, непримиримый и по своему могучій врагъ смерти, а въ человѣкѣ къ тому-же она давно переработана и облагорожена многовѣковой культурой мысли и чувства. Она давно уже *очеловѣчена*, она издревле одухотворена искусствомъ, просвѣтлена поэзіей и тѣмъ болѣе жизненнымъ и животворящимъ началомъ является она.

Для Вѣры она — начало смертоносное.

Вспомнимъ здѣсь сцену послѣдняго свиданія (Письмо 9-е).

Молча дошли мы до китайскаго домика, молча вошли въ него, и тутъ—я *до сихъ поръ не знаю, не могу понять, какъ это случилось*—мы внезапно очутились въ объятіяхъ другъ-друга. *Какая-то невидимая сила бросила меня къ ней, ее—ко мнѣ. При потухающемъ свѣтѣ дня, ея лицо, съ закинутыми назадъ кудрями, мгновенно озарилось улыбкой самозабвенія и нѣги, и наши губы слились въ поцѣлуй...*

Ихъ вела какая-то сила, должно быть—адская, которой они не могли противиться, и шли молча, покорно, точно приговоренные или загипнотизированные. Та-же сила бросила ихъ въ объятія другъ-другу. Это не они тутъ дѣйствуютъ, стремятся, хотятъ,

любить. Это какой-то Мефистофель распоряжается ими, какъ пѣшками. Тотъ-же Мефистофель или та-же слѣпая сила дозволила имъ почувствовать на мгновение поэзію любви („улыбка самозабвенія и нѣги“), но съ тѣмъ, чтобы сейчасъ-же уничтожить эту поэзію, это очарованіе грознымъ призракомъ смерти.

„Вѣра вдругъ вырвалась изъ моихъ рукъ и, съ выраженіемъ ужаса въ расширенныхъ глазахъ, отшатнулась назадъ... — Оглянитесь, сказала она мнѣ дрожащимъ голосомъ: — вы ничего не видите? Я быстро обернулся. — Ничего. А вы развѣ что-нибудь видите? — Теперь не вижу, а видѣла. — Кого? Что? — Мою мать, медленно проговорила она и затрепетала вся. Я тоже вздрогнулъ, словно холодомъ меня обдало. Мнѣ вдругъ стало жутко, какъ преступнику. Да развѣ я не былъ преступникомъ въ это мгновение? — Полноте... началъ я: — что вы это? Скажите мнѣ лучше... — Нѣтъ, ради Бога нѣтъ! — перебила она и схватила себя за голову. — Это сумасшествіе... Я съ ума схожу... Этимъ шутить нельзя — это смерть... Прощайте“...

Вѣра — прекрасная мать и жена. Но почему-же въ этой сценѣ она не вспомнила о своихъ дѣтяхъ, — если уже мысль о супругѣ, г-нѣ Пріимковѣ, по его совершенной незначительности, не могла въ эту горячую минуту шевельнуться въ ея сознаніи?

Вѣрѣ выпало на долю пережить душевную исторію дѣда и матери, — но только въ обратномъ порядкѣ: тѣ отъ страстей и бурь житейскихъ бросились въ противоположную крайность, — въ своего рода аскетизмъ, — фаустовское „entbehren sollst du, sollst entbehren“ — стало ихъ лозунгомъ. И вотъ тутъ-то, на почвѣ этого самоотреченія, у нихъ расцвѣло новое чувство: страстная, неразумная, болѣзненно-исключительная любовь къ дѣтямъ, — вспомнимъ, какъ безумно любилъ Ладановъ свою дочь, какъ Ельцова всѣ помыслы свои и всю жизнь сузила на воспитаніи Вѣры. — У послѣдней такого страстнаго отношенія къ дѣтямъ нѣтъ — пока: оно несомнѣнно появилось бы позже, если бы Вѣра не умерла, если бы ей пришлось испытать и пережить всѣ восторги и всю горечь страсти. Тогда у нея возникла-бы такая-же реакція, какая была у дѣда и матери; Вѣра, по ихъ примѣру, перешла-бы

къ „отреченію“ и вся сила ея глубокой и страстной души ушла бы въ любовь къ дѣтямъ и въ культъ долга. Но Вѣрѣ не суждено было пережить кризисъ. Воспитанная какъ тепличное растеніе, не предохраненная прививкою ядовъ жизни, связанная гипнотизирующей памятью матери, созданіе нѣжное и хрупкое, — она пала жертвою *страха* передъ тѣми чувствами, которыя въ ней пробудились, тѣми галлюцинаціями, которыя она приняла за дѣйствительное явленіе матери съ того свѣта. Нервы и мозгъ не выдержали гнета этихъ психическихъ процессовъ.

Не безслѣдно прошла эта коллизія и для героя повѣсти. Онъ какъ бы воспринялъ отъ Вѣры и ея предковъ ихъ мистическое настроеніе и, по ихъ стопамъ, приходитъ все къ тому-же „отреченію“, въ которомъ усматриваетъ высшій законъ человѣчества. „Я сталъ не тотъ (пишетъ онъ въ послѣднемъ письмѣ), какимъ ты зналъ меня: я многому вѣрю теперь, чему не вѣрилъ прежде. Я все это время столько думалъ объ этой несчастной женщинѣ... объ ея происхожденіи, о тайной игрѣ судьбы, которую мы, слѣпые, величаемъ слѣпымъ случаемъ. *Кто знаетъ, сколько каждый, живущій на землѣ, оставляетъ сѣмянъ, которымъ суждено взойти только послѣ его смерти?* Кто скажетъ, какой таинственной цѣпью связана судьба человѣка съ судьбой его дѣтей, его потомства, и какъ отражаются на нихъ его стремленія, какъ разыскиваются съ нихъ его ошибки? Мы всѣ должны *смириться* и преклонить головы передъ невѣдомымъ“. И далѣе: „одно убѣжденіе вынесъ я изъ опыта послѣднихъ годовъ: жизнь не шутка и не забава; жизнь даже не наслажденіе... *жизнь — тяжелый трудъ. Отреченіе, отреченіе постоянное* — вотъ ея тайный смыслъ, ея разгадка: не исполненіе любимыхъ мыслей и мечтаній, *какъ бы они возвышенны ни были*, — исполненіе долга, вотъ о чемъ слѣдуетъ заботиться человѣку; не *наложивъ на себя цѣпей, желѣзныхъ цѣпей* долга, не можетъ онъ дойти, не падая, до конца своего поприща“...

Закончимъ вопросомъ: этотъ идеалъ, при послѣдовательномъ проведеніи, не возвратитъ ли насъ къ среднимъ вѣткамъ, и не потерпѣтъ ли онъ то фіаско, на которое такъ хорошо указалъ Майковъ въ „Саванароллѣ“:

...Но умирая
И по слѣдамъ Твоимъ ступая,
Твой подвигъ сердцемъ возлюбя,
Христось, онъ *понялъ-ли Тебя?*
О, нѣтъ! Скорбящихъ утѣшая,
Ты чистыхъ радостей не гналь,
И Магдалину возрождая,
Дѣтей на жизнь благословляль...

Ирраціональное въ человѣкѣ не можетъ быть обуздано никакими желѣзными цѣпами самоотреченія; оно должно быть облагорожено, просвѣтлено, очеловѣчено *раціональными* силами духа, — въ сферѣ ума — наукой и искусствомъ, въ сферѣ чувствъ и страстей — тою „нищетою“ и „кротостью“ духа, о которыхъ говоритъ Евангеліе и источникъ которыхъ — въ сочувствіи всему живому, въ жалости и въ состраданіи. И если эти сокровища духа по преимуществу свойственны женщинѣ, то въ нихъ мы и будемъ искать „das Ewig-weibliche“, идеаль Вѣчноженственного. Его высшее художественное воплощеніе дано Тургеневымъ въ образѣ Лизы, героини „Дворянскаго гнѣзда“.

Глава VII.

Творецъ изъ лучшаго ээира
Соткаль живыя струны ихъ,
Онѣ не созданы для міра,
И міръ былъ созданъ не для нихъ...

Лермонтовъ.

Das Ewig—Weibliche
Zieht uns hinan!

Goethe.

I.

Въ предыдущемъ очеркѣ, анализируя типъ героини „Фауста“, мы отмѣтили между прочимъ прирожденную склонность Вѣры къ мистическому, но мы ничего не говорили о религіи Вѣры. Мы были въ правѣ обойти этотъ пунктъ, потому что въ душевномъ обиходѣ этой женщины религіозное чувство играетъ роль столь незначительную, что изслѣдователю нѣтъ надобности считаться съ нимъ. Мистическое присутствуетъ въ сознаніи Вѣры въ видѣ силы отталкивающей, а не притягательной, оно вызываетъ въ ней чувство страха, оно открывается ей своею адскою, подземною, мрачною стороною, и мы не находимъ въ душѣ Вѣры игры тѣхъ струнъ, которыми устанавливается специфическая *связь* (religio) человѣческаго сознанія съ сферой мистической, образующая сущность религіознаго уклада души.

Чтобы подслушать таинственную игру этихъ струнъ, чтобы заглянуть въ глубину религіозной души человѣка, нужно обратиться къ поэтическому образу Лизы, героини „Дворянскаго гнѣзда“.

И прежде всего я попрошу читателя припомнить главу XXXV, гдѣ говорится о воспитаніи Лизы, о вліяніи на нее Агафьи, этой въ своемъ родѣ необыкновенной женщины. Изъ этой-же главы, однако, мы выносимъ убѣжденіе въ томъ, что вліяніе Агафьи могло оказаться столь могущественнымъ только потому, что сама натура Лизы была отъ рожденія надѣлена задатками глубокой, всепоглощающей религіозности. Когда Агафья рассказывала ей „о Пречистой Дѣвѣ, о святыхъ угодникахъ, которые жили въ пустыняхъ, терпѣли голодъ и нужду и — царей не боялись, Христа исповѣдывали“, Лиза слушала и проникалась очарованіемъ этой религіозной эпопеи такъ, какъ это возможно только для натуры, одаренной исключительной глубиною и широтою религіознаго чувства. Она слушала, „и образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ“...

Не всякому и не всякой дано *такъ* вѣрить и *такъ* любить Бога. Религія вообще въ высокой степени индивидуальна. Принадлежность двухъ лицъ къ одному и тому-же вѣроповѣданію еще не означаетъ, чтобы эти два лица имѣли одну и ту-же религію. Религія есть внутренній, душевный процессъ, и ея духъ, ея характеръ опредѣляется не буквою догмы, а интимнымъ, сокровеннымъ, часто неяснымъ самому человѣку отношеніемъ его къ божеству. А это отношеніе, по необходимости, разнообразится до безконечности — смотря по человѣку. Не только *пониманіе* божества у разныхъ людей должно быть различно, сообразно особенностямъ ума, степени развитія и т. д., но, что еще важнѣе, само религіозное *чувство*, вообще чрезвычайно сложное, въ разныхъ натурахъ въ сильной степени видоизмѣняется, смотря по тому, какая изъ его составныхъ частей беретъ верхъ надъ другими. У одного, напримѣръ, въ этомъ чувствѣ преобладающимъ элементомъ является *смиреніе* передъ всемогуществомъ Божества, у другого — *умиленіе* передъ его благостью, у третьяго — *страхъ* и т. д. Вы скажете, что это — отгѣнки чувства, подробности въ отношеніяхъ умовъ и сердецъ къ Божеству. Но въ психологій человѣка, въ дѣятельности его ума и чувства, отгѣнки и подроб-

ности чрезвычайно важны, часто важнѣе основныхъ идей и чувствъ, и ими то опредѣляется подлинный внутренній міръ человѣка, его психологическая индивидуальность. Психологически — у каждаго вѣрующаго человѣка свой Богъ, каждый своему Богу и по своему молится, и религіи на земномъ шарѣ столько-же, сколько и людей съ религіознымъ укладомъ души.

Какова-же была религія Лизы?

Приведенныя выше слова („образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу...“ и т. д.) уже даютъ намъ точку опоры для сужденія о религіозномъ чувствѣ Лизы. Очевидно, въ этомъ чувствѣ *страхъ* Божества если не совсѣмъ отсутствовалъ, то по крайней мѣрѣ игралъ роль второстепенную; немного значенія имѣла также и философская (метафизическая) сторона идеи Божества. На первомъ планѣ была у Лизы *мистическая любовь*, въ которой отразилась вся глубина, вся нѣжность, вся искренность и чистота ея натуры. „Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого-бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно“.

Положимъ, вы — человѣкъ глубоко-религіозный, и вамъ хорошо извѣстно то особое чувство, которое есть любовь къ Богу. И вотъ вы на основаніи этого *своего* чувства хотите составить себѣ точное представленіе о соотвѣтственномъ чувствѣ Лизы. Но если въ составъ вашего чувства не входитъ эта *восторженность*, эта *робость* и *нѣжность*, если къ тому же вы не можете любить, какъ Лиза, „всѣхъ и никого въ особенности“, и у васъ есть друзья и враги, и вообще вы доступны обыденнымъ, житейскимъ страстямъ, то, будьте увѣрены, вы, по своему чувству любви къ Богу, какъ бы оно ни было сильно, не составите себѣ должнаго представленія о томъ, какъ Лиза любитъ Бога, каковъ религіозный укладъ ея души. Чтобы вполнѣ понять чужую любовь, нужно самому испытать ее во всей ея индивидуальности, что невозможно, въ особенности — если дѣло идетъ о любви отвлеченной, не отъ міра сего, какова любовь къ Богу, къ истинѣ, человѣчеству.

Чтобы почувствовать ту любовь къ Богу и людямъ, которою исполнена Лиза, нужно имѣть душу Лизы со всей ея чистотою, дѣтской невинностью, непосредственной глубиною, прирожденной святостью. А такъ какъ это невозможно, то *субъективнаго* пониманія Лизы, какое именно и требуется въ сферѣ чувствъ, у васъ не можетъ быть: для васъ, какъ и для всѣхъ, душа Лизы останется ирраціональной, загадочной. Но есть другой путь, — путь объективнаго наблюденія и сравненія съ другими женскими натурами. Наблюдая различныя душевныя свойства Лизы, ея поступки, ея отношенія къ окружающимъ людямъ и т. д., мы можемъ уловить различіе между нашимъ внутреннимъ міромъ и душою Лизы. Это различіе и дастъ намъ нѣкоторый критерій для сужденія о томъ, что такое Лиза вообще и ея религіозность въ частности.

Изъ запаса такихъ наблюденій прежде всего отмѣтимъ слѣдующее. У огромнаго большинства религіозныхъ людей чувство къ Богу является дѣятельнымъ только въ извѣстные моменты, которые у однихъ повторяются чаще, у другихъ рѣже. Къ этому большинству можно примѣнить — *mutatis mutandis* — извѣстное стихотвореніе Пушкина: „Пока не требуетъ поэта къ священной жертвѣ Аполлонъ, въ заботахъ суетнаго свѣта онъ малодушно погруженъ“... Въ обыкновенное время, — въ религіозныя будни, — живое чувство къ Божеству какъ бы нейтрализуется. Чтобы оно воспрянуло и овладѣло душою, нужно или что нибудь чрезвычайное, болѣзнь, потеря близкихъ, страхъ смерти, или — извѣстная обстановка, вызывающая, по психологической ассоціаціи идей, пробужденіе религіознаго чувства. Совсѣмъ не то видимъ мы у Лизы. Въ ней религіозное настроеніе всегда на лицо, и религіозное чувство всегда бодрствуетъ. Для нея нѣтъ религіозныхъ будней. Она вся проникнута и просвѣтлена этимъ мистическимъ началомъ, которое образуетъ неотъемлемую часть ея существа. Оно всегда при ней, какъ при ней — ея чистота, ея доброта, ея нѣжность. Это кладетъ на Лизу особый отпечатокъ. Она является передъ нами озаренною какимъ то внутреннимъ свѣтомъ, придающимъ ей несказанную прелесть. Самая обыкновенная, самая

мелкая и прозаическая душа въ моментъ религіознаго умиленія преобразается и становится по своему глубокой и значительной, и самое пошлое лицо — въ эту минуту экстаза — облагорожено вдохновеніемъ. Но пройдетъ это „чудное мгновеніе“, и мелкая душа опять станетъ мелкой, и пошлое лицо снова приметъ свое обычное выраженіе. Лиза родилась и живетъ — „преображенной“. Но это отличіе Лизы отъ обыкновенныхъ религіозныхъ людей не только количественное, а и качественное: самая религіозность Лизы — иного, высшаго рода. Обыкновенный человѣкъ въ большинствѣ случаевъ самъ портитъ себѣ то „чудное мгновеніе“ религіознаго подъема души, о которомъ мы говоримъ, — портитъ, внося сюда привычныя эгоистическіе мотивы, движущіе имъ въ его повседневной, будничной жизни; молясь, онъ обыкновенно о чемъ нибудь просить, и лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ его молитва, его религіозное настроеніе является безкорыстнымъ и самодовлѣющимъ созерцаніемъ Божества. Лиза именно и принадлежитъ къ числу тѣхъ рѣдкихъ натуръ, которыя одарены исключительнымъ даромъ созерцать Божество. Но созерцаніе Божества бываетъ, смотря по созерцающему уму, весьма и весьма различно. Каково оно у Лизы? Для отвѣта на этотъ вопросъ достаточно вспомнить, что всѣ силы души у нея направлены на мистическую любовь къ Богу („она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно...“), а ея умъ занятъ проблемой смерти. „Христіаниномъ нужно быть“, говоритъ оно Лаврецкому, „не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть“. По ея собственному признанію, она часто думаетъ о смерти (гл. XXVI). Почему же она часто думаетъ о смерти? Боятся ея? Очевидно, нѣтъ. Она не изъ числа тѣхъ малодушныхъ, которые такъ подвержены страху смерти. Она думаетъ о смерти потому, что больше всего любить Бога и притомъ — любить его своеобразно, по женски, внося, въ это чувство (которое, по существу, должно быть въ извѣстномъ смыслѣ „отвлеченнымъ“, какъ любовь къ идеѣ, истинѣ, справедливости) много непосредственности, женской нѣжности, влюбленности, беззащитности. Вся проникнутая этимъ жи-

вымъ мистическимъ чувствомъ, она не можетъ быть такъ привязана къ радостямъ, къ счастью земной жизни, какъ другія женщины, и смерть, этотъ страшный и таинственный актъ, занимаетъ ея умъ лишь какъ переходъ къ другому, высшему существованію. Оттуда и это равнодушіе къ жизни, и эта боязнь грѣха, дурного помысла и способность съ легкимъ сердцемъ отречься отъ эгоистическаго земнаго счастья и, наконецъ, свобода отъ власти земной женской любви. При такомъ состояніи души обыкновенная логика вещей теряетъ свои права. Душа становится ареной ирраціональныхъ движеній, и загадочное въ ней возводится на высшую ступень—мистическаго.

Но чтобы лучше наблюдать и яснѣ видѣть то, что мы наблюдаемъ, сравнимъ Лизу съ нѣкоторыми другими тургеневскими женщинами и прежде всего—съ тою изъ нихъ, въ которой, какъ и въ Лизѣ, главнымъ движущимъ мотивомъ является религіозное чувство. Я имѣю въ виду Софи, героиню разсказа „Странная Исторія“. Для этой провинціальной барышни ея религіозныя стремленія составляютъ *все*, весь смыслъ жизни. Она не интересуется ни замужествомъ, ни развлеченіями, ни балами и думаетъ только о „божественномъ“; она преисполнена того рѣзкаго мистицизма, который ищетъ знаменій, вѣщихъ сновъ, голосовъ, видѣній и требуетъ осязательнаго проявленія таинственныхъ силъ въ самой жизни: натуры этого рода преданы не столько Богу, сколько тѣмъ, кого онѣ считаютъ сосудами или посланцами Божества на землѣ, „пророкамъ“, юродивымъ, проповѣдникамъ; такія женщины скорѣе уйдутъ въ какую нибудь мистическую секту, чѣмъ въ монастырь, какъ это дѣлаетъ Лиза. Софи дѣлается спутницей и рабой выжившаго изъ ума юродиваго.

Излишне доказывать, что ничего подобнаго не могло бы случиться съ Лизой. Въ ней слишкомъ много самостоятельности и внутренней свободы, чтобы для нея возможно было рабское подчиненіе чьей бы то ни было волѣ. Она никогда не позволитъ другому человѣку „загипнотизировать“ ее, овладѣть ея душою. Лиза—при всей своей женственности, нѣжности, кротости—натура сильная, мощная, цѣльная, aus einem Guss. Софи—при всей

своей прямолинейности, при всемъ упорствѣ и изумительной способности къ своего рода мученическому подвигу—натура слабая, дряблая, безъ своей воли, безъ своей личности. Она загнипнотизирована въ прямомъ смыслѣ этого слова, и ея душевный міръ относится къ области психопатологіи. Лиза—натура душевно-здоровая не только въ тѣсномъ, но и въ обширномъ смыслѣ: въ ней нѣтъ никакихъ признаковъ той душевной вялости, той безхарактерности, апатіи, развинченности и т. д., которымъ подвержены многія и весьма различныя натуры. Въ этомъ смыслѣ она здоровѣе Лаврецакаго, и развѣ только вѣчно-юный Михалевичъ не уступить ей въ этомъ отношеніи.

Въ несомнѣнной связи съ душевнымъ здоровьемъ Лизы находится другая черта ея натуры, на которую мы только что указали мимоходомъ: это именно — *внутренняя свобода*, чѣмъ Лиза такъ выгодно отличается отъ Софи, а также отъ многихъ женщинъ нерелигіознаго типа и сближается съ *Маріанной*.

У обѣихъ (у Лизы и Маріанны) есть нѣчто идеальное въ самой натурѣ, у обѣихъ горитъ въ душѣ нѣкій священный огонь, обѣ движутся силою высшихъ, идеальныхъ стремленій, но ни у той, ни у другой нѣтъ и тѣни того фанатизма, который дѣлаетъ человѣка узкимъ, одностороннимъ, рабомъ идеи или чувства. Различіе между ними не въ этомъ, а въ темпераментѣ, въ складѣ ума, въ качествѣ натуры, въ положительномъ содержаніи движущихъ ими идей. Маріанна—*героиня*, Лиза—*святая*. Но героизмъ одной и святость другой соединены въ нихъ съ большою широтою и ясностью духа, съ независимостью мысли, съ неугнетенностью чувства,—съ тѣмъ именно, для чего нѣтъ лучшаго термина, какъ внутренняя свобода. Софи съ этой стороны отгѣняется Лизу какъ разъ такъ, какъ Машурина отгѣняетъ Маріанну. И обѣ, Лиза и Маріанна, именно въ качествѣ натуръ идейныхъ и въ то же время внутренне-свободныхъ, одинаково свободны и отъ *власти любви*. Какъ Маріанна не стала рабою своего чувства къ Соломину (не говоря уже о Неждановѣ), такъ и Лиза не была поработчена любовью къ Лаврецкому. Она полюбила Лаврецакаго глубоко и горячо (и, повидимому, на всю жизнь), но ради этой

любви, ради возможнаго счастья, она ни на іоту не поступилась своими завѣтными помыслами, тѣмъ, что привыкла считать своимъ нравственнымъ дѣломъ, своими христіанскими воззрѣніями. Какъ немислимо, чтобы Маріанна измѣнила своимъ идеямъ и стремленіямъ ради какой бы то ни было любви, такъ невозможно и Лизѣ поступиться для личнаго счастья своими религіозными и нравственными убѣжденіями. Вообще нельзя себѣ представить ни Лизу, ни Маріанну „загипнотизированными“ страстью (хотя бы эта страсть и не вела къ необходимости поступиться излюбленными идеями)—какъ это мы видимъ въ Еленѣ, нельзя также вообразить ихъ поставленными въ необходимость, подобно Зинаидѣ, безсильно и безуспѣшно отстаивать свою внутреннюю свободу и горько оплакивать ея утрату. Отъ Зинаиды, натуры, какъ мы видѣли, также съ большими задатками внутренней свободы, онѣ отличаются между прочимъ въ томъ отношеніи, что у героини „Первой любви“ внутренняя свобода перешла въ сферу сознанія и рассматривается ея обладательницею, какъ нѣкоторый даръ, который слѣдуетъ беречь, но который можно и потерять, между тѣмъ какъ Лиза и Маріанна свободны безсознательно, сами того не замѣчая: это — неотъемлемая часть ихъ существа, это воздухъ, которымъ онѣ дышутъ. Въ противоположность Зинаидѣ, онѣ *не могутъ* потерять своей внутренней свободы, и это потому, что ихъ человѣческая личность, окрыленная идеальными стремленіями, уже возвысилась надъ тѣмъ уровнемъ, на которомъ она еще подвержена угнетающему воздѣйствію женственности.

Но Маріанну, какъ извѣстно читателю, мы считаемъ самымъ *раціональнымъ* женскимъ типомъ, а Лизу — самымъ *ирраціональнымъ*. Вотъ именно на это коренное различіе намъ и предстоитъ теперь обратить вниманіе: это поможетъ намъ лучше понять Лизу и въ особенности уяснить себѣ ту сторону ея натуры, которую я опредѣляю гётевскимъ „das Ewig-Weibliche“, утверждая въ то же время, что Лиза свободна отъ гнета женственности.

Душевный міръ обѣихъ, Лизы и Маріанны, движется силою высшихъ идей и въ особенности *чувствъ*. Чувства вообще ирраціональны, но въ разной мѣрѣ. То, которое дѣйствуетъ въ Ма-

ріаннѣ, принадлежитъ къ числу *наименѣе* ирраціональныхъ. Это именно чувство любви къ идеѣ и человѣчеству, настолько сильное и живое, что ведетъ къ подвигу, къ самопожертвованію. Оно, во первыхъ, не принадлежитъ къ числу *тѣхъ спеціально-женскихъ* чувствъ, которыя уже въ силу этой спеціализаціи, этой ихъ *женственности*, намъ, мужчинамъ, кажутся, да и въ самомъ дѣлѣ являются ирраціональными. То, что согрѣваетъ душу Маріанны и служить движущей пружиной ея стремленій, доступно и намъ, мужчинамъ. Въ Маріаннѣ оно только обрашивается женской чуткостью, непосредственностью, страстностью и т. п., но эта окраска еще не дѣлаетъ его загадочнымъ. Во вторыхъ, оно, это чувство, весьма доступно анализу и контролю ума. Быть можетъ, и по своему происхожденію, оно сродни раціональнымъ силамъ духа. Это чувство есть *альтруизмъ*, — психическое начало двойственнаго происхожденія: на половину это — душевное стремленіе, развившееся изъ природной общественности человѣка (эмбрионъ альтруизма — въ „стадномъ чувствѣ“), на половину же это одно изъ „умственныхъ“ чувствъ, т. е. такихъ, развитіе которыхъ невозможно безъ расширенія мысли, безъ работы ума, безъ вліянія идей. Оттуда тотъ общезвѣстный фактъ, что прогрессъ науки, философіи, литературы, образованности всегда предшествуетъ возникновенію болѣе или менѣе широкихъ общественныхъ движеній, появленію общественныхъ дѣятелей, реформаторовъ, героевъ. Въ этомъ смыслѣ справедливо старое изреченіе, что идеи движутъ міромъ¹⁾.

Находясь въ зависимости отъ разумныхъ силъ мысли, ими просвѣтленный и освобожденный отъ слѣпыхъ пристрастій (напр., національных), высшій общечеловѣческій альтруизмъ является однимъ изъ наиболѣе *раціональныхъ* чувствъ. Таковъ именно аль-

¹⁾ Есть, конечно, разные виды, сорта и ступени альтруистическаго чувства; изъ нихъ выше и раціональнѣе тѣ, которые находятся въ большей зависимости отъ разума, отъ идей, и наиболѣе удалены отъ стихійнаго чувства стадности. Поэтому альтруизмъ космополитическій (безъ различія національности, сословія, религіи и т. д.) раціональнѣе напр. націоналистическаго, сословнаго и т. п. Національный альтруизмъ въ своемъ низшемъ выраженіи — въ шовинизмѣ — спускается до полной ирраціональности и дѣйствуетъ слѣпо и — нехудо.

труизмъ Маріанны. При ея живомъ умѣ, при большой внутренней свободѣ, отсутствіи фанатизма, онъ становится душевнымъ началомъ, въ которомъ ирраціональность чувства доведена до минимума и можетъ считаться равной нулю.

Обратимся къ Лизѣ. Ея основное чувство есть также альтруизмъ — очень широкій, всечеловѣчскій, христіанскій въ настоящемъ, евангельскомъ смыслѣ, и съ этой точки зрѣнія онъ — выше и чище альтруизма Маріанны: онъ подчиняется завету „любите враговъ вашихъ, дѣлайте добро ненавидящимъ васъ“. Онъ — одна, чистая, непримѣсная любовь, безъ вражды и ненависти, — любовь, являющаяся выраженіемъ того наивысшаго этического начала, которое дано въ Нагорной проповѣди. Лиза всѣхъ любить, жалѣетъ и прощаетъ, — даже Паншина и жену Лаврецкаго. Она органически неспособна ненавидѣть — напр. дурного, злого челоѣка, за то, что онъ зло; она будетъ только скорѣть и молиться о немъ. Такая любовь — не отъ міра сего, и душа, ею движимая, не призвана жить, трудиться и бороться въ этомъ грѣшномъ мірѣ, гдѣ нельзя обойтись — въ интересахъ добра и правды — безъ вражды и ненависти. Но къ нравственному міру челоѣка не приложимъ масштабъ утилитарности. Нравственныя стремленія имѣютъ свою безотносительную цѣнность, свое абсолютное достоинство независимо отъ примѣнимости ихъ къ жизни. Съ этой точки зрѣнія, по скольку въ строго-этическомъ смыслѣ идеалъ Нагорной проповѣди выше всѣхъ другихъ идеаловъ, по столько и душа Лизы выше души Маріанны, и любовь героини „Дворянскаго Гнѣзда“ шире и чище любви героини „Нови“. Но эта высь, и ширь, и чистота святого чувства куплены здѣсь цѣною раціональности *мысли*.

Чтобы уяснить себѣ это, необходимо обратить вниманіе на то, въ какія отношенія къ сферѣ умственной, къ сферѣ общихъ идей, къ работѣ мысли становится нравственное чувство любви къ ближнему по мѣрѣ своего развитія и расширенія. Будемъ итти снизу вверхъ, и сперва вообразимъ себѣ самую низшую ступень, — ту, на которой нѣтъ еще нравственной личности, ступень полного индивидуальнаго эгоизма, т. е. представимъ себѣ челоѣка, пови-

нующагося только своимъ животнымъ инстинктамъ. Душа такого нравственнаго уродъ будетъ совершенно *ирраціональна*, ибо руководящими мотивами его поступковъ будутъ не мысли, не идеи и не чувства, съ ними связанныя, а инстинкты, страсти, хотѣнія, дѣйствующія совершенно слѣпо и неразумно. Ирраціональность нравственной сферы такого человѣка такъ велика, что мы будемъ вправѣ охарактеризовать его психіатрическимъ терминомъ „нравственно-помѣшанный“. Подымаясь отъ этого пункта выше—къ разнымъ видамъ убывающаго личнаго эгоизма или расширяющагося альтруизма, къ любви семейной, отцовской, материнской, товарищеской, къ сословному, національному, патріотическому чувству и т. д.,—мы видимъ, что развитіе этихъ нравственныхъ отношеній сопряжено съ развитіемъ общихъ идей, съ расширеніемъ сферы мысли и съ увеличеніемъ зависимости чувства отъ мысли. Весь этотъ порядокъ нравственныхъ чувствъ неотдѣлимъ отъ соотвѣтственнаго порядка *идей*, напр. идеи семьи, отечества, государства, національной чести и т. д. Вотъ именно эта неотдѣлимость альтруистическихъ чувствъ отъ нравственныхъ и другихъ идей и дѣлаетъ эти чувства любви и симпатіи разумными, преобразуетъ ихъ изъ слѣпыхъ, инстинктивныхъ, стихійныхъ въ болѣе или менѣе рacionales. Высшей точки достигаетъ это движеніе тамъ, гдѣ чувство любви или симпатіи къ ближнему превращается въ общечеловѣческій альтруизмъ, а идея, ему отвѣчающая, возвышается до общечеловѣческаго идеала братства, равенства и солидарности, при чемъ между идеей и чувствомъ устанавливается гармоническое соотношеніе, т. е. человѣкъ любитъ людей безъ различія національности и другихъ разграниченій таеъ и настолько,—какъ и насколько это вытекаетъ изъ теоретическихъ и практическихъ требованій идеала. Это и будетъ тотъ рacionales общечеловѣческій альтруизмъ, который логически приводитъ къ необходимости, ради любви къ человѣчеству, ненавидѣть враговъ человѣчества. Его мы видимъ въ Маріаннѣ.

Теперь представимъ себѣ—психически вполне возможное—дальнѣйшее движеніе чувства, когда любовь къ людямъ подвинется ступенью выше и черезъ посредство чувства жалости и со-

страданія распространяется на все человѣчество, не исключая и враговъ его. Этотъ высшій, сострадающій и всепрощающій альтруизмъ по необходимости нарушаетъ ту гармонию между чувствомъ и идеей, о которой мы только что говорили. Между извѣстными требованіями идеи, теоретическими и практическими съ одной стороны, и влеченіями чувства съ другой, возникаютъ противорѣчія. Чувство жалѣетъ и прощаетъ, между тѣмъ какъ идея, во имя логики и справедливости, осуждаетъ и отрицаетъ. Она хотѣла бы имѣть опору въ соотвѣтственномъ чувствѣ — и, не находя его, остается какъ-бы безъ выраженія, безъ органа, безъ психологическихъ устоевъ. И она неминуемо пошатнется, — если только не заговорятъ въ душѣ тѣ чувства, которыя ей нужны. Для восстановленія нарушенной гармоніи и внутренняго мира, необходимо одно изъ двухъ: или возникновеніе соотвѣтственныхъ чувствъ, могущихъ по всѣмъ пунктамъ уравновѣсить идею, или же — устраненіе самой идеи и замѣна ея другимъ умственнымъ началомъ, другимъ умонастроеніемъ, которое находилось-бы въ полной гармоніи съ тѣмъ сострадающимъ альтруизмомъ чувства, о которомъ идетъ рѣчь. Это другое умонастроеніе можетъ выражаться въ весьма разнообразныхъ міровоззрѣніяхъ, ученіяхъ. У Толстого напр. оно отлилось въ форму его извѣстныхъ идей о „непротивленіи злу“ и о „недѣланіи“. У Лизы оно держится въ предѣлахъ евангельскаго откровенія. Одно изъ наиболее яркихъ его выраженій представляетъ собою древній буддизмъ. Въ будущемъ могутъ возникнуть новые типы такого уклада мысли. При всемъ разнообразіи исторически-извѣстныхъ и возможныхъ въ будущемъ его типовъ или формъ, онъ всегда былъ и, вѣроятно, всегда будетъ запечатлѣнъ характеромъ большей или меньшей *ирраціональности*. Обращаясь теперь къ томъ чувству, которому отвѣчаетъ этотъ укладъ мысли, мы найдемъ, что въ противоположность послѣднему, оно должно быть признано чуть ли не самымъ *раціональнымъ* изъ чувствъ. И въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ чувство ниже, эгоистичнѣе, животнѣе, тѣмъ оно ирраціональнѣе: облагораживаясь, торжествуя надъ животной природой человѣка, оно освобождается отъ гнета стихійности, отъ слѣпоты инстинкта, отъ

темноты душевной и становится въ извѣстномъ смыслѣ раціональнымъ. Такимъ и является чувство всеобъемлющаго состраданія, высшаго альтруизма, евангельской, всепрощающей любви. Итакъ, чувство—раціонально, а мысль, ему отвѣчающая, ирраціональна, и, сочетаясь, онѣ даютъ въ результатѣ душевную гармонию. Это гармонія контрастовъ и одно изъ любопытнѣйшихъ явленій психическаго ритма. Въ общемъ натура, въ которой эта гармонія осуществилась, должна быть признана ирраціональной. Но это—ирраціональность высшаго рода, удѣлъ избранныхъ. Не для ихъ *мысли* созданъ міръ: она не постигнетъ его; ихъ *чувство* создано не для міра: онъ его не пойметъ. Одинъ изъ типичныхъ представителей этихъ избранныхъ натуръ, Г. С. Сковорода, справедливо сказалъ: „міръ меня ловилъ, не поймалъ“.

Въ такой душѣ, не созданной для міра, мы наблюдаемъ какъ бы перемѣщеніе центра тяжести личности: личное „я“ перестаетъ тяготѣть къ земному бытію; привычная обстановка, тепло и свѣтъ жизни, земныя радости, связи съ людьми, всѣ интересы, заботы, стремленія, цѣли—все это теряетъ свою притягательную силу, которой дѣйствіе переносится въ другую сферу,—въ какую именно, это ужъ зависитъ отъ умственнаго и нравственнаго уклада человѣка. У Лизы оно перенесено въ религіозную, мистическую сферу. Мысль о Богѣ, о „загробной“ жизни, мистическая любовь къ Богу—вотъ къ чему тяготеютъ всѣ душевныя силы Лизы, вотъ куда перемѣщенъ центръ тяжести ея личности. Окончательно совершилось это перемѣщеніе, когда Лиза ушла въ монастырь, и здѣсь-то ея натура, весь укладъ ея души и вся ирраціональность этого уклада достигли своего полного выраженія. Это особое, чуждое и непонятное намъ, людямъ жизни, состояніе сознанія, при которомъ духъ человѣческій освобождается отъ опутывающихъ его психическихъ узъ земныхъ отношеній, земныхъ стремленій и—свободный, ясный и чистый—весь сосредоточивается на одномъ высокомъ помыслѣ, на одномъ священномъ чувствѣ,—весь цѣликомъ истрачивается на одну любовь, чистую, какъ отвлеченіе, горячую, какъ молитва, и, какъ она же, полную наивной поэзіи. Это наивысшая—мистическая стадія ирраціональности духа. Чтобы еще

лучше уяснить себѣ ея психологію, сопоставимъ ее съ другимъ видомъ отреченія отъ міра и бѣгства отъ жизни.

Есть у Мицкевича одно чудное стихотвореніе, въ которомъ схваченъ этотъ душевный мотивъ—порывъ бѣжать отъ міра, отъ жизни, отъ людей, отрекшись отъ всего, что есть лучшаго, что даетъ величайшія радости, отъ любви, отъ дружбы, но сохраняя и унося съ собою святое чувство любви къ человечеству. Поэтъ—при наступленіи новаго года—задаетъ себѣ вопросъ: чего-бы пожелать себѣ? Можетъ быть, веселыхъ минутъ? Нѣтъ, потому что потомъ будетъ еще грустнѣе. Можетъ быть, любви? Опять нѣтъ, потому что ея блаженство смѣнится страданіями. Можетъ быть, дружбы? Это самое прочное чувство, и много радостей даетъ оно, но зато, когда друзей постигнетъ несчастье, то какъ жестоко мучится человекъ за себя и за другихъ! Нѣтъ, не надо и дружбы. Чего-же пожелать? Я пожелаю себѣ, говоритъ поэтъ, могилы, дубовой постели, откуда бы я не видѣлъ ни блеска солнца, ни смѣха враговъ, ни слезъ друзей. Тамъ до конца свѣта я хотѣлъ бы—всплывать, отъ котораго ничто меня не разбудитъ,—мечтать такъ, какъ мечталъ я въ мои молодые годы: любить міръ, питать дружбу къ міру, но—вдали отъ людей ¹⁾).

¹⁾ Стихотвореніе это, озаглавленное „Новый годъ“, было написано подъ новымъ 1824 г. въ Вильнѣ въ тюрьмѣ, гдѣ содержались Мицкевичъ и его друзья по дѣлу „филаретовъ“. Привожу его въ подлинникъ:

Nowy Rok.

Skonał rok stary: z jego popiołów wykwiła
Feniks nowy; już skrzydła roztacza na niebie;
Świat go cały nadzieją i życzeniem wita:
Czegóż w tym nowym roku żądać mam dla siebie?
Może chwilek wesołych?—Znam te błyskawice.
Kiedy niebo otworzą i ziemię ozłocą,
Czekamy wniebowzięcia: aż nasze żrenice
Grubszą niżeli pierwej zasępia się nocą.
Może kochania?—Znam tę gorączkę młodości.
W platońskie wznosi sfery, przed rajskie obrazy:
Aż silnych i wesołych strąci w ból i młodości,
Z siódmego nieba w stepy, między zimne głązy.
Chorowałem, marzyłem, latałem i spadał.
Marzyłem boską różę; blizki jej zerwania
Zbudziłem się; sen zniknął, róży nie posiadam,
Kolce w piersiach zostały.—Nie żądam kochania!

Въ этомъ стихотвореніи Мицкевича занимающій насъ душев-
ный мотивъ представленъ въ нѣкоторой эгоистической окраскѣ:
человѣкъ отрывается отъ радостей жизни, отъ блаженства любви,
отъ дружбы—спасаясь отъ тѣхъ скорбей, разочарованій, страда-
ній, которыя неизбѣжно постигаютъ его въ жизни. Еще яснѣе
видна эгоистическая сторона такого отреченія отъ міра въ анало-
гичномъ стихотвореніи Лермонтова „Выхожу одинъ я на дорогу“.

... Я ищу свободы и покоя,

Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть...

Но не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы,—

Я-бъ желалъ навѣки такъ заснуть,

Чтобъ въ груди дремали жизни силы,

Чтобъ, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтобъ всю ночь, весь день, мой слухъ лелѣя,

Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ;

Надо мной чтобъ, вѣчно зеленѣя,

Темный дубъ склонялся и шумѣлъ...

Мечта о „сладкомъ голосѣ, поющемъ про любовь“ (конечно,
женскую), это во всякомъ случаѣ болѣе эгоистическое желаніе,
чѣмъ та любовь къ человѣчеству вдали отъ этого человѣчества,

Może przyjaźni?—Któżby nie pragnął przyjaźni!

Z bogiń, które na ziemi umie młodość tworzyć,

Wszakże tą najpiękniejszą córką wyobraźni

Najpierwszą zwykła rodzić i ostatnią morzyć.

O, przyjaciele, jakże jesteście szczęśliwi!

Jako w palmie Armidy wszyscy żyjąc społem,

Jedna zaklęta dusza całe drzewo żywi.

Choć każdy listek zda się oddzielnym żywiołem.

Ale kiedy po drzewie grad burzliwy chłóśnie,

Lub je żądło owadów jadowitych drażni:

Jakże każda gałązka dręczy cię nieznośnie

Za siebie i za drugie!—Nie żądam przyjaźni!

I czegoż więc w tym nowym roku będę żądał?

Samotnego ustronia, dębowej pościeli,

Skądby już ani blasku słońca nie oglądał,

Ni śmiechu nieprzyjaciół, ni łez przyjacieli.

Tam do końca, a nawet i po końcu świata,

Chciałbym we śnie, z którego nic mię nie obudzi,

Marzyć, jak-em przemarzył moje młode lata:

Kochać świat, sprzyjać światu—zdaleka od ludzi...

о которой говорит Мицкевичъ. Различны также и мотивы, побуждающіе стремиться къ отреченію отъ міра: у Мицкевича это, какъ мы только что видѣли, боязнь страданій, у Лермонтова же — разочарованность и равнодушіе къ жизни („Ужъ не жду отъ жизни ничего я, и не жаль мнѣ прошлаго ничуть“). Оба стремленія (у Лермонтова и Мицкевича) могутъ быть названы въ своемъ родѣ „психологическими утопіями“, построенными на эгоистическомъ пессимизмѣ: міръ полонъ зла и страданій, но въ немъ есть и нѣчто прекрасное и самоцѣнное, доставляющее человѣку величайшія наслажденія, — и вотъ человѣкъ лелѣетъ утопію — уйти отъ міра, избавиться отъ всѣхъ его золъ и бѣдъ, его страданій и разочарованій, но непременно такъ, чтобы удержать за собою и унести это прекрасное и самоцѣнное, — будетъ ли это абстрактная любовь къ абстрактному человѣчеству, или невидимый голосъ, чарующій душу сладкой пѣснью про любовь. Но эта утопическая, неосуществимая мечта, столь категорически выраженная въ обоихъ стихотвореніяхъ, является лишь поэтическимъ образомъ, который говоритъ или, лучше, заставляетъ мыслить многое, что въ немъ самомъ не заключено, — который, какъ и всякій поэтический образъ, служитъ только „представленіемъ“ или формою апперцепціи разныхъ мыслей и чувствъ. И прежде всего самая утопичность мечты указываетъ намъ на сознаніе (у Мицкевича — въ особенности), что безъ страданій и разочарованій нельзя получить того душевнаго сокровища, которое поэтъ хотѣлъ бы унести съ собою въ могилу, что право имѣть высокое, святое чувство должно быть выстрадано. У Мицкевича въ послѣднемъ аккордѣ — „любить человѣчество — вдали отъ людей“ — чувствуется увѣренность въ противоположномъ, въ томъ, что эта любовь невозможна безъ живыхъ связей съ людьми и безъ тѣхъ страданій, которыя оттуда истекаютъ. Эти и другія мысли, возбуждаемыя стихотвореніями Мицкевича и Лермонтова, помогаютъ намъ еще глубже понять утопичность мечты, въ нихъ выраженной: *эта мечта не имѣетъ нравственнаго оправданія*. Мотивы (стремленіе избѣгать страданій — у Мицкевича, разочарованность — у Лермонтова) не суть мотивы нравственного порядка, а между тѣмъ само

то стремленіе, намѣченная цѣль сводится къ личному блаженству, къ достиженію счастливаго, уравновѣшеннаго, самоуслаждающаго состоянія духа. Это внутреннее счастье можетъ быть достигнуто только цѣною самоотреченія, жертвъ, нравственнаго подвига, и мотивы, побуждающія стремиться къ этой „свободѣ и покою“, чтобы не быть утопичными, должны корениться не въ чемъ иномъ, какъ именно въ нравственной сферѣ личной жизни.

Теперь мы можемъ вернуться къ Лизѣ.

Лиза также стремится въ сущности „къ свободѣ и покою“, къ свободѣ отъ тягостныхъ ей связей съ людьми, отъ гнетущихъ ее противорѣчій жизни, отъ неизбежныхъ „въ мірѣ“ грѣховъ и компромиссовъ, — къ покою души, къ наполняющей ея душу неслезаннымъ блаженствомъ близости къ Божеству въ монастырѣ, къ мистическимъ восторгамъ религіозной жизни. Но это высокое счастье она заслужила; она его купила цѣною огромной жертвы — она отказалась ради него отъ счастья съ любимымъ человѣкомъ. Это счастье было вполнѣ возможно, и отъ нея зависѣло его осуществленіе. Чтобы понять всю громадность этой жертвы, нужно вспомнить, что любовь Лизы и Лаврецака была любовь глубокая и могущественная, основанная не на скоропреходящемъ увлеченіи, а на внутреннемъ сродствѣ душъ, — это была любовь на всю жизнь, она сулила настоящее, прочное счастье, то рѣдкое поэтическое счастье, ради котораго люди такъ легко отрекаются отъ высшихъ идей, отъ религіи, отъ идеаловъ, и только такія рѣдкія натуры, какъ Лиза, способны принести въ жертву высшимъ, неличнымъ стремленіямъ души.

Итакъ, это была жертва, это былъ подвигъ самоотреченія.

И это жертвоприношеніе было совершенно силою мотивовъ чисто нравственнаго порядка. Вспомнимъ здѣсь сцену въ концѣ главы XII.

— Да, — сказала она глухо: — мы скоро были наказаны.

— Наказаны, — повторилъ Лаврецкій... — За что же вы то наказаны?

Лиза подняла на него свои глаза. Ни горя, ни тревоги они не выражали...

Сердце въ Лаврецкомъ дрогнуло отъ жалости и любви.

— ...Все кончено, — прошептала онъ; — да, все кончено — прежде чѣмъ началось.

— Это все надо забыть, — проговорила Лиза... — Намъ обоимъ остается исполнить нашъ долгъ. Вы, Ѳеодоръ Ивановичъ, должны примириться съ вашей женой.

— Лиза!

— Я васъ прошу объ этомъ; этимъ однимъ можно загладить... все, что было...

— ...Хорошо, — проговорилъ сквозь зубы Лаврецкій: — это я сдѣлаю, положимъ; этимъ я исполню свой долгъ. Ну, а вы — въ чемъ же вашъ долгъ состоитъ?

— Про это я знаю.

Лаврецкій вдругъ встрепнулся.

— Ужъ не собираетесь ли вы выйти за Паншина? — спросилъ онъ.

Лиза чуть замѣтно улыбнулась.

— О, нѣтъ! промолвила она.

Не трудно видѣть, что Лизой движетъ мотивъ не какого-нибудь иного, какъ именно нравственнаго или точнѣе нравственно-религіознаго порядка. Она считаетъ дѣломъ грѣшнымъ, безнравственнымъ строить свое счастье на несчастьи другихъ. Отнять Лаврецкаго отъ его семьи, хотя бы и не любимой имъ и чуждой ему, она признаетъ почти преступленіемъ, подлежащимъ наказанію. Весьма возможно, что въ данномъ случаѣ она ошибалась. Потеря мужа никакихъ нравственныхъ, ни иныхъ страданій не причинила бы г-жѣ Лаврецкой и ея дочери, и все устроилось бы къ общему удовольствію. Но таково уже глубокое, непоколебимое убѣжденіе Лизы — въ нерасторжимости брака, въ необходимости прощенія, въ возможности нравственнаго возрожденія такихъ испорченныхъ натуръ, какъ жена Лаврецкаго. Для нея не подлежить сомнѣнію, что отнимая у семьи Лаврецкаго, она нарушитъ святость брака, лишитъ жену Лаврецкаго мужа, его дочь — отца, его самого — возможности просить, а ее (madame Лаврецкую!) — возможности раскаяться и загладить свое прошлое. Свой чистый порывъ, свою любовь къ Лаврецкому она признаетъ поэтому грѣ-

ховными, себя считаетъ недостойной счастья, само счастье—невозможнымъ и нежелательнымъ, разъ оно сопряжено съ компромиссами, съ нарушеніемъ чьихъ то, хотя бы и фиктивныхъ, правъ. Возвращеніе жены Лаврецкаго ей представляется поэтому предостереженіемъ свыше и даже наказаніемъ за грѣховное, по ея мнѣнію, чувство. „Теперь вы сами видите, что счастье не отъ насъ, а отъ Бога“, говоритъ она Лаврецкому.

Но этого мало. Нравственныя основанія самоотреченія Лизы оказываются еще глубже:

Въ сценѣ, гдѣ Лиза объявляетъ тетускѣ, несравненной Марѣ Тимофеевнѣ, о своемъ рѣшеніи пойти въ монастырь, она говоритъ между прочимъ: „...Я рѣшилась, я молилась, я просила совѣта у Бога, все кончено, кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ; *да я ужь не въ первый разъ объ этомъ думаю*. Счастье ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. *Я все знаю, и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенка богатство нажилъ; я все знаю. Все это отомолить, отомолить надо...*“ (Гл. XLV).

Передъ нами три вида самоотреченія или удаленія отъ жизни: одинъ—у Лизы, другой—въ стихотвореніи Мицкевича, третій—въ стихотвореніи Лермонтова. Эти три вида являются въ то же время *стремленіями къ тремъ разнымъ блаженствамъ*. Блаженство Лизы есть мистическая любовь къ Богу, сладость молитвы, радость покаянія и, на всемъ этомъ основанный, безусловный, несокрушимый покой души. У Мицкевича это—утопическое блаженство успокоенія души въ высокомъ чувствѣ любви къ человечеству,—чувствѣ, которое, въ силу изолированности его носителя отъ людей, неспособно ни омрачиться, ни изсякнуть. У Лермонтова—это эгоистическое наслажденіе поэтическими чарами любви,—не самой любовью, всегда требующей затраты душевныхъ силъ, а именно только ея поэтизированнымъ, одухотвореннымъ, чарующимъ *представленіемъ*, не требующимъ дѣйствія „силъ жизни“ и совмѣстимомъ съ ихъ усыпленнымъ, дремотнымъ состояніемъ¹⁾.

¹⁾ Нужно читать: „чтобъ въ груди *дремали* жизни силы“ (такъ напр. въ изд. Павленкова), а не *дрожали*, какъ печатали прежде.

Изъ этихъ трехъ блаженствъ одно только блаженство Лизы не утопично: оно вполне осуществимо—для такихъ натуръ, какъ она; это различіе находится въ тѣсной связи съ тѣмъ фактомъ, что блаженству Лизы не присущъ тотъ духъ *квіетизма*, которымъ такъ рѣзко запечатлѣны два другія. Удаленіе Лизы отъ міра можетъ быть названо *квіетистическимъ* развѣ только сравнительно напр. съ активностью Маріанны и съ точки зрѣнія общественной борьбы, но отнюдь не въ смыслѣ психологическомъ. У Лизы нѣтъ и тѣни стремленія съ психологическому *квіетизму*, нѣтъ никакихъ слѣдовъ душевной усталости или изнѣженности. Напротивъ, душа Лизы полна энергіи и въ высокой степени активна, ибо ея самоотреченіе, во первыхъ, такого сорта, что требуетъ большой силы воли, духовной мощи, а во вторыхъ, та религіозная жизнь, которой посвящаетъ себя Лиза, сводится къ очень энергической, очень интенсивной *дѣятельности* духа, требующей большого самообладанія, сосредоточенія вниманія на одномъ пунктѣ, борьбы съ разсѣянностью, съ лѣнью мысли и усталостью чувства, чему такъ подверженъ внутренній міръ человѣка. Наконецъ молитва и покаяніе, религіозный экстазъ, мистическое чувство—это не пассивныя состоянія души, это ея энергія, это затрата душевной силы, напряженная работа мысли и чувства, несовмѣстимая съ психологическимъ *квіетизмомъ*, съ тѣмъ дремотнымъ состояніемъ „силъ жизни“, съ тою своего рода летаргіею, о которыхъ говорится въ стихахъ Лермонтова и Мицкевича.

Настоящій—психологическій—*квіетизмъ* есть именно стремленіе низвести *энергію* душевныхъ процессовъ до того минимума, при которомъ эти процессы могли бы разсматриваться уже не какъ *дѣятельность*, а какъ *состояніе*, казались бы превращенными въ пассивныя ощущенія.

По существу дѣла, такое превращеніе невозможно, ибо всѣ душевные процессы суть дѣятельности, а не состоянія въ собственномъ смыслѣ, и всѣ ощущенія—активны. Но стремленіе къ *квіетизму* духа вполне возможно и даже является неизбѣжнымъ спутникомъ душевной дѣятельности, въ особенности такой, которая, требуя большой траты энергіи, не даетъ человѣку должнаго

умственного и нравственного удовлетворенія. Стремленіе къ квіетизму временами сопровождается иллюзіей его достиженія: когда болѣе энергичные процессы духа смѣняются менѣе энергичными, человѣку кажется, будто бы эти послѣдніе суть уже не дѣятельность, а состояніе, будто они не активны, а пассивны. Возникаетъ пріятное чувство душевнаго отдыха, подсказывающее сознанию ложную мысль, что основаніе или источникъ внутренняго душевнаго счастья—въ пассивности, а не въ активности духа.

Сопоставленіе „трехъ блаженствъ отреченія отъ жизни“ приводитъ насъ къ слѣдующимъ выводамъ или требованіямъ:

1) Отреченіе отъ жизни, чтобы быть осуществимымъ, а не утопій, должно исходить исключительно изъ побужденій *нравственнаго* порядка: если, повинаясь однимъ только велѣніямъ нравственнаго убѣжденія и чувства, голосу совѣсти, человѣкъ не находитъ для себя возможнымъ жить съ людьми, трудиться на нивѣ жизни, — пусть онъ уходитъ отъ міра, для котораго онъ не былъ созданъ, пусть замыкается въ самомъ себѣ, всецѣло отдается религіи, наукѣ, созерцанію, подвижничеству, — чему угодно. Это не будетъ утопія, это не будетъ напрасная мечта: онъ въ самомъ дѣлѣ *ушелъ* отъ жизни, отъ людей и живетъ одинъ, — самъ по себѣ существуетъ — полный собою, своимъ нравственнымъ укладомъ, своимъ идейнымъ содержаніемъ, одной всепоглощающей мечтою, одной безсмертной любовью, одной великой мыслью. И эта любовь, мечта или мысль не пропадутъ даромъ: человѣчество такъ или иначе ими воспользуется. — Но если человѣкъ захочетъ уйти отъ жизни — движимый эгоизмомъ, озлобленіемъ, разочарованіемъ, — онъ не уйдетъ отъ нея: она настигнетъ его въ его убѣжищѣ и либо покараетъ за малодушное бѣгство, либо излѣчить отъ эгоизма, вновь примирить съ людьми или еще пуще озлобить, — доведетъ его разочарованность до отчаянія, его усталость до изможденія, или же, напротивъ, вновь очаруетъ и увлечетъ въ свой водоворотъ.

2) Блаженство отреченія должно быть куплено цѣною самопожертвованія, цѣною подвига и оправдано высшимъ призваніемъ человѣка. Жить въ мірѣ, „возиться съ людьми“ (какъ выражается

Базаровъ), трудиться, бороться, страдать—это обязанность человека. Отъ этой тяжелой обязанности онъ можетъ быть освобожденъ только ради высшей дѣятельности духа, имѣющей свою безотносительную цѣнность, — ради развитія въ себѣ какой-либо высшей, совершеннѣйшей духовной *энергіи*, нравственной или умственной, которая сама по себѣ есть прежде всего душевный трудъ, тяжелый и требовательный, а потомъ уже— „блаженство“.

3) Отрекаясь отъ жизни съ людьми и отдаваясь всецѣло высшей дѣятельности духа, человекъ не имѣетъ права требовать и получать тѣ сорта радостей, тѣ виды счастья, которые даются жизнью „въ мірѣ“.

Такимъ требованіямъ, какъ-бы они ни были суровы, Лиза вполне удовлетворяетъ, и всякій упрекъ въ эгоистическомъ удаленіи отъ міра, въ ней обращенный, заранѣе обезоруживается. Это приводитъ насъ къ разсмотрѣнію *этической* стороны въ психологіи Лизы, къ анализу ея *нравственной личности*.

Человекъ живетъ и движется силою весьма разнообразныхъ внутреннихъ стремленій, въ числѣ которыхъ дѣйствуютъ и мотивы нравственного порядка, но они такъ причудливо и тѣсно переплетаются съ мотивами другихъ порядковъ, что выдѣлить ихъ оттуда въ большинствѣ случаевъ оказывается дѣломъ весьма не легкимъ. И чѣмъ болѣе полной и разносторонней жизнью живетъ человекъ, тѣмъ труднѣе произвести такое выдѣленіе или изолированіе нравственныхъ мотивовъ отъ другихъ и опредѣлить для каждаго даннаго случая или даже для цѣлой полосы въ жизни человека, — что именно было главнымъ стимуломъ различныхъ его поступковъ или его дѣятельности вообще, нравственные-ли побужденія, или какія-нибудь иныя, напримѣръ, честолюбіе. Иногда поступокъ человека имѣетъ все обличье нравственного, не будучи, однако, таковымъ по существу дѣла, т. е. по сознательнымъ внутреннимъ мотивамъ. Мы видимъ, напримѣръ, что человекъ отказывается отъ извѣстныхъ, даже очень значительныхъ благъ, уступая ихъ другимъ, имѣющимъ на нихъ больше правъ, чѣмъ онъ, — и мы уже склонны квалифицировать этотъ поступокъ какъ нравственный. Но легко можетъ оказаться, что человекъ

сдѣлать это — движимый вовсе не нравственнымъ побужденіемъ, а, на примѣръ, лѣнью, нежеланіемъ и неумѣніемъ бороться, домогаться, конкурировать. Далѣе, поступки, имѣющіе обличье нравственныхъ, часто совершаются силою увлеченія идеей или силою страстнаго чувства. Въ этого рода случаяхъ нравственное движеніе души совпало съ другимъ ея стремленіемъ и такъ заслонено этимъ послѣднимъ, что часто нѣтъ возможности его выдѣлать и опредѣлить его роль и силу; для рѣшенія вопроса нужно подождать, пока увлеченіе пройдетъ: если человѣкъ будетъ дѣлать то-же самое, имѣющее нравственное обличье, и тогда, когда увлеченіе прошло, то мы скажемъ, что нравственный мотивъ долженъ былъ имѣть большое значеніе и раньше, въ періодъ увлеченія идеей или чувствомъ. Когда Елена ушла за Инсаровымъ, когда Маріанна бѣжала изъ дома Сипягиныхъ, — ими руководили весьма разнообразныя и сложныя душевныя стремленія, въ ряду которыхъ, безъ всякаго сомнѣнія, были и чисто-нравственныя. Но у Елены они слились съ чувствомъ любви къ Инсарову, у Маріанны они перепутались съ ея увлеченіемъ идеею служенія народу, съ ея молодымъ порывомъ къ широкой, захватывающей дѣятельности, къ подвигу, съ ея гордостью и стремленіемъ къ независимости. Не легкое дѣло — распутать такой психическій клубокъ и извлечь изъ него какъ разъ ту нить, которая намъ нужна для психологическаго діагноза.

У Лизы нравственный укладъ выдѣляется сравнительно легче, во первыхъ, въ силу того, что въ ея душевномъ мірѣ онъ играетъ роль капитальную, и во вторыхъ — потому, что переплетенъ и совмѣщается у нея съ такимъ психическимъ началомъ, которое его не затемняетъ, — съ тою ея религіею, о которой мы говорили выше. Я именно имѣю въ виду индивидуальную религію Лизы, а не религіозное чувство или религіозныя идеи вообще, которыя могутъ заслонять собою чисто нравственные мотивы такъ-же точно, какъ это дѣлаютъ и другія чувства или идеи. Если человѣкъ поступаетъ нравственно и при этомъ вѣрить, что за безнравственные поступки онъ будетъ мучиться въ аду, или если человѣкъ отрывается отъ житейскихъ благъ или идетъ на мучениче-

скій подвигъ — движимый религіознымъ фанатизмомъ, то мы опять получаемъ тотъ душевный „клубокъ“, въ которомъ такъ трудно распознать потерянную въ немъ нить чисто нравственного движенія души. Но не таково отношеніе нравственного уклада къ религіозному у Лизы. Во всемъ ея существѣ вы ясно видите вѣчно бодрствующее, всегда насторожѣ, живое и тонкое нравственное чувство, родъ прирожденного нравственного такта или чутья, безошибочно и моментально рѣшающаго, что хорошо, что дурно, что должно дѣлать, чего не должно дѣлать, — независимо отъ того, пріятно это кому нибудь или непріятно, полезно, или бесполезно, причинить-ли данный нравственный поступокъ огорченіе, страданія или, напротивъ, удовольствіе и радость близкимъ людямъ. Безоглядный, безповоротный, математически правильно дѣйствующій, не осложненный ни любовью, ни гордостью, ни честолюбіемъ, ни молодыми порывами, ни идеею, чистый, безпримѣсный категорическій императивъ нравственного долга — вотъ что составляетъ главную основу душевной жизни Лизы, вотъ то, что образуетъ ея психическую индивидуальность. Эта особенность Лизы такъ ясна, такъ несомнѣнна, что — можно быть увѣреннымъ — въ случаѣ конфликта между велѣніями ея нравственного чувства и требованіями ея религіи она, при всей своей религіозности, не колеблясь поступила бы по указаніямъ перваго, а не второй; послѣ чего, въ глубинѣ своей наивности, она каялась бы и отмаливала этотъ „грѣхъ“, но „грѣхъ“ все-таки былъ бы совершенъ и въ случаѣ повторенія конфликта снова повторенъ. Я говорю такъ для того, чтобы яснѣе и рѣзче отбѣнить самобытность и силу нравственного начала у Лизы, и вовсе не хочу этимъ сказать, что *религіозная* сторона отодвинута у нея на второй планъ. Настоящее отношеніе обоихъ началъ у Лизы таково: нравственная сторона составляетъ *основу* ея личности, а *религіозная* есть *основа этой основы*. Во избѣжаніе недоразумѣній, нужно пояснить, что, опредѣляя такъ отношеніе этихъ двухъ началъ у Лизы, я вовсе не исхожу изъ теоріи (по моему мнѣнію, ошибочной) о происхожденіи и зависимости нравственности отъ религіи. Я имѣю въ виду психологическое со-

ображеніе, не имѣющее ничего общаго съ этой теоріей и состоящее въ слѣдующемъ.

Изъ всѣхъ душевныхъ процессовъ, образующихъ личность, самый *личный*—это именно процессъ *нравственный*. Какъ носительница нравственного категорическаго императива, личность является самодовлѣющей единицей: она сама себя судя, и ея нравственный міръ, голосъ ея совѣсти, совокупность ея нравственныхъ чувствъ и понятій составляютъ нѣчто глубоко интимное, сокровенное, замкнутое въ себя, рѣзко-индивидуальное. Вотъ именно въ силу этой особенности нравственного процесса, онъ не можетъ самъ по себя быть единственнымъ и послѣднимъ основаніемъ психической жизни: личность, душевная жизнь которой вся ушла бы въ одну чистую нравственность, была бы личностью совершенно изолированной, замкнутой въ себя, самодовлѣющей и фатально пришла бы къ потерѣ душевнаго равновѣсія, къ сатанинской гордости, къ маніи величія, къ крайнему самоутвержденію. Это былъ бы одинъ изъ самыхъ рѣзкихъ случаевъ эгоцентризма, который обнаруживалъ бы явную тенденцію перейти въ настоящій эгоизмъ. Поэтому-то нравственное начало, чтобы не довести личность до крушенія и себя до самоотрицанія, должно быть уравновѣшено другими, не столь личными, болѣе экспансивными движеніями души. Въ этихъ движеніяхъ личность находитъ противовѣсъ чисто-нравственнымъ стремленіямъ и такимъ образомъ пріобрѣтаетъ душевную устойчивость. Чисто-нравственные мотивы переплетаются съ семейными, общественными, національными, общечеловѣческими стремленіями, религіозными вѣрованіями, умственными (философскими, научными, художественными) интересами и т. д., и — образуется тотъ „клубокъ“, о которомъ мы говорили выше. Чѣмъ сильнѣе и ярче выражено въ человѣкѣ нравственное начало, т. е. чѣмъ выше и могущественнѣе его нравственное „я“, тѣмъ значительнѣе и шире должны быть тѣ стремленія его души, которыя выводятъ его изъ индивидуальной сферы, — иначе равновѣсія не будетъ. Для такихъ натуръ, какъ Лиза, выдѣляющихся изъ уровня обыкновенныхъ смертныхъ необычайно высокимъ подъемомъ и энергіей нравственного начала, — уравновѣшивающимъ

устоемъ ему можетъ служить только какое-нибудь всеобъемлющее, всемірное, космическое, мистическое стремленіе. Лиза — изъ числа тѣхъ, для которыхъ оно возможно только на религіозной почвѣ. Въ этомъ — чисто-психологическомъ — смыслѣ я и говорю, что у Лизы религія составляетъ основу или опору ея нравственныхъ стремленій. Я вижу здѣсь проявленіе нѣкотораго психическаго ритма: чѣмъ выше подымается личность — какъ самодовлѣющее, замкнутое въ себѣ, самоопредѣляющееся „я“, — тѣмъ настойчивѣе скажется потребность привязать это „я“ къ чему-нибудь внѣ его находящемуся, объективному. Сознаніе собственного достоинства и нравственная гордость человѣка ищутъ себѣ опоры или уравновѣшивающаго начала въ смиреніи, въ самоотреченіи. Пусть нравственные струны души звучать въ унисонъ съ другими, напр. струнами альтруизма, честолюбія, увлеченія идеєю и т. д., — въ созвучной игрѣ этихъ послѣднихъ онѣ найдутъ искомую гармонию, и внутренній міръ человѣка уравновѣсится психическими связями съ цѣлымъ, семьей, обществомъ, государствомъ, народомъ, наконецъ, народами. Это цѣлое непременно должно быть живое, конкретное, надѣленное психической жизнью и способное поэтому войти въ психическія связи съ индивидуумомъ. Но пусть нравственные струны души, обособившись ото всѣхъ другихъ, начнутъ звучать самостоятельно — чистыми, безпримѣсными, полными аккордами категорическаго императива, — тогда личность не будетъ уже тяготѣть къ живому, конкретному цѣлому и не найдетъ, даже не будетъ искать уравновѣшенія въ живыхъ связяхъ съ людьми. Связи съ временнымъ, условнымъ, преходящимъ не въ состояніи уравновѣсить абсолютную автономію личности, возобладавшую силою обособленнаго дѣйствія нравственнаго начала. Этой безусловной автономіи должна быть противопоставлена *зависимость* личности отъ такого начала, которое личность признавала бы наивысшимъ, абсолютнымъ, вѣчнымъ. Этимъ началомъ можетъ быть или идея Божества въ одной изъ ея историческихъ формъ, или идея Космоса въ одной изъ ея философскихъ концепцій. Всегда, но въ разной мѣрѣ и въ различномъ смыслѣ, идея этого рода — мистична (или „супра-раціональна“), и потому и само психоло-

гическое тяготѣніе личности къ абсолютному началу легко можетъ получить (и въ большинствѣ случаевъ получаетъ) въ сознаниіи человѣка мистическую окраску; въ виду *супра-раціональности* идеи Вѣчнаго, Безконечнаго, Безначальнаго, Безусловнаго, психологическая связь съ непознаваемымъ началомъ, которое за этою идеею скрывается, обыкновенно представляется человѣку *супра-натуральной*. Является ли она въ такомъ освѣщеніи, или нѣтъ, во всякомъ случаѣ она есть особый психическій процессъ, который, въ отличіе отъ другихъ, мы называемъ *религознымъ*. Принимая въ соображеніе ту важную роль, которую въ этомъ процессѣ играетъ сознание, мы скажемъ такъ: когда человѣкъ пристально всматривается въ свое нравственное чувство и освѣщаетъ его свѣтомъ сознательной мысли, тогда эта сознательная мысль его обнаруживаетъ стремленіе увидѣть — либо Божество, либо Космосъ, — откуда между прочимъ возникаетъ психологически обоснованное, но логически необязательное умственное стремленіе приписывать самому нравственному началу супра-натуральное или трансцендентальное *происхожденіе*.

Мы затронули очень сложный вопросъ, который заслуживалъ-бы болѣе обстоятельнаго разсмотрѣнія, но это отвлекло бы насъ далеко въ сторону отъ нашей темы. Вернемся къ Лизѣ.

Она пристально и „неотвратно“¹⁾ всматривалась въ свой нравственный міръ и освѣщала его тихимъ свѣтомъ своей дѣтски-чистой любви. И, движимая тѣмъ душевнымъ стремленіемъ, о которомъ мы только что говорили, она увидѣла Бога.

Натура, цѣликомъ основанная на нравственномъ чувствѣ, она не могла отрѣшиться отъ постоянныхъ помысловъ о долгѣ и отдаться призыву другихъ побужденій, которымъ такъ подвластны обыкновенныя души человѣческія, — и была осуждена жить замкнутою въ своемъ личномъ мірѣ. А потому она не только увидѣла Бога, но и возлюбила Его всѣми силами своей чистой, женственной и наивной души. Это не было одно только созерцаніе Божества, это была всепоглощающая, восторженная, нѣжная, глубокая *мистическая любовь*.

¹⁾ Выраженіе Тургенева (въ „Пѣснѣ торжествующей любви“).

И въ этой мистической любви къ Божеству сказались всѣ лучшія стороны женской натуры, воплощеніемъ которыхъ является Лиза. Представимъ себѣ эти стороны въ ихъ наивысшемъ развитіи, въ ихъ апоѳеозѣ, представимъ себѣ дѣйственную чистоту и цѣломудріе возвысившимися до полной свободы отъ власти обыкновенной, біо-психической, женственности, женскую жалость и состраданіе — возведенными въ высшую любовь ко всему живому, нѣжность и кротость женской души — претворенными въ евангельское всепрощеніе, — вообразимъ все это, — и въ результатъ мы получимъ какую то огромную силу, психическую энергію особаго рода, отмѣченную печатью идеальной, одухотворенной женственности. Это — *das Ewigweibliche*.

По самой природѣ своей, эта сила въ высокой степени экспансивна. Она не можетъ обратиться внутрь и замкнуться въ индивидуальной сферѣ личности, какъ это дѣлаетъ нравственное чувство: въ противоположность послѣднему, она стремится выйти изъ личной сферы и ищетъ точки приложенія — внѣ индивидуума. Но этой точки приложенія она не найдетъ нигдѣ — кромѣ религіи.

Перейти въ любовь къ отдѣльному человѣку и потомъ истратиться на семью — эта сила вѣчно-женственного могла бы только подъ условіемъ самоограниченія, даже самоотрицанія: ей пришлось бы оставить не у дѣль цѣлую половину своихъ составныхъ элементовъ и, кромѣ того, воспринять въ себя нѣчто ей чуждое, напримѣръ, нѣкоторый эгоизмъ, способность къ исключительной привязанности къ любимому человѣку, къ своимъ дѣтямъ, и массу мелкихъ чувствъ, съ нею несовмѣстимыхъ. Не можетъ она также обратиться и къ служенію страждущему человѣчеству: перейдя въ дѣятельную любовь къ людямъ, она опять таки принуждена была бы измѣнить свой составъ и вступить въ союзъ съ нѣкоторыми чувствами и стремленіями, находящимися во внутреннемъ съ нею противорѣчіи. Служеніе человѣчеству, хотя бы исключительно на почвѣ благотворительности, всетаки предполагаетъ борьбу и ожесточеніе, напримѣръ, противъ тѣхъ, кто причиняетъ страданія людямъ. Объ иномъ служеніи человѣчеству — на почвѣ общественной борьбы — и говорить нечего: вѣчно-женственное непри-

годно для этой борьбы уже по тому одному, что оно — не отъ міра сего.

Только въ религіозномъ подвигѣ найдетъ оно себѣ исходъ и въ Богѣ—точку приложенія. Въ этой сферѣ энергія идеальной женственности можетъ дѣйствовать и творить — не теряя ни одного изъ своихъ составныхъ элементовъ и не воспринимая чуждыхъ себѣ.

И обращаясь сюда и созидая *религіозную* жизнь личности, эта энергія даетъ душѣ, изолированной отъ міра и слишкомъ высоко надъ нимъ поднявшейся дѣйствіемъ исключительно-сильнаго *нравственнаго* начала, ту опору, ту основу, въ которой она такъ нуждается для сохраненія равновѣсія. *Центростремительною* силою нравственного подъема человѣческое „я“ такой души достигло высшаго самоутвержденія и замкнулось въ себѣ самомъ. *Центробъжною* силою вѣчно-женственного оно раскрывается для мистической любви и религіознаго творчества. Тогда *нравственное самоутвержденіе* находитъ себѣ противовѣсъ въ *религіозномъ самоотреченіи*. Въ *синтезъ* этого самоутвержденія и самоотреченія, въ синтезѣ началъ нравственного и религіознаго, личность обрѣтаетъ несокрушимый покой души и высшее блаженство, доступное только избраннымъ натурамъ,—счастье, котораго нельзя ни отнять, ни отравить, ни ополить.

Глава VIII.

I.

Разбирая женскіе типы Тургенева, мы оставляли до сихъ поръ въ сторонѣ вопросъ о томъ, при помощи какихъ художественныхъ приемовъ они воспроизведены. Нѣсколько замѣчаній въ этомъ смыслѣ, сдѣланныхъ въ главѣ о Зинаидѣ („Первая любовь“), въ счетъ не идутъ.

Обойти этотъ вопросъ въ трудѣ, посвященномъ изученію Тургеневскаго творчества, было бы непростительнымъ упущеніемъ. Для восполненія такого пробѣла я считаю достаточнымъ рассмотреть съ нѣкоторыми подробностями художественное изображеніе одного изъ важнѣйшихъ женскихъ типовъ, созданныхъ Тургеневымъ, — именно такого, который по праву можетъ считаться типичнымъ образчикомъ художественной манеры Тургенева. Къ числу таковыхъ несомнѣнно принадлежитъ образъ *Лизы*. Въ предыдущей главѣ мы рассмотрѣли этотъ образъ по существу, т. е. со стороны идей, для апперцепціи которыхъ онъ можетъ служить; теперь мы постараемся изслѣдовать его стороны тѣхъ художественныхъ приемовъ, силою которыхъ онъ былъ созданъ. И, быть можетъ, нашъ анализъ послужитъ къ устраненію иллюзіи, въ которую нерѣдко впадаютъ многіе, читая и перечитывая Тургенева: имъ кажется, будто созданіе извѣстнаго образа (напр. Лизы) не стоило автору большого труда, будто образъ созданъ скорѣе силою „вдохновенія“, чѣмъ — упорной работы мысли. Трудящійся авторъ, погруженный въ анализъ, задумывающійся надъ тѣмъ, какъ бы лучше изобразить, какъ отгнѣнить, какими красками написать, какой взять тонъ и т. д., совсѣмъ не виденъ читателю. Оттуда, между прочимъ, мнѣніе, которое

иногда приходится слышать, будто Тургеневъ, сравнительно съ Толстымъ, художникъ „поверхностный“, не идущій въ глубь вещей, создающій образы прелестные, но не основанные на глубокомъ изученіи людей и жизни. Такое сужденіе можетъ быть опровергнуто только анализомъ Тургеневскихъ образовъ по существу, т. е. со стороны ихъ содержанія. Это мы и дѣлали до сихъ поръ. Иллюзія легкости творчества, иллюзія отсутствія труда, направленного на самое изображеніе типовъ, разрушится, если мы изъ роли читателя перейдемъ въ роль изслѣдователя и постараемся вникнуть въ тѣ художественные приемы, которые примѣнены авторомъ въ томъ или другомъ случаѣ. Мы убѣдимся тогда, что все здѣсь строго обдуманно, тщательно взвѣшено и тонко соображено, что на это дѣло потрачено много упорнаго труда — художественной мысли.

Лиза появляется впервые въ концѣ главы III-й: Паншинъ, сойдя съ лошади, вбѣгаетъ въ комнату и „въ то же время на порогѣ другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая дѣвушка лѣтъ 19-ти, — старшая дочь Марьи Дмитріевны, Лиза“. Затѣмъ только въ главѣ VI-й мы нѣсколько знакомимся съ Лизой на основаніи ея разговора съ Паншинымъ и съ Леммомъ по поводу кантаты, сочиненной послѣднимъ. Изъ немногихъ словъ, сказанныхъ здѣсь Лизою, мы выносимъ извѣстное впечатлѣніе, заставляющее насъ подозрѣвать, что это — дѣвушка не совсѣмъ обыкновенная, что въ ея натурѣ есть нѣчто особенное, нѣкоторая, пока еще невѣдомая, глубина, соединенная съ простотою и ясностью души. Такое впечатлѣніе не осуществилось-бы, если-бы эта сцена была помѣщена раньше, если-бы ей не предшествовали главы IV-я, заключающая въ себѣ характеристику Паншина, и въ особенности — V-я, цѣликомъ посвященная Лемму. Эти двѣ главы, въ которыхъ Лиза отсутствуетъ, имѣютъ огромное значеніе именно для постепеннаго и незамѣтнаго созданія въ мысли читателя образа Лизы. Обѣ характеристики — Паншина и Лемма — въ этихъ двухъ коротенькихъ главкахъ, можно сказать, закончены, и въ распоряженіи читателя такимъ образомъ оказываются двѣ

извѣстныя величины. Глава VI-я (объясненіе Лизы съ Паншинымъ и Леммомъ по поводу кантаты) указываетъ намъ на отношеніе къ этимъ двумъ уже извѣстнымъ величинамъ третьей — неизвѣстной, Лизы. Получается родъ художественнаго силлогизма или уравниенія, подсказывающаго читателю, незамѣтно для него самого, опредѣленіе Лизы. Это „подсказываніе“ начинается уже въ концѣ главы V-й. Изъ предыдущихъ двухъ страницъ ея мы узнаемъ, что такое Леммъ; мы выносимъ убѣжденіе, что это — умственная и нравственная величина весьма значительная. „Поклонникъ Баха и Генделя (читаемъ мы), знатокъ своего дѣла, одаренный живымъ воображеніемъ и той смѣлостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Леммъ со временемъ—кто знаетъ?—сталъ-бы въ ряду великихъ композиторовъ своей родины, если-бы жизнь иначе его повела: но не подъ счастливой звѣздой онъ родился!...“ Такъ вотъ въ концѣ этой главы намъ даютъ понять, что этотъ замѣчательный человѣкъ высоко цѣнитъ Лизу. Намъ этого не говорятъ прямо, а заставляютъ насъ самихъ сдѣлать и притомъ безсознательно, такое заключеніе, которое и является немаловажнымъ „штрихомъ“ въ дѣлѣ постепеннаго возникновенія въ нашемъ воображеніи образа Лизы. Сказано лишь, что Леммъ „давно ничего не сочинялъ; но, видно, Лиза, лучшая его ученица, *умла* его *расшевелить*: онъ написалъ для нея кантату...“ Свѣдѣнія объ этой кантатѣ (надпись и посвященіе: „только праведные правы“ и т. д. и приписка „für Sie allein“) дорисовываютъ до конца тотъ „штрихъ“, о которомъ мы говоримъ. Читая все это, читатель не думаетъ о Лизѣ, онъ думаетъ только о Леммѣ, о которомъ и идетъ рѣчь, и потому не догадывается, что эти черточки не только служатъ для характеристики Лемма, но очень важны для дальнѣйшаго выясненія натуры Лизы. Это нисколько не мѣшаетъ этимъ черточкамъ дѣлать свое дѣло, и образъ Лизы начинается нечувствительно складываться въ головѣ читателя. Безъ всякаго сомнѣнія, такая группировка чертъ, такое освѣщеніе Лизы свѣтомъ, отраженнымъ отъ Лемма, вышли не сами собою: здѣсь виденъ тонкій расчетъ художника. Не случайно также, а преднамѣренно такъ рѣзко противопоставлены Леммъ и Паншинъ,

и Леммъ впервые выведенъ на сцену въ главѣ IV-й, тотчасъ послѣ Паншинскаго романа: „...всѣмъ присутствовавшимъ очень понравилось произведеніе молодого диллетанта: но за дверью гостинной въ передней стоялъ только что пришедшій уже старый человѣкъ, которому, судя по выраженію его потупленнаго лица и движеніямъ плечей, романъ Паншина, хотя и премиленькій, не доставилъ удовольствія...“ Въ виду художественнаго удобства появленія Лемма какъ разъ въ этотъ моментъ, нѣсколько нарушенъ принятый (очевидно, съ расчетомъ на извѣстный художественный эффектъ) въ первыхъ главахъ порядокъ появленія новыхъ лицъ въ самомъ концѣ главы¹⁾.

Въ главѣ VII-й даны еще двѣ три незамѣтныя черточки, которыя однако же западаютъ мимоходомъ въ голову читателя и, присоединяясь къ прежнимъ, подвигаютъ впередъ характеристику Лизы. Это именно замѣчаніе Лаврецкаго, что у Лизы—еще 8 лѣтъ тому назадъ, когда онъ въ послѣдній разъ ее видѣлъ,—было „такое лицо, котораго не забываешь“, и далѣе—объясненіе съ Паншинымъ въ концѣ главы. Отметимъ также, что въ этой главѣ впервые примѣненъ приемъ, который мы встрѣтимъ не разъ въ дальнѣйшемъ, а именно—глава заканчивается „нѣмой картиной“: внизу, на порогѣ гостинной, Паншинъ объясняется въ любви Лизѣ, которая „ничего не отвѣчала ему...“, а на верху, въ комнатѣ Марѣ Тимофеевны, сидѣлъ Лаврецкій; „старушка, стоя передъ нимъ, изрѣдка и молча гладила его по волосамъ... Онъ ничего не сказалъ своей старинной доброй пріятельницѣ, и она его не спрашивала... Да и къ чему было говорить, о чемъ разспрашивать? Она и такъ все понимала, она и такъ сочувствовала всему, чѣмъ переполнялось его сердце“.

Съ VIII-й главы и до XVI-й включительно идетъ большое (можетъ быть, слишкомъ большое) отступленіе, гдѣ излагается прошлое Лаврецкаго и вообще исторія „дворянскаго гнѣзда“ Лаврецкихъ.

¹⁾ Въ концѣ первой главы является Гедеоновскій, въ концѣ II-й—Паншинъ, въ концѣ III-й—Лиза, въ IV-й—страницей выше конца—Леммъ, въ самомъ концѣ VI-й—Лаврецкій. (V-я повѣствуетъ о Леммѣ и является первымъ изъ трехъ отступленій повѣствовательнаго и объяснительнаго характера: второе о Лаврецкомъ, третье о Лизѣ. Объ этихъ отступленіяхъ будетъ рѣчь ниже).

Нить прерваннаго разсказа восстанавливается съ главы XVII-й. Лаврецкій встрѣчаетъ Лизу, идущую въ церковь, и изъ короткаго разговора съ нею узнаетъ, что Лиза религіозна. Онъ проситъ ее помолиться и за него. „Лиза остановилась и обернулась къ нему. — Извольте, сказала она, прямо глядя ему въ лицо: — я помолюсь и за васъ...“ Это опять одинъ изъ тѣхъ незамѣтныхъ, при бѣгломъ чтеніи легко ускользающихъ отъ вниманія читателя, штриховъ, которые, однакоже, присоединяясь ко множеству другихъ, имъ подобныхъ, созидаютъ въ воображеніи читателя образъ Лизы и вмѣстѣ съ тѣмъ постоянно плетутъ психологическую нить взаимныхъ отношеній Лизы и Лаврецкаго. Читатель могъ и не остановиться на этихъ двухъ строчкахъ, но онѣ заронили ему въ голову увѣренность или готовность думать, что Лиза глубоко религіозна, что для нея молитва — дѣло серьезное. И въ этихъ словахъ Лизы („извольте, я помолюсь и за васъ“), въ тонѣ, съ которыми они были сказаны (авторъ даетъ намъ почувствовать этотъ тонъ), Лаврецкій долженъ былъ почуять проявленіе души глубокой и своеобразной. Но подобно читателю, и Лаврецкій еще далекъ отъ полнаго и надлежащаго пониманія Лизы, — онъ только подготавливается къ таковому, невольно и постепенно подчиняясь обаянію этой чистой и высокой души.

Послѣ этой коротенькой сценки Лиза появляется впервые только въ главѣ XXIII ¹⁾, — тѣмъ не менѣе на протяженіи этихъ главъ XVII—XXIII ея образъ значительно выясняется, и мозаичная работа его созиданія далеко подвигается впередъ. Такой результатъ достигнуть указаніями на то, какъ думаютъ о Лизѣ, какъ понимаютъ ее, какъ относятся къ ней другія лица, уже извѣстныя читателю, а именно Марѳа Тимофеевна, Лаврецкій и въ особенности Леммъ. Первая вноситъ свою лепту въ это трудное, кропотливое дѣло созиданія образа Лизы — высказывая Лаврецкому (въ гл. XVII) свое рѣзко отрицательное отношеніе къ личности и сватовству Паншина. На вопросъ Лаврецкаго: „ну, а Лиза къ нему неравнодушна?“ — она отвѣчаетъ, невольно поца-

¹⁾ Ея присутствіе въ главѣ XXI въ счетъ не идетъ.

дая въ тонъ настроенія Лаврецкаго: „кажется, онъ ей нравится,— а, впрочемъ, Господь ее вѣдаетъ! Чужая душа, ты знаешь, темный лѣсъ, а дѣвчья и подавно“, на что Лаврецкій замѣчаетъ: „да, дѣвчью душу не разгадаешь“. Это даетъ направленіе мыслямъ Лаврецкаго о Лизѣ въ слѣдующей XVIII главѣ (на пути въ деревню): „вотъ — думалъ онъ — новое существо только что вступаетъ въ жизнь. Славная дѣвушка, что-то изъ нея выйдетъ. Она и собой хороша. Блѣдное, свѣжее лицо, глаза и губы такіе серьезные и взглядъ честный и невинный. Жаль, она, кажется, восторжена немножко. Ростъ славный, и такъ легко ходитъ, и голосъ тихій. Очень я люблю, когда она вдругъ остановится, слушаетъ со вниманіемъ, безъ улыбки, потомъ задумается и откинетъ назадъ свои волосы...“ Кстати замѣтить, даже наружность Лизы описана Тургеневымъ не такъ, какъ въ большинствѣ случаевъ описывается у него наружность другихъ героинь: портретъ Лизы не данъ сразу, а отдѣльныя ея черты, будто случайно, разбросаны въ разныхъ мѣстахъ романа. Здѣсь, въ гл. XVIII, впервые послѣ очень краткаго указанія на внѣшность героини, сдѣланнаго въ концѣ главы III, даны — въ размышленіяхъ Лаврецкаго — дополнительные черты.

Отношеніе Лаврецкаго къ Лизѣ приблизительно такое же, какъ и отношеніе къ ней читателя: для Лаврецкаго она пока еще загадка, величина неизвѣстная; но въ этой неизвѣстной величинѣ онъ уже прозрѣваетъ нѣчто значительное и своеобразное, — натуру, полную чарующей прелести и глубокаго интереса. И для него, какъ и для читателя, въ цѣляхъ выясненія этой натуры, ея глубины, ея обаянія, дружно работаютъ другія лица, одни прямо, другія косвенно. Но важнѣе всего въ этомъ отношеніи роль Лемма. Въ „построеніе Лизы“ онъ вноситъ элементъ творческій, поэтический, музыкальный. Намеки въ этомъ смыслѣ попадались и раньше (кантата, музыка въ гл. XXI), но только съ главы XXII-й Леммъ окончательно выступаетъ въ этой роли. Я имѣю въ виду коротенькую, но прелестную сцену въ дорогѣ (Лаврецкій и Леммъ ѣдутъ въ деревню), которую и попрошу читателя возстановить въ памяти. При этомъ необходимо припомнить послѣднія строки предыдущей XXI-й главы: „Даже сидя въ коляскѣ, старикъ про-

должалъ дичиться и ежиться; но тихій, теплый воздухъ, легкій вѣтерокъ, легкія тѣни, запахъ травы, березовыхъ почекъ, мирное сіяніе безлуннаго звѣзднаго неба, дружный топотъ и фырганье лошадей, всѣ обаянія дороги, весны, ночи — спустились въ душу бѣднаго нѣмца, и онъ самъ первый заговорилъ съ Лаврецкимъ“. Послѣ этого и идетъ XXII глава, начинающаяся словами: „Онъ сталъ говорить о музыкѣ, о Лизѣ, потомъ опять о музыкѣ. Онъ какъ будто медленнѣе произносилъ слова, когда говорилъ о Лизѣ“. Глава заключаетъ въ себѣ всего 2 страницы, которыя можно резюмировать такъ: Леммъ, этотъ необыкновенный человѣкъ, несчастный и трогательный старикъ, размышлялъ о „музыкѣ и о Лизѣ“ и, въ приливъ неопредѣленныхъ вдохновеній, поэтизируетъ: „Вы, звѣзды! О вы, чистыя звѣзды!“ Изъ этихъ вдохновеній пока ничего не выходитъ, но для читателя и для Лаврецкаго эти вариации старика о звѣздахъ, о невинныхъ сердцемъ, о любви, даютъ въ результатъ своеобразную психологическую ассоціацію, въ составъ которой входитъ и образъ Лизы. Отъ стараго музыканта и „поэта въ душѣ“ падаетъ на эту все еще загадочную фигуру своеобразное освѣщеніе, которое въ главѣ XXIII еще усиливается — тирадою Лемма по поводу предполагаемой любви Лизы къ Паншину: „Нѣтъ, горячится старикъ, она его не любитъ, т. е. очень чиста сердцемъ и не знаетъ сама, что это значить — любить... Она можетъ любить одно прекрасное, а онъ не прекрасенъ, т. е. душа его не прекрасна“. — „Дражайшій маэстро! воскликнулъ вдругъ Лаврецкій: — мнѣ сдается, что вы сами влюблены въ мою кухню. — Леммъ вдругъ остановился. — Пожалуйста, началъ онъ невѣрнымъ голосомъ, — не шутите такъ надо мною. Я не безумецъ: я въ темную могилу гляжу, не въ розовую будущность“.

Для читателя и для Лаврецкаго эта ассоціація служитъ важною подготовкою для встрѣчи Лизы въ слѣдующихъ главахъ, начиная съ XXIV-й. Незвѣстная величина начинаетъ понемногу выясняться, — душа загадочной дѣвушки постепенно раскрывается передъ нами. Въ главѣ XXIV-й мы находимъ сравнительно-длинный разговоръ Лаврецкаго съ Лизой нѣсколько-интимнаго характера — объ отношеніяхъ Лаврецкаго къ женѣ. Этому разговору,

гдѣ ярко выступаетъ глубокая религіозная и нравственная убѣжденность Лизы, предшествующія слѣдующія строки: „Они разговаривались; она успѣла уже привыкнуть къ нему, — да она и вообще никого не дичилась ¹⁾. Онъ слушалъ ее, глядѣлъ ей въ лицо и мысленно твердилъ слова Лемма, соглашался съ нимъ. Случается иногда, что два уже знакомыхъ, но не близкихъ другъ другу человѣка внезапно и быстро сближаются въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній, — и сознаніе этого сближенія тотчасъ выражается въ ихъ взглядахъ, въ ихъ дружелюбныхъ и тихихъ усмѣшкахъ, въ самыхъ ихъ движеніяхъ. Именно это случилось съ Лаврецкимъ и Лизой. „Вотъ онъ какой“, подумала она, ласково глядя на него; „вотъ ты какая“, подумалъ и онъ“. — Разъ это сближеніе и взаимное довѣріе было почувствовано ими, Лиза не колеблясь сама первая заговорила на щекотливую тему о супружескихъ отношеніяхъ Лаврецкаго. Изъ всего разговора ясно видно, что Лизой руководило вовсе не любопытство, столь свойственное женщинамъ, не соблазнъ пикантной темы для бесѣды, — а чистый порывъ глубоко-убѣжденного человѣка — указать другому, возбуждающему симпатію и состраданіе, правильный путь, вызвать въ немъ извѣстные чувства — жалости, желаніе простить — по отношенію къ женѣ, хотя бы и виновной. Отмѣтимъ также одну характерную черту Лизы, проявляющуюся какъ тутъ, такъ и въ другихъ мѣстахъ: это — своеобразная и непреклонная, несговорчивая логика христіански-убѣжденного ума, ненарушимо стоящаго на устояхъ этики всепрощенія, примиренія, покорности и безропотности въ несчастіи. Этотъ разговоръ не былъ тихой, задушевной бесѣдой, это былъ споръ, при чемъ Лаврецкій даже сердился и топалъ ногою. И конечно, изъ этого спора онъ, какъ и мы, читатели, долженъ былъ вынести убѣжденіе въ томъ, что въ характерѣ Лизы, этой кроткой, женственно-нѣжной натуры, скрывается особое душевное начало, стойкое и неуклонное, какъ логика, неумо-

¹⁾ Оять, какъ бы невзначай, но съ несомнѣннымъ намѣреніемъ вставленное замѣчаніе, не лишнее значенія для пониманія Лизы: Лиза молчалива и сосредоточена, не экспансивна, но она не — „дичокъ“.

лимое, какъ религіозный кодексъ, безповоротное, какъ категорическій императивъ нравственнаго.

Минуя главу XXV, заключающую въ себѣ несравненный эпизодъ о несравненномъ Михалевичѣ, переходимъ къ слѣдующей главѣ XXVI-й, гдѣ образъ Лизы, наконецъ, дорисовывается и выступаетъ въ полномъ обаяніи всѣхъ чаръ своей глубокой непосредственности, своей умной наивности.

Марья Дмитріевна съ дочерью—въ гостяхъ у Лаврецкаго, въ деревнѣ. Лаврецкій и Лиза на плотинѣ—чудный сюжетъ для художника-живописца. „Лаврецкій глядѣлъ на ея чистый, нѣсколько-строгій профиль, на заткнутые за уши волосы, на нѣжныя щеки, которыя загорѣли у ней, какъ у ребенка, — и думалъ: о, какъ мило стоишь ты надъ моимъ прудомъ!“ — Въ разговорѣ съ Лаврецкимъ опять обнаруживается—мимоходомъ, словно невзначай—то религіозное начало въ Лизѣ, о которомъ мы только-что говорили. Здѣсь находятся знаменитыя слова Лизы, что „христіаниномъ нужно быть не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть!“ Тутъ-же мы узнаемъ, что Лиза часто думаетъ о смерти. Наконецъ, замѣчаніе въ концѣ главы объ умѣ Лизы и ея наивный отвѣтъ: „Право? А я такъ думала, что у меня, какъ у моей горничной Насти, своихъ словъ нѣтъ“, —окончательно возсоздаютъ въ нашемъ воображеніи подлинный образъ Лизы. Съ этого момента мы и Лаврецкій ее знаемъ.

II.

Отношенія Лизы и Лаврецкаго, какъ они до сихъ поръ сложились, были отношеніями взаимнаго довѣрія и дружбы, нѣсколько осложненной все возроставшимъ интересомъ другъ къ другу. Лаврецкій видѣлъ въ Лизѣ натуру не совсѣмъ обыкновенную, и Лиза отличала Лаврецкаго отъ другихъ мужчинъ. Завязывались тѣ душевныя связи, изъ которыхъ современемъ могло развиваться болѣе живое и страстное чувство. Это развитіе было значительно ускорено неожиданнымъ извѣстіемъ о смерти жены Лаврецкаго (гл.

XXVII). Оттуда—рѣзкая перемѣна въ настроеніи нашего героя. Извѣстіе поразило его, взволновало, выбило изъ колеи и, главное, — обрадовало. Онъ почуялъ свободу и возможность новой любви и счастья. Но какъ отразилось это извѣстіе на Лизѣ? Это мы узнаемъ изъ главы XXIX-й, гдѣ въ длинномъ разговорѣ Лаврецаго съ Лизой на тему о предполагаемой покойницѣ, о „прощеніи“, о счастье, о Паншинѣ — ярко обрисовывается натура Лизы вообще и ея душевное состояніе въ данную минуту. Прелюдією къ этому—очень важному въ структурѣ всего романа—мѣсту служатъ слѣдующія строки въ концѣ предыдущей XXVIII-й главы: „Лиза пришла въ гостинную и сѣла въ уголь; Лаврецкій посмотрѣлъ на нее, она на него посмотрѣла, — и обоемъ стало жутко. Онъ прочелъ недоумьніе и какой то тайный упрекъ на ея лицѣ...“ Вотъ именно въ разговорѣ главы XXIX-й Лизой явно руководитъ желаніе выяснитъ свои *недоумьнія* и высказать Лаврецкому тотъ *упрекъ*, который онъ на-канунѣ прочелъ на ея лицѣ. Оттуда, такъ сказать, активная роль Лизы въ этой бесѣдѣ. Она ведетъ разговоръ, она задаетъ вопросы и требуетъ отвѣтовъ, она допрашиваетъ и почти обвиняетъ Лаврецаго. Уже раньше она догадывалась, что неожиданное извѣстіе *обрадовало* Лаврецаго, что въ глубинѣ души онъ ликуетъ по случаю смерти жены, — и вотъ эта-то догадка и повергаетъ ее въ недоумьніе. Она не можетъ согласовать несомнѣнной для нея грѣховности и жестокости такого чувства съ сложившимся уже у нея представленіемъ о Лаврецкомъ, какъ о человѣкѣ нравственно-чистомъ, сердечномъ, добромъ. „Скажите, допрашиваетъ она: — вы не огорчены? — Нисколько?“ — „Я самъ не знаю, что я чувствую“, уклончиво отвѣчаетъ подсудимый. — „Но вѣдь вы ее любили прежде? — Любилъ. — Очень? — Очень. — И не огорчены ея смертью? — Она не теперь для меня умерла“, — опять уклончивый отвѣтъ, послѣ котораго слѣдуетъ вердиктъ: „Это грѣшно, что вы говорите... Не сердитесь на меня. Вы меня называли своимъ другомъ: другъ все можетъ говорить. Мнѣ, право, даже страшно... Вчера у васъ такое нехорошее было лицо... Помните, недавно, какъ вы жаловались на нее? А ея уже тогда, можетъ быть, на свѣтѣ не было. Это

страшно. Точно это вамъ въ наказаніе послано“. Недоумѣніе Лизы отчасти разъяснено, упрекъ высказанъ, но она все еще не удовлетворена. Лаврецкій оказывается ниже ея идеала. Онъ грѣшникъ. Теперь ему слѣдуетъ не радоваться, не ликовать, а каяться и молить Бога о прощеніи. Лиза это и высказываетъ ему: за вердиктомъ слѣдуетъ эпитимія.

До сихъ поръ, задавая вопросы, требуя отвѣта, выражая свои упреки, Лиза сохраняетъ самообладаніе и спокойствіе духа. Она смѣло высказываетъ свои мысли и, основываясь на правахъ дружбы, исходя изъ живого сочувствія къ положенію Лаврецкаго, не боится даже затрогивать очень щекотливые пункты (напр. о будущности дочери, которую Лаврецкій не признаетъ своею). Это спокойствіе Лизы, очевидно, обусловленно тѣмъ, что она еще не влюблена въ Лаврецкаго и даже не знаетъ о томъ чувствѣ, которое она уже внушила ему. Какъ только она узнаетъ это, или по крайней мѣрѣ начнетъ подозрѣвать,—покой ея души, ясность ея мысли будутъ нарушены. Вотъ это то и случилось тутъ же, въ теченіе разговора, который мы анализируемъ, когда Лаврецкій сказалъ, что онъ былъ бы, вѣроятно, болѣе огорченъ смертью жены, еслибы получилъ это извѣстіе двумя недѣлями раньше. „Двумя недѣлями? возразила Лиза.—Да что-жъ такое случилось въ эти двѣ недѣли? — Лаврецкій ничего не отвѣчалъ, а Лиза вдругъ покраснѣла еще пуще прежняго.—Да, да, вы угадали,—подхватилъ внезапно Лаврецкій:—въ теченіе этихъ двухъ недѣль я узналъ, что значить чистая женская душа, и мое прошедшее еще дальше отъ меня отодвинулось“. Затѣмъ слѣдуютъ признаніе Лизы относительно ея чувствъ къ Паншину и горячія рѣчи Лаврецкаго, убѣждающаго Лизу не выходить замужъ безъ любви, въ особенности—за Паншина, который недостойнъ ея. Вотъ тутъ то Лиза и догадывается, что она помимо воли загля въ Лаврецкомъ чувство болѣе страстное, чѣмъ дружба. Это открытіе дѣйствуетъ на нее потрясающимъ образомъ—тѣмъ болѣе, что и въ себѣ она сознаетъ возможность возникновенія такого же чувства къ Лаврецкому. Въ перспективѣ ей открывается неизбѣжность роковой коллизіи между влеченіемъ сердца и ея религіозными убѣжденіями.

И вотъ почему на слова Лаврецкаго „не правда ли, вы общаете мнѣ не спѣшить (замужествомъ)“, — „она ни слова не вымолвила — не оттого, что она рѣшилась „спѣшить“, но оттого, что сердце у ней слишкомъ сильно билось, и чувство, похожее на страхъ, захватило дыханіе“. Этимъ и заканчивается глава XXIX-я, представляющая собою, какъ видно изъ вышесказаннаго, поворотный пунктъ въ развитіи романа и въ особенности въ душевной исторіи Лизы. „Дворянское гнѣздо“, можно сказать, дѣлится на двѣ части: первая, изображающая Лизу въ состояніи душевной ясности и уравниновѣшенности, заканчивается главой XXIX-й, и отъ нея начинается вторая часть, рисующая полную глубокаго трагизма коллизію въ душѣ Лизы, когда ея внутренній міръ былъ нарушенъ *любовью*, и тѣмъ громче, тѣмъ настойчивѣе заговорили ея религіозныя и нравственныя стремленія.

Постепенное развитіе этой коллизіи очерчено намеками, — въ главѣ XXX-й бѣглымъ, какъ бы подавленнымъ разговоромъ (у фортепьяно), въ главѣ XXXI-й — сценою въ церкви, гдѣ между прочимъ видно, что Лаврецкій отчасти подчинился религіозному вліянію Лизы: „Онъ взглянулъ на Лизу... Ты меня сюда привела, подумалъ онъ: — коснись же меня, коснись моей души“. Она все такъ же тихо молилась; лицо ея показалось ему радостнымъ, и онъ умилился вновь, онъ попросилъ другой душѣ — покоя, своей — прощенія...“ — Намеки главы XXXII-й заключены въ слѣдующемъ разговорѣ: „Вы прочли эту книгу? — спрашиваетъ Лаврецкій. — Нѣтъ, мнѣ теперь не до книгъ, — отвѣчала она и хотѣла уйти. — Пойдите на минуту; я съ вами давно не былъ наединѣ. Вы словно боитесь меня. — Да. — Отчего же, помилуйте? — Не знаю... — Скажите, вы еще не рѣшились? — Что вы хотите сказать? — промолвила она, не поднимая глазъ. — Вы понимаете меня. — Лиза вдругъ вспыхнула. — Не спрашивайте меня ни о чемъ, произнесла она съ живостью: — я ничего не знаю, я сама себя не знаю... И она тотчасъ же удалась“. — Въ сценѣ у Калиитиныхъ, послѣ молебствія (конецъ той же главы), „Лаврецкій подсѣлъ было къ Лизѣ, но она держалась строго, почти сурово и ни разу не взглянула на него. Она какъ будто съ намѣреніемъ его не замѣчала;

какая то холодная, важная восторженность нашла на нее... Онъ чувствовалъ: что-то было въ Лизѣ, куда онъ проникнуть не могъ“.

Таковы симптомы глухой борьбы, происходившей въ душѣ Лизы. Она уже знала, что онъ ее любитъ, и считала это несчастьемъ и грѣхомъ; она уже начинала сознавать и въ себѣ зарожденіе любви къ нему, и это чувство казалось ей чѣмъ-то въ родѣ паденія, преступленія, святотатственнаго нарушенія за-вѣтовъ религіи и нравственности. Но въ то-же время она не могла не знать, что это чувство по-своему чисто и свято, что въ немъ нѣтъ ничего грязнаго, ничего грѣховнаго. Манящая прелесть зарождающагося чувства, чарующая поэзія первой любви уже овладѣвали душою Лизы,—и не знала она, какъ сладить съ этимъ обаяніемъ, какъ вырвать это чувство,—да и въ самомъ ли дѣлѣ такъ уже необходимо вырывать его? А что—если оно ниспослано свыше? Но для чего: для искушенія, для испытанія, или для счастья, для радостей земныхъ? Какъ рѣшить этотъ вопросъ, гдѣ найти отвѣтъ? Для Лизы ясно: нужно обратиться къ Богу, нужно молиться Ему: Онъ укажетъ.—Она любила и молилась.

Любовь, осложненная молитвою,—это совсѣмъ особая любовь, къ которой способны только такія натуры, какъ Лиза,—любовь, въ которой замѣшано третье лицо—Божество. Это лицо—не равнодушный зритель, не холодный созерцатель. Оно принимаетъ живое участіе въ душевной коллизіи героини и можетъ позволить и воспретить, поощрить и покарать. Оно позволило въ главѣ XXXII-ой Лаврецкому разбить Паншина въ словесномъ турнирѣ „по всѣмъ пунктамъ“ и дало Лизѣ почувствовать, что „оба они (Лиза и Лаврецкій) и любятъ, и не любятъ одно и то-же“ (гл. XXXIV). По окончаніи турнира, они, „словно сговорившись, оба встали и помѣстились возлѣ Марѣы Тимофеевны. Имъ сдѣлалось вдругъ такъ хорошо обоимъ, что они даже побоялись остаться вдвоемъ,— и въ то-же время они почувствовали оба, что испытанное ими въ послѣдніе дни смущеніе исчезло и не возвратится болѣе...“ Глава (XXXIII) оканчивается „картиною“: „Все затихло въ комнатѣ, слышалось только слабое потрескиваніе восковыхъ свѣчей... да широкой волной вливалась въ окна, вмѣстѣ съ роси-

стой прохладой, могучая, до дерзости звонкая пѣснь соловья". — Затѣмъ идетъ удивительное, въ поэтическомъ отношеніи, изображеніе — въ главѣ XXXIV-ой — апофеоза любви Лаврецкаго и Лизы. „Они сидѣли возлѣ Марѣы Тимоѣевны и, казалось, слѣдили за ея игрой (въ карты)..., а между тѣмъ у каждаго изъ нихъ сердце росло въ груди, и ничего для нихъ не пропадало: для нихъ пѣлъ соловей, и звѣзды горѣли, и деревья тихо шептали, убаюканныя и сномъ, и нѣгой лѣта, и тепломъ. Лаврецкій отдавался весь увлекавшей его волнѣ — и радовался; *но слово не выразитъ того, что происходило въ чистой душѣ девушки: оно было тайной для нея самой; пусть же останется оно и для всѣхъ тайной.* Никто не знаетъ, никто не видѣлъ и не увидитъ никогда, какъ, призванное къ жизни и процвѣтанію, наливается и зрѣетъ зерно въ лонѣ земли“.

Для надлежащей оцѣнки художественнаго образа Лизы, необходимо вникнуть въ настоящій смыслъ этихъ строкъ.

III.

Эти поэтическія строки отнюдь не должны быть разсматриваемы, какъ одна изъ столь обычныхъ въ изящной литературѣ стилистическихъ прикрасъ въ описаніяхъ любви, — какъ родъ общаго мѣста, которое легко могло бы быть перенесено изъ одного романа въ другой и вездѣ было бы кстати.

Сущность разбираемой мысли Тургенева сводится къ указанію на таинственность, на мистичность зарожденія любви въ душѣ Лизы. Дѣло идетъ специально о Лизѣ, какъ художественномъ типѣ, т. е., во-первыхъ, объ индивидуальной Лизѣ, героинѣ „Дворянскаго Гнѣзда“, и во-вторыхъ обо всѣхъ тѣхъ женскихъ натурахъ, которыя ей сродни, которыхъ обобщеніемъ или представителемъ служить образъ, созданный Тургеневымъ. Не всякая любовь, женская или мужская, таинственна, не всегда ея зарожденіе мистично. Душевное состояніе, его выражающее, зачастую можетъ быть съ большею или меньшею точностью опредѣлено и выражено словами или художественными образами. Вотъ напр. соотвѣтственное ду-

шевное состояніе Лаврецкаго вполне опредѣлимо. Но не таково зарожденіе любви у Лизы: у нея оно дѣйствительно загадочно,— первые всходы ея чувства такъ своеобразны и такъ глубоко скрыты въ тончайшихъ извилинахъ ея чистой и высокой души, что этотъ процессъ, въ ней происходящій, остается тайной для нея самой, и слово человѣческое, даже слово великаго художника, не найдеть для него другого опредѣленія, кромѣ отрицательнаго, „агностическаго“.—Такова мысль Тургенева.

Посмотримъ, справедлива ли она.

Вообще говоря, любовь, т. е. состояніе влюбленности, не принадлежитъ къ числу наиболѣе загадочныхъ или таинственныхъ явленій психи. Она представляется мистичною развѣ только въ томъ смыслѣ, въ какомъ мистично все на свѣтѣ: и матерія, и сила, и законы природы, и міръ психическій, и весь космосъ. Но оставляя въ сторонѣ эту общую всему сущему мистичность, мы скажемъ, что въ сферѣ психической есть рядъ явленій, во многихъ отношеніяхъ несравненно болѣе таинственныхъ, чѣмъ любовь. Это именно — явленія отвлеченной мысли, загадочность которой обусловлена, между прочимъ, тѣмъ, что она — высшее, послѣднее въ эволюціонной цѣпи проявленіе психи, уже очень далеко отошедшее отъ тѣхъ простѣйшихъ душевныхъ явленій, изъ которыхъ оно развилось. Вотъ именно эта удаленность, вмѣстѣ съ трудностью, иногда невозможностью уловить посредствующія звенья, и придаетъ явленію отпечатокъ относительной „мистичности“. Самый процессъ зарожденія мысли, возникновенія понятій, созданія идей, по своей сложности, быстротѣ и кажущейся самопроизвольности, наконецъ, по своей сокровенности и недоступности для изслѣдованія — этотъ процессъ дѣйствительно исполненъ глубокой тайны, и къ нему то скорѣе, чѣмъ къ любви, можно примѣнить тургеневскую метафору: „никто не знаетъ, никто не видѣлъ и не увидитъ никогда, какъ, призванное къ жизни и процвѣтанію, наливается и зрѣетъ зерно въ лонѣ земли“. Наконецъ, значительная доля мыслительныхъ процессовъ скрывается въ сферѣ безсознательной: она „остается тайною“ для самого субъекта, и поэтому — „слово не выразить того, что происходитъ“ въ немъ.

Иное дѣло—любовь. Правда, и она уже далеко отошла отъ своего первоисточника (полового влеченія), но все-таки этотъ послѣдній—живъ и такъ или иначе сказывается. Самая возможность возникновенія любви только между мужчиной и женщиной (оставляя въ сторонѣ нѣкоторыя изъятія патологическаго характера, продукты извращенія) указываетъ намъ на генезисъ этого чувства. Оно есть перерожденное, облагороженное, идеализированное половое влеченіе. По способу своего выраженія, по симптомамъ своимъ, оно весьма доступно наблюденію и болѣе или менѣе точному діагнозу. Самому субъекту оно открывается съ не меньшей ясностью, чѣмъ другія чувства.

Исходя изъ этихъ соображеній, можно было бы утверждать, что рассматриваемая мысль Тургенева едва-ли подлежитъ оправданію, что она представляетъ собою родъ утрировки. Если вообще любовь не такъ ужъ мистична, то почему любовь Лизы должна быть исключеніемъ? Неужели въ самомъ дѣлѣ то, что происходило въ душѣ Лизы, такъ таки и оставалось тайною для нея самой? Развѣ такъ ужъ трудно было ей догадаться, что она влюблена? Или, быть можетъ, это чувство зарождающейся любви осложнилось у нея какими-нибудь другими душевными состояніями, и весь процессъ пріобрѣлъ характеръ особой сложности и запутанности, такъ что въ самомъ дѣлѣ она не въ состояніи была въ немъ разобраться и дать себѣ отчетъ?

А вотъ посмотримъ.

Послѣ той внутренней борьбы, которую пережила Лиза, послѣ всѣхъ недоумѣній и тревогъ душевныхъ, вызванныхъ въ ней переходнымъ состояніемъ отъ дружбы къ любви, послѣ всѣхъ обуравшихъ ее противорѣчій,—вдругъ разсѣялся туманъ, и яркій лучъ любви осѣнилъ ея невинную душу,—пришло и для нея, еще не вѣдавшей этихъ радостей, то „чудное мгновеніе“, когда человекъ чувствуетъ чарующую близость счастья, когда „ничто для него не пропадаетъ“. Было мрачно и противорѣчиво въ душѣ,—теперь въ ней ясно и свѣтло, и нѣтъ противорѣчій, нѣтъ недоумѣній, осуществился могучій подъемъ духа въ какую-то высшую сферу гармоніи, внутренней поэзіи:

И сердце бьется въ упоеньи,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь...

Для душъ несложныхъ, не возвышающихся надъ уровнемъ посредственности, для натуръ заурядныхъ, этотъ переходъ отъ прозы существованія къ поэзии любви совершается легко, скользя по поверхности души, не превращаясь въ вопросъ, не становясь загадкою. Натуры болѣе глубокия, болѣе вдумчивыя сознательнѣе относятся къ этому душевному процессу, въ нихъ происходящему, и — перенесенный въ сферу болѣе таинственную, чѣмъ онъ, въ сферу мысли — онъ принимаетъ характеръ сложнаго, болѣе или менѣе загадочнаго явленія, въ которомъ онъ стараются разобратъся. Сравнительно несложный вопросъ любви превращается въ многотрудный вопросъ самосознанія. Вспомнимъ Елену, героиню „Наканунъ“, и ея дневникъ. Вообще, чѣмъ глубже натура, тѣмъ и любовь становится глубже, и ея чары кажутся загадочнѣе. Таинственность любви находится въ прямомъ отношеніи къ сложности и значительности душевныхъ задатковъ человѣка. *Въ мистической душѣ Лизы любовь сама становится мистичной.* Переходъ къ той связанности или одержимости духа, которая называется любовью, былъ у Лизы процессомъ чрезвычайно сложнымъ. Не отъ прозы существованія перешла она къ поэзии любви. Она и до любви знала инныя „чудныя мгновенья“: мистическіе восторги религій, чарующую близость къ божеству, сладость молитвы. Не прозою и прозябаніемъ была ея жизнь, — она была исполнена поэзіей религіознаго подъема духа и работою своеобразной мысли (хотя и безъ „своихъ словъ“). Отъ этой — мистической и высокой — поэзии Лиза и перешла къ поэзии любви, или, лучше сказать, у нея вторая только присоединилась къ первой. Душа Лизы стала ареною двухъ поэтическихъ процессовъ, которые сперва другъ другу противорѣчили и находились въ отношеніяхъ конфликта, а потомъ слились въ гармоническомъ созвучіи. Долго звучали — властно и нераздѣльно — неземные аккорды религіозныхъ струнъ души, — какъ музыка Лемма, они „касались всего, что есть на

землѣ дорогого, тайнаго, святаго“, они „дышали безсмертной грустью и уходили умирать въ небеса“. Потомъ, въ свой чередъ, рядомъ съ этой райской пѣснью, зазвучали иные — дополнительные — звуки, сперва робкіе, нерѣшительные, казалось — поющіе диссонансомъ. Но они росли и крѣпли, и вотъ уже громко поютъ они про любовь, про чистую радость общенія съ живою, хотя-бы и грѣшною, душой человѣческой, и вдругъ переходятъ въ „страстную мелодію, которая вся сіяетъ, вся томится вдохновеніемъ, счастьемъ, красотою“.

Тургеневъ правъ: „слово не выразить того, что происходило въ чистой душѣ дѣвушки“. Только вдохновенная музыка Лемма могла дать образъ для этой тайны.

И эту музыкальную тайну души Лизы мы чувствуемъ вмѣстѣ съ Лаврецкимъ въ чудной сценѣ объясненія въ любви, когда тихимъ рыданіемъ она отвѣтила на страстное признаніе Лаврецакаго, и ея голова упала къ нему на плечо. — Въ заключительной лаконической фразѣ, которою оканчивается глава, — „и Лиза не спала: она молилась“ — слышатся послѣдніе аккорды той-же душевной симфоніи.

IV.

Слѣдующая глава XXXV-ая посвящена воспитанію Лизы и является третьимъ и послѣднимъ отступленіемъ отъ нити разсказа. Это отступленіе какъ разъ на своемъ мѣстѣ. Не трудно видѣть, что, помѣстивъ его здѣсь, послѣ чудной сцены объясненія въ любви и передъ изображеніемъ того перелома въ судьбѣ Лаврецакаго и Лизы, который былъ слѣдствіемъ внезапнаго возвращенія жены Лаврецакаго, Тургеневъ достигъ двойнаго художественнаго эффекта. Все предшествующее достаточно познакомило насъ съ Лизою. Мы ее уже хорошо знаемъ, — и тѣ свѣдѣнія о ея дѣтствѣ, ея воспитаніи, которыя сообщаются въ главѣ XXXV-ой, помѣщенные гдѣ-нибудь выше, въ одной изъ предшествующихъ главъ, не много-бы прибавляли къ обаянію образа Лизы, и безъ того достаточно сильному. Черты изъ ея дѣтства потонули-бы въ этомъ обаяніи, уже осуществленномъ иными художественными средства-

ми, и проскользнули-бы безъ замѣтнаго слѣда. Можно думать даже, что, при неудачномъ помѣщеніи этихъ чертъ, онѣ произвели-бы эффектъ антихудожественный, — впечатлѣніе ненужныхъ усилій расписать то, что уже и безъ того достаточно хорошо написано. Но, на *своемъ мѣстѣ*, непосредственно вслѣдъ за фразой-картиной „и Лиза не спала: она молилась“, черты изъ дѣтской жизни Лизы, образъ Лизы-ребенка, трогательныя подробности о пробужденіи въ душѣ дѣвочки религіозныхъ стремленій подъ влияніемъ Агафьи, — все это превосходно гармонируетъ съ *настроеніемъ читателя*, созданнымъ предшествующей главою. Читатель, остающійся еще во власти сильныхъ художественныхъ эффектовъ предыдущей главы, читатель, въ душѣ котораго еще звучать дивныя аккорды музыки Лемма, съ умиленіемъ и любовью останавливается надъ образомъ молящейся Лизы, — и что-то дѣтски-трогательное, что-то младенчески-чистое, невинное, святое наполняетъ его душу. И вотъ тутъ-то, въ этотъ мигъ умиленнаго созерцанія, художникъ своимъ эпически-ровнымъ и тихимъ голосомъ начинаетъ рассказывать ему о дѣтскихъ годахъ Лизы, — какой это былъ ребенокъ, какъ ея „глаза свѣтились тихимъ вниманіемъ и добротой“, какъ „она задумывалась не часто, но почти всегда не даромъ, какъ она слушала рассказы Агафьи о Пречистой Дѣвѣ, о святыхъ угодникахъ, какъ, наконецъ, „образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, а Христосъ становился ей чѣмъ то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ“. И читатель съ неослабѣвающимъ интересомъ слѣдитъ за повѣствованіемъ автора, отнюдь не досадуя на перерывъ въ развитіи фабулы. Ему, читателю, уже хорошо знающему Лизу взрослую, чей чудный образъ „съ какой то сладкой силой уже втѣснился ему въ душу“, теперь то и интересно, теперь то и важно познакомиться съ Лизой ребенкомъ. Узнать, какъ развивалась эта высокая душа, какъ складывалась эта глубокая натура, — является теперь для читателя своего рода художественной потребностью. И этой потребности художникъ удовлетворяетъ вполне. Повѣствуя, какъ росла и воспитывалась Лиза, онъ нечувствительно приводитъ насъ къ началу, къ Лизѣ взро-

слой, и дорисовываетъ ея образъ нѣсколькими штрихами, которые въ воображеніи читателя вступаютъ въ тѣсную ассоціацію съ данными раньше. Таковы напр. указанія, что у Лизы „не было своихъ словъ, но были свои мысли, и пла она своей дорогой“, что „она была очень мила, сама того не зная“. Заключительныя строки главы сильнымъ и отчетливымъ аккордомъ завершаютъ эту, своего рода, „композицію“: „вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога восторженно, робко, нѣжно. Лаврецкій первый нарушилъ ея тихую внутреннюю жизнь. Такова была Лиза“.

Другой художественный эффектъ, достигаемый „отступленіемъ“ главы XXXV-й, это необходимость *отодвинуть на нѣкоторое разстояніе* описаніе приѣзда жены Лаврецкаго и всего, что оттуда вытекало, отъ главы (XXXIV), изображающей любовь Лаврецкаго и Лизы и иллюзію близкаго счастья. Художникъ долженъ считаться съ читателемъ, съ *его* впечатлѣніями, со смѣною *его* настроеній, вызываемыхъ чтеніемъ произведенія. И чтобы не произвести диссонанса, не нарушить стройности и гармоніи въ развитіи художественнаго процесса въ умѣ читателя, художнику приходится иногда отвлекать вниманіе читателя въ сторону и переводить послѣдняго изъ одного настроенія въ другое не прямо, а черезъ посредство третьяго. Готовясь изобразить новое и рѣзко-противуположное прежнему душевное состояніе героевъ, т. е. намѣреваясь перевести читателя изъ одного настроенія въ другое, отъ одного порядка мыслей къ другому, художникъ, во избѣжаніе слишкомъ рѣзкаго, какъ бы рѣжущаго ухо перехода, на время занимаетъ читателя вставочнымъ рассказомъ. Такое значеніе, кромѣ выше указаннаго, имѣетъ глава XXXV-я, служа какъ бы отдыхомъ послѣ сильныхъ ощущеній главы XXXIV-й, отдыхомъ необходимымъ для художественнаго воспріятія грустныхъ и мрачныхъ мотивовъ послѣдующихъ главъ.—Такимъ образомъ, „отступленіе“ о Лизѣ по существу отличается отъ „отступленія“ о Лаврецкомъ и его предкахъ (гл. VIII—XVI): послѣднее введено не

въ интересахъ художественности, а съ цѣлью сдѣлать фигуру Лаврецаго вполне понятно и ясною во всѣхъ деталяхъ, — разъяснить ея значеніе, какъ культурнаго типа, олицетворяющаго собою одинъ изъ моментовъ въ развитіи русскаго общества.

Слѣдующія за разсмотрѣннымъ отступленіемъ о прошломъ Лизы, главы XXXVI-я и XXXVII-я, рассказываютъ о пріѣздѣ жены Лаврецаго и воспроизводятъ вызванную этимъ пріѣздомъ переменъ въ душевномъ состояніи Лаврецаго. Лизу мы встрѣчаемъ въ главѣ XXXVIII-й, гдѣ она отказываетъ Паншину, вслѣдствіе чего на нее сыплются упреки матери; здѣсь же помѣщенъ и любопытный разговоръ съ Марою Тимофеевной, узнавшей о ночномъ свиданіи Лизы съ Лаврецкимъ. Въ разговорѣ обрисовывается честная и прямая натура Лизы, а въ заключительныхъ строкахъ главы указанъ характеръ ея любви: „Стыдно, и горько, и больно было ей: но ни сомнѣнія, ни страха въ ней не было, — и Лаврецкій сталъ ей еще дороже. Она колебалась, пока сама себя не понимала; но послѣ того свиданія, послѣ того поцѣлуя — она уже колебаться не могла; она знала, что любить — и полюбила честно, не шутя, привязалась крѣпко, на всю жизнь — и не боялась угрозъ; она чувствовала, что насилію не расторгнуть этой связи“.

Эти слова, какъ и вся сцена съ Марою Тимофеевной, очень важны. Они являются отвѣтомъ на естественный вопросъ читателя: какъ-же рѣшила Лиза — послѣ той молитвы, за которою читатель послѣдній разъ видѣлъ ее? Какъ относится она сама къ своей любви? — Въѣстъ съ тѣмъ здѣсь мы находимъ новое подтвержденіе независимости, самостоятельности характера Лизы. Кроткая, любящая, деликатная, она, однакоже, всегда остается непреклонною въ своихъ рѣшеніяхъ.

Душевное состояніе Лизы, изображенное въ этой главѣ, имѣетъ существенное значеніе для пониманія дальнѣйшаго, являясь исходнымъ пунктомъ, первымъ звеномъ, въ ряду послѣдующихъ душевныхъ моментовъ, завершившихся рѣшеніемъ уйти въ монастырь.

Послѣ внутренней борьбы, вызванной въ Лизѣ возникновеніемъ любви къ Лаврецкому, наступилъ, какъ мы видѣли, моментъ душевной тишины, моментъ тихой радости и счастья, когда противорѣчія положенія казались устраненными, и вопросъ жизни былъ рѣшенъ. Но это уравновѣшенное состояніе духа должно было вскорѣ смѣниться новыми душевными тревогами и страданіями. Прежде всего радость любви была омрачена неизбежнымъ объясненіемъ съ Паншинымъ. Для Лизы съ ея „сердцемъ добрымъ и кроткимъ“, ея „боязнью оскорбить кого-бы то ни было“—это объясненіе было дѣломъ нелегкимъ. Она должна была „собраться съ духомъ“— прежде чѣмъ объявить Паншину свое рѣшеніе. Ужъ одно это должно было нарушить миръ ея души. За этой каплей горечи послѣдовало объясненіе съ матерью, бессмысленные упреки которой („за что ты меня убила? Кого тебѣ еще нужно? Чѣмъ онъ тебѣ не мужъ?“ и т. д.) произвели на Лизу впечатлѣніе очень тягостное. „Но не успѣла она еще отдохнуть отъ объясненія съ Паншинымъ и съ матерью, какъ на нее опять обрушилась гроза, и съ такой стороны, откуда она меньше всего ее ожидала“. Это шелъ на нее войною самый близкій ей человѣкъ— Марѳа Тимоѣевна. Грубый допросъ расхившейся старушки подѣйствовалъ на Лизу удручающимъ образомъ. Съ свойственной ей прямою она признается, что любить Лаврецкаго,— и это признаніе повергаетъ Марѳу Тимоѣевну въ настоящій ужасъ: старушка еще не знала о предполагаемой смерти жены Лаврецкаго. Узнавъ объ этомъ отъ Лизы, Марѳа Тимоѣевна немного успокоилась, но изъ ея словъ видно, что она все-таки не одобряетъ чувства Лизы. „Да онъ, я вижу, на всѣ руки. Одну жену уморилъ, да и за другую. Каковъ?...“ — Какъ ни была привязана Лиза къ теткѣ, какъ ни интимны были ихъ отношенія, но этотъ разговоръ не могъ не произвести на чуткую душу дѣвушки самаго удручающаго впечатлѣнія. „Не веселостью сказывалась ей любовь. Въ ея сердцѣ едва только родилось то новое, неожиданное чувство, и уже какъ тяжело поплатилась она за него, какъ грубо коснулись чужія руки ея заветной тайны“. Глава заканчивается вышеприведеннымъ указаніемъ на крѣпость и серьезность любви

Лизы къ Лаврецкому и на непоколебимость ея рѣшенія связать свою жизнь съ жизнью любимаго человѣка.

То угнетенное состояніе духа и то горькое чувство незаслуженной обиды, которыя испытывала Лиза, очень скоро смѣнились гораздо болѣе сильнымъ душевнымъ потрясеніемъ: они перешли въ тотъ нѣмой ужасъ, который былъ слѣдствіемъ неожиданнаго возвращенія жены Лаврецкаго. Глава XXXIX-я, рассказывающая о визитѣ Варвары Павловны Колитинымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ рисуетъ это новое душевное состояніе Лизы. Она „похолодѣла отъ ужаса“, когда прочла записку Лаврецкаго, сообщавшую ей неожиданную вѣсть. На религіозную, на мистическую душу Лизы это извѣстіе должно было подѣйствовать ошеломляющимъ образомъ. Сразу, однимъ ударомъ, недавнее, еще вчерашнее, счастье сегодня превращалось въ несчастье; радость любви, наполнявшая сердце Лизы, вдругъ стала горестью обманутыхъ надеждъ; самыя надежды уже казались преступными; невинное признаніе и чистый поцѣлуй—чуть не паденіемъ. Все разомъ измѣнилось, передвинулось, перетасовалось, явилось въ противоположномъ свѣтѣ. „Внезапный переломъ въ ея судьбѣ потрясъ ее до основанія; въ два какихъ-нибудь часа ея лицо похудѣло; но она и слезинки не проронила. По дѣломъ!—говорила она сама себѣ, съ трудомъ и волненіемъ подавляя въ душѣ какіе-то горькіе, злые, ее самое пугавшіе порывы“. Эти послѣднія строки, а также и указаніе на чувство отвращенія, возбужденное въ Лизѣ Варварой Павловной при первой ихъ встрѣчѣ,—даютъ намъ понять, что въ дальнѣйшемъ развитіи душевной драмы Лизы, на ряду съ горечью, причиненною ходомъ вещей и отношеніемъ къ Лизѣ другихъ лицъ, важная роль будетъ принадлежать еще и другой горечи, именно той, которую ощущала Лиза — находя или предполагая въ себѣ дурныя чувства, озлобленіе, злые порывы. Для нея это было нѣчто въ родѣ душевной самоотравы, и противоядіе она могла найти только въ религіозномъ самоотреченіи. Эта сторона имѣетъ такимъ образомъ существенное значеніе для дальнѣйшей исторіи Лизы. Вытекающія отсюда или съ этимъ связанныя мысли и чувства, уже заранѣе какъ-бы предрекающія судьбу Лизы, намѣчены уже

въ этой главѣ XXXIX-ой — въ описаніи первой встрѣчи Лизы съ Варварой Павловной.

Глава заканчивается трогательной сценой-картиной: Марѳа Тимоѳеевна, болѣя душою за Лизу и въ порывѣ раскаянія во вчерашней вспышкѣ, цѣлуетъ руки Лизы... „и Марѳа Тимоѳеевна не могла нацѣловаться этихъ бѣдныхъ, блѣдныхъ, безсильныхъ рукъ — и безмолвныя слезы лились изъ ея глазъ и глазъ Лизы; а котъ Матросъ мурлыкалъ въ широкихъ креслахъ возлѣ клубка съ чулкомъ, продолговатое пламя лампадки чуть-чуть трогалось и шевелилось передъ иконою, — и въ сосѣдней комнатѣ за дверью стояла Настасья Карповна и тоже украдкой утирала себѣ глаза свернутымъ въ клубочекъ носовымъ платкомъ“.

У.

Съ извѣстной точки зрѣнія, можно сожалѣть, что Тургеневъ не поддался весьма понятному искушенію — вывести, такъ сказать, наружу эту тяжелую драму, развертывающуюся въ душѣ Лизы. Ему-бы ничего не стоило — на нѣсколькихъ страницахъ подвергнуть этотъ душевный процессъ тонкому психологическому анализу, перебрать одно за другимъ всѣ терзанія Лизы, раскрыть всю глубину ея потрясенной души и затѣмъ логически вывести оттуда ея рѣшеніе постричься. Тургеневъ не сдѣлалъ этого, т. е. не далъ намъ такого рода „объяснительной подписи“ къ рисунку. Онъ намъ далъ только одинъ рисунокъ. Но съ другой точки зрѣнія, находя, что на этомъ рисункѣ душевная драма Лизы изображена удивительно мѣтко и тонко, можно, пожалуй, утверждать, что психологическій анализъ былъ-бы излишней роскошью. Въ главѣ XL-ой, гдѣ на первомъ планѣ фигурируетъ Варвара Павловна, привлекая къ себѣ все вниманіе читателя, Лиза только молчаливо присутствуетъ, но читатель отлично понимаетъ все, что происходитъ въ эту минуту въ ея душѣ. Онъ понимаетъ это не только потому, что подготовленъ къ этому всѣмъ предшествующимъ, но также — благодаря самой Варварѣ Павловнѣ. Изящная пустота и всѣ блестящія качества бездушнѣйшей львицы, ярко освѣ-

щенные въ этой главѣ, могли ослѣпить глаза Марьѣ Дмитриевнѣ, Геденовскому да Паншину, но не читателю, который все время смотритъ на парижскую диву глазами автора и съ точки зрѣнія Лизы. Если для Паншина, захваченнаго кокетствомъ Варвары Павловны, „Лиза, та самая Лиза, которую онъ все-таки любилъ, которой онъ наканунѣ предлагалъ руку, исчезла какъ-бы въ туманѣ“, то для читателя, напротивъ, она въ этой главѣ выступаетъ изъ тумана и обрисовывается тѣмъ ярче, тѣмъ симпатичнѣе и трогательнѣе, чѣмъ развязнѣе держитъ себя Варвара Павловна, чѣмъ „изящнѣе“ она ломается, чѣмъ пуще кокетничаетъ и интригуетъ. Читатель ясно видитъ, что происходитъ въ душѣ Лизы при зрѣлищѣ этой игры, этого издѣвательства надъ другими. Тургеневъ, заставивъ самого читателя сдѣлать — про себя — психологическій анализъ душевнаго состоянія Лизы въ данный моментъ, имѣлъ полное право ограничиться коротенькой фразой, которою оканчивается глава и вмѣстѣ подводятся итогъ анализу, сдѣланному читателемъ: „Марѳа Тимофеевна всю ночь просидѣла у изголовья Лизы“.

Такимъ образомъ читатель, и безъ указки автора, достаточно подготовленъ къ пониманію настоящаго смысла послѣдняго объясненія Лизы съ Лаврецкимъ въ главѣ XLII-ой. При нѣкоторой вдумчивости не трудно представить себѣ душевное состояніе и ходъ сокровенныхъ мыслей Лизы, когда она настаиваетъ, чтобы Лаврецкій примирился съ женою, когда она говоритъ, что „счастье зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога“. Все, что накопило и перегорѣло въ душѣ Лизы и, наконецъ, кристаллизировалось въ одно властное и высокое стремленіе, — чувствуется въ ея послѣднихъ словахъ, сказанныхъ въ отвѣтъ на мольбу Лаврецкаго дать ей руку на прощанье. „Лиза подняла голову. Ея усталый, почти погасшій взоръ остановился на немъ...—Нѣтъ, промолвила она и отвела назадъ уже протянутую руку:—нѣтъ, Лаврецкій, не дамъ я вамъ моей руки. Къ чему? Отойдите, прошу васъ, прибавила она съ усиленіемъ; но нѣтъ... нѣтъ...“

О рѣшеніи Лизы уйти въ монастырь Лаврецкій и, пожалуй, читатель въ этой сценѣ еще не догадываются, но что Лиза оста-

новилаь на какой-то мысли, что она пришла къ какому-то безповоротному опредѣленію своей судьбы,—объ этомъ читатель заключаетъ на основаніи того тона, въ которомъ ведется ею весь разговоръ. Лиза сразу-же подымаетъ вопросъ о *долгѣ*. „Намъ обоимъ остается исполнить нашъ долгъ“, говоритъ она. Долгъ Лаврецакаго, по ея глубокому убѣжденію, состоитъ въ томъ, чтобы примириться съ женой. И она это высказываетъ ему — не какъ просьбу или совѣтъ, а какъ требованіе, и въ ея словахъ мы опять слышимъ знакомую намъ ноту непреклонной, неумолимой религіозной убѣжденности: „Вы, Ѳедоръ Ивановичъ, должны примириться съ вашей женой“, категорически заявляетъ она. На вопросъ Лаврецакаго: въ чемъ-же *ея* долгъ состоитъ? она глухо отвѣчаетъ: „про это я знаю“.

Намеки на новый оборотъ ея мыслей, на то, что нѣчто важное и смѣлое созрѣло въ ея умѣ, что она выходитъ на какой-то новый путь, даны также въ сценѣ послѣдняго ея свиданія съ Лаврецкимъ въ главѣ XLIV-ой. „Ѳедоръ Ивановичъ, говоритъ она, вотъ вы теперь идете возлѣ меня... А ужъ вы такъ далеко отъ меня. И не вы одни, а...“ — „Договаривайте, прошу васъ! воскликнулъ Лаврецкій: что вы хотите сказать?“ — „Вы услышите, можетъ быть...“

Въ XLV-й (и послѣдней) главѣ Лиза, въ чудной и трогательной сценѣ съ Марѳой Тимоѳеевной, объявляетъ теткѣ свое рѣшеніе — посвятить себя Богу и, невзирая на отчаяніе бѣдной старушки, на ея слезы и мольбы, остается непреклонной. Читатель помнитъ, конечно, какъ приняла это извѣстіе Марѳа Тимоѳеевна, какъ она всполошилась, какъ умоляла Лизу не итти въ монастырь. Въ этомъ переполохѣ доброй и умной старушки сквозитъ натура—не только Марѳы Тимоѳеевны, но и Лизы: ея строгая послѣдовательность, ея сильная воля, ея глубокая религіозная душа. Старушка отлично знаетъ эту черту, — оттого-то такъ и испугалась, такъ переполошилась она. „Лиза утѣшала ее, отирала ея слезы, сама плакала, но осталась непреклонной“.

Она осталась непреклонной,—потому что иное, высшее призваніе влекло ее прочь отъ жизни, а жизнь, послѣ пережитыхъ

душевныхъ испытаній, обезцвѣтилась въ ея глазахъ, обезцѣнилась и утратила всю заманчивость, всю прелесть своихъ искушеній. Лиза почувствовала и поняла, что, кромѣ пустоты, горечи и обиды, жизнь ничего ей не дастъ. „Счастье ко мнѣ не шло, — говоритъ она, — даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило“. И вотъ теперь, послѣ всего, что она испытала, послѣ того, какъ она убѣдилась въ нравственной невозможности счастья съ любимымъ человѣкомъ, — ея духовныя очи широко раскрылись и увидѣли міръ, жизнь и человѣка въ томъ самомъ свѣтѣ, въ какомъ являлись они древнимъ христіанскимъ подвижникамъ. Всѣ нити, привязывавшія ее къ жизни, вдругъ оборвались, — но тѣмъ громче заговорили религіозныя стремленія ея души, и нѣкій тайный, но властный голосъ призывалъ ее къ подвигу отреченія, къ тихому счастью религіозныхъ созерцаній, къ жизни, превращенной въ одну сплошную молитву, къ блаженству умиротвореннаго состоянія духа и покоя совѣсти.

Трудно намъ, людямъ жизни, людямъ, органически привязаннымъ къ ея текущимъ впечатлѣніямъ, вполне понять душевное состояніе Лизы. Намъ жизнь манитъ, мы отдаемся ея теченію, мы не можемъ сбросить съ себя иго ея обаянія, и для насъ одной капли воображаемаго счастья достаточно, чтобы скрасить существованіе, полное самой реальной горечи и невзгодъ. Для насъ имѣетъ огромную цѣнность самый фактъ — нахожденія здѣсь, среди людей, въ обычной обстановкѣ, среди текущихъ заботъ и стремленій, въ уютѣ и теплотѣ привычной прозы. Хотя эту прозу мы подчасъ и клянемъ, но мы ее любимъ, — мы срослись съ нею всѣми фибрами души, — она же нисколько не мѣшаетъ намъ искать и получать или воображать, что получаемъ, свою долю поэзіи жизни. Сидя въ болотѣ, можно смотрѣть на солнце и любоваться голубой далью небесъ.

И оттого-то душа Лизы — какъ-бы хорошо ни изобразилъ ее художникъ — все-таки остается для насъ загадочной и даже чуждой. Умомъ, пожалуй, мы постигнемъ ея глубину, но воплощенный въ ней идеалъ представляется намъ слишкомъ далекимъ, слишкомъ высокимъ; намъ кажется, что отъ него вѣетъ холодомъ

отчужденности ото всего, что мы любимъ, чѣмъ дорожимъ, чѣмъ живемъ, отъ насъ самихъ и всего нашего существованія,—и мы не чувствуемъ себя въ силахъ согрѣть его тепломъ сердечнаго къ нему отношенія. Этимъ тепломъ мы согрѣемъ другой идеаль — женщины, которая, удаляясь отъ жизни, могла-бы сказать о себѣ:

Я на землѣ свершила все земное,

Я на землѣ любила и жила!

И, по-своему, мы правы: Лиза въ самомъ дѣлѣ слишкомъ мало жила и слишкомъ мало земного свершила на землѣ. Едва успѣвъ пожить среди насъ, не пройдя и сотой доли тѣхъ испытаній, искушеній, тревогъ и обидъ, чрезъ которыя всѣ мы проходимъ, она, послѣ первой же коллизіи, бросила насъ и ушла замаливать „свои грѣхи“, которыхъ не было, и наши, которыхъ слишкомъ много, чтобы она могла ихъ замолить. Такъ ужъ мы созданы: пусть намъ покажутъ идеальное, святое гдѣ нибудь въ дали, въ небесахъ, на недосыгаемой высотѣ, — мы будемъ имъ любоваться или восхищаться, мы преклонимся передъ нимъ, но — останемся холодны. Но пусть оно снизойдетъ къ намъ, въ нашу грѣшную и мелкую жизнь,—и мы его полюбимъ горячо и искренно—такъ, какъ будто бы оно въ самомъ дѣлѣ—наше, кровное, земное. На этомъ, между прочимъ, основана чарующая прелесть Евангелія. Христосъ среди людей, въ средѣ грѣшниковъ и грѣшницъ, Богъ-человѣкъ, обѣдающій у мытаря, прощающій блудницу, благословляющій дѣтей,—вотъ гдѣ тайна обаянія священной книги христіанства.

VI.

Обращаясь къ Лизѣ, мы скажемъ, что источникъ нашей (относительной, конечно) холодности къ ней и ея отчужденности отъ насъ коренится не столько въ ней самой, какъ натурѣ, сколько въ томъ художественномъ способѣ воспроизведенія, которымъ былъ созданъ ея поэтический образъ. Показавъ это, мы подведемъ итоги всему вышесказанному и вмѣстѣ съ тѣмъ раскроемъ обратную сторону художественнаго дарованія Тургенева. Выше мы уже упомянули, что въ творествѣ Тургенева почти нѣтъ, или очень мало

такъ называемаго „психологическаго анализа“. Художникъ рисуетъ, а анализировать предоставляет читателю,—но рисуетъ такъ, что анализъ, частью сознательно производимый читателемъ, частью же самъ собой возникающій въ его головѣ, оказывается именно такимъ, какого хотѣлъ авторъ. При этомъ, разумѣется, необходимо, чтобы читатель былъ на высотѣ своего читательскаго призванія. Иной неподготовленный или предвзято-настроенный читатель, пожалуй, произведетъ такой „анализъ“, что художникъ можетъ прійти только въ ужасъ. Въ задачу художественной критики, между прочимъ, и входитъ обязанность помочь читателю въ этомъ дѣлѣ. Для этого прежде всего необходимо раскрыть и освѣтить тотъ порядокъ идей, который апперцепируется образами, созданными художникомъ. По отношенію къ образу Лизы мы это и сдѣлали, въ мѣру нашихъ силъ и разумѣнія, въ предыдущей (VII-ой) главѣ. Само собою разумѣется, такая помощь со стороны критика нужна читателю только въ тѣхъ случаяхъ, когда даны образы сложные, болѣе или менѣе отвлеченные, въ которыхъ воплощены черты, выходящія за предѣлы непосредственнаго наблюденія,—душевные процессы, мало знакомые большинству читающей публики. Къ числу такихъ и принадлежитъ образъ Лизы. Само собою разумѣется, раскрытіе и объясненіе порядка идей, апперцепируемыхъ образомъ, должно быть обосновано на психологическомъ анализѣ тѣхъ душевныхъ явленій и процессовъ, которые въ этомъ образѣ представлены. Вотъ именно, если этого анализа самъ художникъ не даетъ намъ, то задача и читателя, и критика становится вдвойнѣ сложнѣе и труднѣе. Отсутствіе психологическаго изслѣдованія у Тургенева и составляетъ ту „оборотную сторону“ въ его творествѣ, которую теперь я имѣю въ виду.

По отношенію къ Лизѣ художникъ,—такъ можно думать,—долженъ былъ-бы не поспуаться на психологическій анализъ; не довѣряя цѣликомъ этого дѣла читателю и не полагаясь на критиковъ, онъ долженъ былъ-бы въ нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, мѣстахъ углубиться въ разборъ сокровенныхъ пружинъ души Лизы, раскрыть игру ея тайныхъ—и таинственныхъ—душевныхъ движеній. Къ рисунку авторъ долженъ былъ-бы присоединить кое-

гдѣ тѣ „пояснительныя замѣчанія“, дать тѣ объясненія смысла проводимыхъ имъ чертъ, накладываемыхъ имъ красокъ, — которыя обыкновенно и отливаются въ форму „психологическаго анализа“. Этого-то Тургеневъ и не далъ намъ. Въ Лизѣ онъ скупъ на анализъ, на поясненія больше, чѣмъ гдѣ-либо. Въ смыслѣ мастерства, смѣлости, увѣренности, ловкости и силы въ преодоленіи трудностей, — образъ Лизы отъ этого только выигрываетъ: это одно изъ самыхъ совершенныхъ созданій искусства. Но въ смыслѣ доступности образа пониманію читателя, въ смыслѣ его близости уму и сердцу послѣдняго, онъ несомнѣнно „теряетъ“. Эту „потерю“ нужно понимать, конечно, условно: возможна и такая точка зрѣнія, съ которой она представится даже выигрышемъ. Пояснимъ это на одномъ примѣрѣ.

Въ послѣдней главѣ знаменитое объясненіе съ Марей Тимошеевной ведется слѣдующимъ образомъ:

Старушка, войдя къ Лизѣ и заставъ ее на больняхъ передъ распятіемъ, замѣчаетъ: „А ты, я вижу, опять прибирала свою келейку“. Это нечаянно-оброненное выраженіе (келейка) какъ разъ попадаетъ въ тонъ сокровенныхъ мыслей Лизы, оно даже представляется ей какъ-бы невольнымъ предсказаніемъ. „Лиза задумчиво посмотрѣла на свою тетку. — Какое вы это произнесли слово! прошептала она“. Здѣсь авторъ уполномочиваетъ читателя къ большой самодѣтельности, требуя, чтобы, на основаніи предшествующихъ намековъ и этихъ строкъ, онъ живо представилъ себѣ Лизу, погруженную въ рѣшеніе вопроса всей жизни, — вопроса о постриженіи. Сколько разнообразныхъ чувствъ, сколько мыслей, и горькихъ и радостныхъ, должно было столпиться въ ея душѣ! Любовь и разлука, мысленное прощаніе съ родными, мысли о предстоящемъ суровомъ подвигѣ, горячая вѣра, молитва и слезы — весь этотъ душевный процессъ, сложный и темный, долженъ быть воссозданъ воображеніемъ читателя — почти такъ, какъ будто-бы въ его распоряженіи было не словесное, а живописное или скульптурное произведеніе искусства, картина или статуя, изображающая Лизу въ тотъ моментъ, когда она уже окончательно остановилась на рѣшеніи постричься.

Читая дальше и слыша, какъ Марѳа Тимоѳеевна все уговариваетъ Лизу „утѣшиться“, успокоиться, потерпѣть, „не поддаваться“, читатель убѣждается, что старушка всѣ терзанія Лизы приписываетъ ея любви къ Лаврецькому и что, стало быть, важнѣйшая часть душевнаго состоянія дѣвушки въ данный моментъ — для нея тайна. Но то, что еще тайна для Марѳы Тимоѳеевны, не должно быть тайной для читателя. Послѣднему должно быть ясно, что Марѳа Тимоѳеевна твердить одно, а у Лизы на умѣ совсѣмъ другое. Лиза уже поставила крестъ надъ своею любовью и уже — окончательно и безповоротно — рѣшила уйти въ монастырь. Читателю слѣдуетъ это знать, чтобы ясно представить себѣ душевное содержаніе Лизы въ ту минуту, когда она, утѣшая тетку, говоритъ: „все прошло“, и вдругъ почувствовавъ, что это и есть самый удобный моментъ открыть свою тайну, „произносить съ внезапнымъ одушевленіемъ: — да, прошло, тетушка, если вы только захотите мнѣ помочь... Я хочу идти въ монастырь“. Всѣ предшествующія реплики Лизы („это пройдетъ, дайте срокъ“, „я вамъ говорю, все это пройдетъ, все это уже прошло“ и т. д.) показываютъ, что она хотѣла только успокоить тетку и прекратить разговоръ. Но затѣмъ вдругъ душа ея переполнилась, завѣтная мысль какъ бы просилась наружу, — настала минута, когда Лиза почувствовала, что не въ силахъ скрываться болѣе, что лучше всего теперь же посвятить тетку въ свои планы. „Внезапное одушевление“ овладѣло ею, она открываетъ испуганной теткѣ свое рѣшеніе. Ужасъ и отчаяніе Марѳы Тимоѳеевны еще пуще укрѣпляютъ Лизу въ ея позиціи, и она выступаетъ во всеоружіи беззавѣтности, прямоты и силы своей души. Читатель долженъ представить себѣ это съ полной ясностью, чтобы его анализъ былъ въ полномъ соотвѣтствіи съ живописью художника: „Лиза подняла голову, щеки ея пылали... — Я рѣшилась (объявляетъ она), я молилась, я просила совѣта у Бога, все кончено, кончена моя жизнь съ вами...“ ... „Не удерживайте меня, не отговаривайте, помогите мнѣ, не то я одна уйду...“ Слѣдующій затѣмъ глубоко-трогательный и не чуждый комизма вопль Марѳы Тимоѳеевны („...И кто жъ это выдвѣвалъ, чтобы изъ за эдакой изъ за козвѣй

бороды, прости Господи, изъ за мужчины, въ монастырь идти?... Не надѣвай ты чернаго шлыка на свою голову, батюшка ты мой, матушка ты моя..." довершаетъ эту чудную живопись, требующую отъ читателя вниманія, пониманія и — творчества.

Къ тремъ страницамъ этой словесной живописи читатель мысленно долженъ прибавить еще столько же страницъ собственного психологическаго анализа. Не лучше ли было бы, если бы эти добавочныя страницы далъ самъ авторъ? И да, и нѣтъ. Давъ ихъ отъ себя, авторъ облегчилъ бы работу читателя. Съ точки зрѣнія легкости художественнаго воспріятія — это было бы лучше. Но облегчивъ трудъ читателя, художникъ въ то же время отнялъ бы у него значительную часть самостоятельнаго творчества и его награды — художественнаго наслажденія. Правда, дополнительные страницы тонкаго анализа, сдѣланнаго самимъ художникомъ, сами по себѣ доставили бы немалое наслажденіе читателю, но это наслажденіе было бы уже иного рода, оно — даровое, а потому и умственное его достоинство далеко ниже тѣхъ радостей творчества, какія испытываетъ читатель, самостоятельно воссоздавая внутреннюю жизнь души человѣческой, полной глубокаго психологическаго интереса, но заколдованной художникомъ въ чудномъ образѣ, нарисованномъ со всею доступною тонкостью и силой выраженія.

Я хотѣлъ показать, какъ много приходится читателю поработать собственной головой надъ одной только послѣдней сценой (гл. XLV). Сколько-же труда долженъ онъ положить на воссозданіе — по живописи Тургенева — внутренняго міра Лизы на протяженіи всего романа! Предложенный въ этомъ очеркѣ разборъ тѣхъ художественныхъ приѣмовъ, помощью которыхъ нарисована Лиза, даетъ, мнѣ кажется, приблизительное понятіе о размѣрахъ и цѣнности этого читательскаго — творческаго — труда.

УІІ.

Трудъ этотъ частью безсознательнъ, въ значительной же долѣ сводится къ исполнѣ сознательной работѣ мысли и воображенія. Множество мелкихъ штриховъ, разбѣянныхъ въ разныхъ мѣстахъ,

какъ мы видѣли, западаютъ въ память читателя и сами создаютъ образъ Лизы. То же самое въ извѣстной мѣрѣ дѣлаетъ и излюбленный Тургеневымъ приемъ, — освѣщеніе главнаго лица другими лицами. Мы видѣли, какъ важны для воссозданія образа Лизы — Леммъ съ одной стороны, Паншинъ и Варвара Павловна — съ другой. Не трудно показать значеніе въ этомъ смыслѣ Марѣи Тимоѣевны и самого Лаврецаго.

Но тотъ же приемъ требуетъ отъ читателя и сознательной работы мысли: читатель задумывается надъ отношеніями къ Лизѣ тѣхъ лицъ, которыя ее освѣщаютъ, и, вникая въ эти отношенія, уясняетъ себѣ натуру Лизы. Для полной успѣшности дѣла необходимо, чтобы читатель правильно оцѣнилъ значеніе въ романѣ данныхъ лицъ въ отношеніяхъ художественномъ и психологическомъ.

Разсмотримъ же съ этой точки зрѣнія роль трехъ важнѣйшихъ персонажей: Марѣи Тимоѣевны, Лемма и Лаврецаго.

Не трудно видѣть, что Марѣя Тимоѣевна и Леммъ для самой *фабулы* романа существеннаго значенія не имѣютъ. Но за то имъ принадлежитъ огромное художественное и психологическое значеніе въ романѣ. Ихъ невозможно было бы исключить, не нарушивъ художественности произведенія. Но въ особенности они важны — для Лизы, которая безъ нихъ не была бы дорисована и до половины.

Эти два лица чрезвычайно важны для болѣе рельефнаго отѣненія религіозной стороны въ натурѣ Лизы.

Марѣя Тимоѣевна съ первыхъ же страницъ романа подкупаетъ читателя своимъ умомъ, прямою, независимостью характера, самою рѣзкостью своихъ сужденій о людяхъ. Она несомнѣнно должна была имѣть большое вліяніе на Лизу, и это вліяніе, конечно, было весьма благотворно. Но вотъ тутъ то и вырисовывается вся сила самобытной религіозности Лизы. Умная старушка хорошо знаетъ, какъ набожна Лиза, и ей хотѣлось бы, чтобы ея любимица была въ этомъ отношеніи не такъ исключительна. Ее даже пугаетъ слишкомъ большое, необычное въ дворянскихъ гнѣздахъ, религіозное рвеніе Лизы. Сперва она припи-

сывала это вліянію Агафьи, но вскорѣ должна была убѣдиться, что основы этой страстной религіозности глубоко лежатъ въ самой натурѣ ея питомицы. И это открытіе было для Марѣы Тимоѣевны источникомъ заботъ и опасеній, которыхъ она не высказывала и даже могла не формулировать въ своемъ собственномъ сознаніи, но которыя тѣмъ не менѣе втайнѣ ее беспокоили. Она почувствовала здѣсь возможность разныхъ, пока невѣдомыхъ, опасностей для Лизы. Мало ли къ чему можетъ привести, при стеченіи извѣстныхъ обстоятельствъ, религіозная экзальтація? Марѣа Тимоѣевна горячо любила Лизу и стремилась устроить ей счастливую жизнь, обезпечить для нея будущность, полную радостей. Въ религіозныхъ же стремленіяхъ, которыя такъ глубоко захватили душу Лизы, проникательная старушка чужла нѣчто идущее наперекоръ счастливой будущности, нѣчто могучее и самодовлѣющее, надъ чѣмъ не властно все ея вліяніе, нѣчто почти зловѣщее, — во всякомъ случаѣ чуждое и непонятное. Оно было ей непонятно потому, что сама Марѣа Тимоѣевна была натурою иного рода, — религіозною въ обыкновенномъ смыслѣ, — въ смыслѣ той умѣренной, пассивной, если можно такъ выразиться, трезвой религіозности, какая свойственна большинству людей. Она вѣрила, ходила въ церковь, исполняла обряды, потому что такъ дѣлали отцы и дѣды, но ничего мистическаго не было въ ея натурѣ, и поэтическая сторона религіи была ей чужда. И сопоставляя съ этой стороны Марѣу Тимоѣевну съ Лизою, читатель ясно видитъ принципиальное, психологическое различіе между натурами заурядно-религіозными и тѣми, которыя отъ рожденія предопредѣлены къ активному религіозному подвигу, для которыхъ религія съ ея тайнами, ея поэзіей и ея этическими отношеніями составляетъ жизненное призваніе.

Это призваніе Лизы, такъ рельефно выступающее въ мысли читателя при сопоставленіи и анализѣ этихъ двухъ натуръ, еще рѣзче отбѣняется фигурою Лемма.

Трогательный образъ несчастнаго нѣмца — это одна изъ счастливѣйшихъ „находокъ“ Тургенева. Это именно то, что французы называютъ „une trouvaille“ (какъ говорится въ одномъ изъ

писемъ Тургенева по другому поводу),—образъ, который и самъ по себѣ, независимо отъ его роли по отношенію къ Лизѣ, имѣетъ большую художественную цѣнность. Представляя собою ярко-выраженную, живую индивидуальность, Леммъ въ то же время воплощаетъ въ себѣ положительныя типическія черты германскаго генія.

Сразу завоевывая всѣ симпатіи читателя, вызывая въ немъ очень сложное чувство, смѣшанное изъ уваженія, удивленія и жалости, Леммъ, силою своего творческаго генія, даетъ читателю музыкальное истолкованіе души Лизы. Своимъ вдумчивымъ и серьезнымъ умомъ, всей душой своею, полной глубокихъ музыкальных идей и смѣлыхъ образовъ гармоніи, онъ понялъ и прочувствовалъ идеальную сторону въ натурѣ Лизы, составляющую основаніе ея религіозности. Чутко и отзывчиво уловилъ онъ сокровенныя движенія ея души,—онъ узналъ и открылъ читателю, что это душа „прекрасна“ и можетъ любить только „прекрасное“.

Тотъ психологическій анализъ, который долженъ сдѣлать читатель, чтобы понять Лизу, не будетъ возможенъ, если предварительно читатель не пойметъ и не полюбитъ Лемма.

Если Марѳа Тимофеевна и Леммъ уясняютъ вдумчивому читателю образъ Лизы однимъ своимъ присутствіемъ въ романѣ, то главный герой, Лаврецкій, дѣлаетъ то-же самое художественное дѣло иначе: на всемъ протяженіи романа онъ не перестаетъ быть вѣрнымъ спутникомъ и незамѣнимымъ *сотрудникомъ* читателя. Послѣднему безъ сотрудничества Лаврецкаго невозможно было бы возсоздать въ своемъ умѣ образъ Лизы. Производя психологическій анализъ героини „Дворянскаго Гнѣзда“, читатель постоянно прибѣгаетъ къ помощи Лаврецкаго и всегда находитъ въ немъ вѣрнаго руководителя, который „не подведетъ“. Выше я неоднократно указывалъ, что зачастую Лаврецкій по отношенію къ Лизѣ оказывается въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ находится и читатель. Одновременно съ послѣднимъ знакомится онъ съ Лизою, и оба на первыхъ порахъ одинаково мало знаютъ ее. Онъ постепенно узнаетъ ее, всматривается въ нее, начинаетъ ее понимать и цѣнить—вмѣстѣ съ читателемъ и пользуясь тѣми же средствами, какъ и послѣдній. Леммъ напр. помогаетъ Лаврецкому заин-

тересоваться Лизою и понять ее такъ же точно, какъ помогаетъ онъ въ этомъ самому читателю. Въ этомъ смыслѣ, т. е. по постановкѣ въ романѣ, по значенію для читателя — въ отношеніи къ главной женской фигурѣ — образъ Лаврецкаго рѣзко отличается отъ другихъ тургеневскихъ героевъ. Рудинъ вовсе не помогаетъ читателю проанализировать и понять Наталью, Инсаровъ — Елену, Соломинъ — Маріанну и т. д. Если эти герои и содѣйствуютъ правильному освѣщенію соотвѣтственныхъ женскихъ образовъ, то мы въ этомъ отношеніи сопоставимъ ихъ роль съ только что выясненной ролью Лемма и Марѣи Тимофеевны, но не съ тою, какую играетъ Лаврецкій. Читатель не спрашиваетъ у Рудина, что за натура Наталья: онъ это знаетъ и безъ Рудина, да и лучше его. По отношенію къ Еленѣ — онъ скорѣе обратится за разъясненіями къ Шубину и Берсеневу, чѣмъ къ Инсарову. Во всякомъ случаѣ, обращается, или нѣтъ, читатель за указаніями относительно главной героини къ главному герою романа, — онъ, повсюду, кромѣ „Дворянскаго гнѣзда“, могъ бы обойтись и безъ этихъ указаній.

Для успѣшнаго исполненія такой роли, возложенной авторомъ на Лаврецкаго, необходимо прежде всего, чтобы самъ Лаврецкій былъ вполне понятенъ читателю, и какъ типъ, и какъ натура. Все въ немъ должно быть ясно, — читатель долженъ знать своего руководителя или сотрудника во всѣхъ изгибахъ его души. И этому требованію художникъ удовлетворилъ вполне. Если сравнить съ этой точки зрѣнія Лаврецкаго съ другими героями тургеневскихъ романовъ, то окажется, что въ ихъ ряду это — самое ясное, самое удобопонятное, никакихъ сомнѣній не возбуждающее лицо. Пониманіе Лаврецкаго дается читателю легко и незамѣтно, и едва ли возможны противорѣчивыя сужденія о немъ. Этого нельзя сказать напр. о Рудинѣ, о Базаровѣ, о Соломинѣ. Этихъ лицъ нужно умѣть понять, что не всегда удается, откуда и возможность различныхъ, часто діаметрально-противуположныхъ сужденій о нихъ. Надъ истолкованіемъ Лаврецкаго Тургеневъ, можно сказать, потрудился, — видно какъ бы заботливость о томъ, чтобы фигура вышла понятною во всѣхъ деталяхъ, и также чтобы она вызывала въ читателѣ симпатію, довѣріе, родъ дружескаго распо-

ложенія. Этой заботливостью автора и вызвано длинное отступление (главы VIII—XVI), рассказывающее съ большими подробностями о предкахъ героя, о его воспитаніи, женитьбѣ и т. д. На всемъ протяженіи романа личность Лаврецкаго не перестаетъ привлекать къ себѣ сочувственное вниманіе читателя, не задавая ему никакихъ загадокъ. Душа Лаврецкаго открыта читателю, и въ сценахъ съ Леммомъ, Михалевичемъ, женой, Марьей Дмитріевной и другими читатель ясно видитъ все, что въ ней происходитъ. Зная Лаврецкаго такъ хорошо, читатель и въ сценахъ съ Лизою глубоко проникается всѣмъ, что чувствуетъ, что переживаетъ въ эти минуты Лаврецкій,—и въ силу этого становится въ положеніе чрезвычайно удобное для воссозданія и пониманія образа Лизы. Лиза наилучше видна сквозь призму душевныхъ состояній Лаврецкаго, ею же вызванныхъ. Напомню здѣсь еще разъ главу XXXIV-ю (объясненіе въ любви и музыка Лемма) и попрошу читателя сравнить эту сцену съ аналогичными ей сценами въ другихъ романахъ Тургенева, каковы напр. объясненіе Натальи съ Рудинымъ, Елены съ Инсаровымъ, Санина съ Джемой, Нежданова съ Маріанной и др. Во всѣхъ этихъ сценахъ, принадлежащихъ къ числу безсмертныхъ страницъ во всемірной художественной литературѣ, вся суть дѣла—въ очарованіи читателя поэзіей любви. Не тотъ или другой женскій образъ, самъ по себѣ, очаровываетъ здѣсь читателя, а именно — поэтическая прелесть любви, поэтическая минута цѣломудренныхъ признаній. Не то—въ главѣ XXXIV-ой „Дворянскаго Гнѣзда“: тамъ всѣ чары сосредоточены въ томъ, что чувствуетъ Лаврецкій и о чемъ поютъ неземные звуки музыки Лемма, а эти чувства и звуки указываютъ намъ—словно гдѣ то въ небесахъ—на идеальный образъ Лизы. Не поэзія любви, а поэзія души Лизы очаровываетъ читателя. Какъ чудное, неземное видѣніе нисходитъ образъ Лизы въ нашу потрясенную душу и живетъ въ ней — какъ неуловимая, неосуществимая, но безсмертная мечта вѣчно-женственного.

До послѣднихъ строкъ романа Лаврецкій не перестаетъ служить читателю вдохновителемъ этой мечты. Въ эпилогѣ, проникаясь настроеніемъ Лаврецкаго, онъ вмѣстѣ съ нимъ вспоминаетъ

Лизу. Зрѣлище новой молодой жизни, шумно празднующей праздникъ весны своей, навѣваетъ Лаврецкому и вмѣстѣ съ нимъ и читателю тихія и грустныя думы на тему: „здравствуй, одинокая старость! Догорай бесполезная жизнь!“ И среди этихъ думъ витаетъ въ туманѣ образъ чистой дѣвушки, ушедшей отъ жизни, обреченной на суровый подвигъ подвижничества, — и все та же поэзія идеальной женской души, все та же мечта согрѣваетъ умиленную душу читателя. Послѣднія строки, кратко и глухо рассказывающія о посѣщеніи Лаврецкимъ того монастыря, гдѣ постриглась Лиза, являются послѣдними, замирающими звуками дивной симфоніи, озаглавленной „Дворянское гнѣздо“, которая, какъ и Леммовская, „касается всего, что есть на землѣ дорогого, тайнаго, святого и, дыша безсмертной грустью, уходитъ умирать въ небеса“.

VIII.

Художественныя приемы, силою которыхъ созданъ образъ Лизы, и самый этотъ образъ, какъ воплощеніе вѣчно-женственнаго идеала, еще яснѣе очертятся въ нашемъ сознаніи, если мы для сравненія обратимся къ новому произведенію знаменитаго польскаго писателя Болеслава Пруса „Емапсуранткі“ и познакомимся съ главной героиней этого романа, панной Магдаленой.

Сопоставленіемъ паны Магдалены съ Лизой мы подведемъ итогъ всему вышесказанному.

Панна Магдалена Бжеска это — „геній чувства“, какъ опредѣляетъ ее въ концѣ романа одно изъ дѣйствующихъ лицъ. При этомъ подъ терминомъ „чувство“ нужно понимать любовь къ ближнему, всегдашнюю готовность прийти къ нему на помощь, — душу, всегда открытую для сочувствія, для состраданія. Къ паннѣ Магдаленѣ можно отнести слова Тургенева о Лизѣ: „вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности...“ Но только этимъ не исчерпываются тѣ качества ея натуры, въ силу которыхъ она является „геніемъ чувства“. На первый планъ нужно выдвинуть необыкновенную

отзывчивость и чуткость въ сочувствіи и состраданіи и большую энергію въ преслѣдованіи альтруистическихъ цѣлей. Съ этой стороны она представляется натурою гораздо болѣе экспансивною и активною, чѣмъ Лиза. На всемъ протяженіи романа она суетится и хлопочетъ въ интересахъ другихъ лицъ, постоянно забывая о себѣ и въ глубинѣ своей наивности даже и не подозрѣвая, какая чудная она душа, какое она прелестное и дивное созданіе.

Въ первой части романа, посвященной изображенію внутренней жизни женскаго училища (въ Варшавѣ), принадлежащаго г-жѣ Ляттеръ, панна Магдалена фигурируетъ въ числѣ второстепенныхъ учительницъ и теряется въ пестрой толпѣ женскихъ фигуръ, привлекающихъ къ себѣ почти все вниманіе читателя, который, дойдя до послѣдней страницы этой первой части, еще не догадывается, что эта молоденькая, наивная, бѣдная дѣвушка и будетъ главной героиней романа, что въ слѣдующихъ трехъ частяхъ на ней будетъ сосредоточенъ весь интересъ его. Правда, первое появленіе панны Магдалены на сцену невольно привлекаетъ любопытство читателя: онъ видитъ передъ собою прелестное, трогательно-наивное существо, которое сразу завоевываетъ его симпатію; правда также, что и въ послѣдующихъ сценахъ (этой первой части) читатель постоянно встрѣчаетъ панну Магдалену и всегда видитъ ее въ очень сочувственномъ освѣщеніи. Но при всемъ томъ онъ вовсе не склоненъ придавать большого значенія этому взрослому ребенку, и все его вниманіе поглощено общей картиной пансіонской жизни и личностями начальницы школы, г-жи Ляттеръ и ея дѣтей, холодной красавицы Елены и сына Казимира, красавца и хлыща. Эта первая часть оканчивается описаніемъ трагической смерти г-жи Ляттеръ, покончившей съ собою въ силу безвыходныхъ финансовыхъ обстоятельствъ и разочарованія въ дѣтяхъ, которыхъ она безумно любила, въ особенности сына.

Вторая часть переноситъ насъ въ глухой провинціальный городокъ, гдѣ живутъ родители панны Магдалены. Потрясенная смертью г-жи Ляттеръ, дѣвушка заболѣла нервной горячкой. Она лежитъ больная въ домѣ своихъ родителей и ее лѣчитъ отецъ—

докторъ. Не буду передавать довольно сложнаго содержанія этой части, гдѣ появляются новыя и очень любопытныя лица, и живо рисуется картина провинціальной жизни. Укажу только, что во первыхъ, главный интересъ сосредоточивается здѣсь на личности панны Магдалены, которая, выздоровѣвъ, хлопочетъ объ открытіи начальной школы, но постоянно отклоняется въ сторону отъ этого плана, увлекаемая желаніемъ помочь одному, устроить другого, утѣшить третьяго, и что, во вторыхъ, тутъ же уже слегка намѣчена основная идея всего романа: чистая отзывчивая, полная добрыхъ чувствъ душа на каждомъ шагѣ встрѣчаетъ горькую обиду, клевету, неблагодарность; за добро ей платятъ зломъ, и горечь житейскаго опыта понемногу начинаетъ накапливаться въ ней. Ощущеніе этой горечи, а еще болѣе недоумѣнія и мученія совѣсти по поводу своихъ собственныхъ, правда, только воображаемыхъ, а не дѣйствительныхъ, ошибокъ или грѣховъ приводятъ къ пробужденію религіознаго чувства. Панна Магдалена въ костелѣ передъ иконою Божьей Матери — одна изъ превосходнѣйшихъ страницъ романа.

Въ третьей и четвертой частяхъ мы видимъ панну Магдалену сперва въ роли гувернантки въ богатой, но мало образованной буржуазной семьѣ, потомъ — гостящей у ея друзей Сольскихъ, представителей передовой польской знати, затѣмъ жилищей меблированныхъ комнатъ, съ утра до вечера бѣгающей по дешевымъ урокамъ. Она вступаетъ въ разнообразныя, иногда весьма сложныя отношенія къ другимъ дѣйствующимъ лицамъ, которыя цѣлой толпой проходятъ передъ читателемъ — превосходно нарисованныя, типичныя, живыя. Но теперь уже панна Магдалена не затеривается въ этой пестрой толпѣ. Она рѣзко выдѣляется на этомъ живомъ фонѣ характеровъ и натуръ, и всѣ высокія качества ея души обнаруживаются съ необыкновенной отчетливостью. Читатель все болѣе и болѣе привязывается къ ней и, подчиняясь ея обаянію, забываетъ, что передъ нимъ не живой человѣкъ, а художественный образъ. Съ этой стороны, т. е. по живости изображенія, доводящей читателя до иллюзіи, образъ панны Магдалены можно сопоставить съ Наташей въ „Войнѣ и мирѣ“. Не-

рѣдко встрѣчаются такіа страницы, послѣ которыхъ читатель, умиленный и потрясенный, откладываетъ книгу и, думая о паннѣ Магдаленѣ, какъ о живомъ человѣкѣ, почти готовъ заговорить съ нею. Сила и правда изображенія изумительныя. Есть мѣста чисто-шекспировскія, въ которыхъ глубокий трагизмъ положенія иногда сочетается съ элементомъ комическимъ, и читателю приходится въ одно и то же время и плакать, и смѣяться... Вообще новый романъ Пруса по праву долженъ быть причисленъ къ числу тѣхъ художественныхъ произведеній, которыя способны, какъ говорится, „пронять“ читателя. Но это не тотъ тяжелый кошмаръ, какой остается послѣ чтенія, напр.. Достоевскаго—это то освѣжающее, бодрящее, облагораживающее потрясеніе, которое даютъ Шекспиръ, Пушкинъ, Мицкевичъ, Тургеневъ, Толстой.

Опутанный волшебствомъ художника, читатель съ захватывающимъ интересомъ слѣдитъ за всѣми перипетіями романа, за всѣми отношеніями героини къ другимъ лицамъ, за малѣйшими движеніями ея души и видитъ, какъ въ этой душѣ все больше и больше накапливается горечи, какъ растетъ въ ней чувство обиды и разочарованія, какъ, наконецъ, избытокъ этихъ гнетущихъ ощущеній побуждаетъ pannу Магдалену перейти отъ альтруизма къ религіозности, отъ служенія людямъ—къ самопожертвованію Богу. Она уходитъ въ монастырь,—на этомъ и оканчивается романъ, оставляя читателя въ неизвѣстности, навсегда-ли похоронить себя панна Магдалена въ монастырѣ, или-же это только временное бѣгство отъ жизни, и современемъ, оправившись отъ угнетеннаго состоянія духа, она, примиренная, вновь вернется къ жизни,—къ дѣятельному добру и къ счастью, которое, казалось бы, для нея вполне возможно.

Сопоставляя pannу Магдалену съ Лизою, мы усматриваемъ слѣдующее различіе между этими двумя родственными по духу натурами. Лиза—душа прежде всего религіозная, а потомъ ужъ альтруистическая; панна Магдалена—натура прежде всего альтруистическая, а потомъ ужъ религіозная. Здѣсь я попрошу читателя припомнить то, что я говорилъ въ предшествующемъ (VIII-омъ) очеркѣ о внутреннемъ соотношеніи религіозныхъ усто-

евъ въ душѣ Лизы съ ея нравственнымъ императивомъ: они образуютъ психологическое основаніе послѣдняго и съ тѣмъ вмѣстѣ служатъ ему уравнивающимъ началомъ. Въ паннѣ Магдаленѣ мы видимъ иное соотношеніе, иную постановку психическихъ силъ. У нея чисто-нравственное самоутвержденіе личности находитъ себѣ психологическое обоснованіе и необходимое уравниженіе сперва не въ религіозныхъ, а въ альтруистическихъ стремленіяхъ. Иначе говоря, она жаждетъ удовлетворить нравственнымъ потребностямъ и запросамъ своей души посвященіемъ себя не Богу, а ближнимъ. И только потерпѣвъ на этомъ поприщѣ фiasco, не найдя искомаго удовлетворенія, разочарованная, оскорбленная въ лучшихъ своихъ чувствахъ,—она переходитъ отъ „прикладной“ религіи альтруизма къ „чистой“ религіи отшельничества. Правда, и Лиза обращается къ этой послѣдней не сразу, также—переиспытавъ извѣстныя намъ потрясенія и разочарованія. Но психологическая катастрофа Лизы была иная: Лиза увлеклась было мечтою о личномъ счастьи и—разочаровалась въ его возможности, въ его согласуемости съ ея чисто-нравственными требованіями. Панна Магдалена не о личномъ счастьи мечтала и не въ немъ разочаровалась. Вопросъ любви къ мужчйнѣ серьезнымъ образомъ и не подымался въ ея душѣ.—Крушеніе мечты о счастьи привело Лизу въ такое душевное состояніе, при которомъ мистическая любовь къ Божеству, съ дѣтства въ ней жившая, возгорѣлась яркимъ и всежигающимъ пламенемъ. Въ этомъ пламени и сгорѣли всѣ ея земныя привязанности, всѣ приманки, всѣ искушенія жизни, молодости, счастья. Это было возможно потому, что Лиза отъ рожденія—натура *мистическая*: помыслы о Богѣ, мысли о смерти, о загробномъ существованіи не переставали занимать ея умъ въ тѣ годы, когда всѣ мы меньше всего объ этомъ думаемъ,—въ особенности о смерти. Панна Магдалена къ этимъ вопросамъ и думамъ приходитъ постепенно,—по мѣрѣ накопленія въ ней горечи разочарованія. Она мало по малу какъ бы учится быть религіозно-мистичной, въ чемъ ей много помогаютъ бесѣды учителя Дембицкаго, большого философа—метафизика. Въ противоположность Лизѣ, панна Магдалена—натура не

мистическая по существу, но только силою вещей приведенная къ мистицизму.

Объ героини, русская и польская, представляя двѣ разновидности одного и того же душевнаго уклада, дополняютъ другъ друга. На психологическій вопросъ: что такое высшая мистическая религіозность?—мы получимъ наиболѣе исчерпывающій отвѣтъ, если возьмемъ оба художественные образа вмѣстѣ. Отвѣтивъ на этотъ многосложный вопросъ однимъ только образомъ Лизы, мы оставимъ безъ разсмотрѣнія цѣлую его половину, именно—психологическія отношенія религіи къ жизни, роль альтруистическаго чувства, мистическія стремленія въ ихъ развитіи подъ ударами жизни. Отвѣтивъ однимъ только образомъ панны Магдалены, мы упустимъ изъ вида другую половину вопроса—психологию мистической религіозности, не вынужденной, не „апостериорной“, а заранее данной, „априорной“, составляющей основной укладъ души, призваніе человѣка.

Оба „отвѣта“, Лиза и панна Магдалена, являются характерными выразителями особенностей творческаго генія обоихъ художниковъ, Тургенева и Пруса.

Въ противоположность Тургеневу и подобно Толстому, Прусъ это—художникъ, въ творествѣ котораго анализъ занимаетъ очень важное мѣсто — на ряду съ даромъ изобразительности. Онъ рисуетъ и тутъ-же производитъ глубокое психологическое изслѣдованіе того, что нарисовалъ. Такой укладъ творческой мысли дѣлаетъ его, какъ и Толстого, въ высокой степени приспособленнымъ къ воспроизведенію характеровъ, натуръ, вообще всякихъ душевныхъ явленій—въ процессѣ ихъ развитія, измѣненія, разложенія. Въ паннѣ Магдаленѣ онъ мастерски изобразилъ, изслѣдовалъ и объяснилъ душевный процессъ, приведшій героиню въ монастырь—вопреки настоящему ея призванію, которому, если-бы оно осуществилось, панна Магдалена могла-бы подвести итогъ словами:

Я на землѣ свершила все земное,

Я на землѣ любила и жила!

Въ творествѣ Тургенева, наоборотъ, аналитическая сторона доведена до минимума. Но тѣмъ сильнѣе выражены въ немъ изо-

бразительныя силы искусства. Въ связи съ этимъ геній Тургенева былъ приспособленъ къ воспроизведенію характеровъ и натуръ не столько въ ихъ развитіи, въ ихъ исторіи, сколько въ ихъ statu quo, — къ живописи остановленныхъ, законченныхъ типовъ. Его герои и героини стоятъ передъ читателемъ, такъ сказать, неподвижно, точно они произведенія живописи. Персонажи Толстого и Пруса живутъ на глазахъ читателя.

Въ Лизѣ Тургеневъ далъ намъ вполнѣ законченный типъ идеальной женской души, для которой религія составляетъ настоящее *призваніе*, какъ искусство для художника, какъ наука для ученаго. Чтобы окончательно осуществить это призваніе, для нея достаточно первыхъ-же противорѣчій, первыхъ уколовъ жизни, а отвратить отъ него безсильны даже волшебныя чары любви, даже всемогущее обаяніе счастья.
